

# ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

---

Позднее  
Средневековье



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*ИСТОРИЯ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  
УЧЕНИЙ*

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Ответственный редактор:  
член-корреспондент АН СССР  
А. В. ДЕСНИЦКАЯ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
«НАУКА»  
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
1991

Редакционная коллегия:

*А. В. Десницкая, И. А. Перельмутер*

Рецензенты:

*Е. А. Реферовская, Л. Г. Герценберг*

И  $\frac{4602000000-682}{042(02)-91}$  682-90(1)

ISBN 5-02-028002-X

© Коллектив авторов, 1991  
© Издательство «Наука», 1991

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой четвертый том серии «История лингвистических учений», издаваемой Институтом лингвистических исследований АН СССР (Ленинградским отделением Института языкознания АН СССР). Данный том посвящен лингвистическим учениям Западной и Восточной Европы в основном в период XIII—XV вв., хотя в некоторых его разделах рассматриваются и более ранние периоды.

Для языковой ситуации в странах указанного региона в описываемый период характерно двуязычие: в странах Западной Европы и у западных славян в богослужении, а также в богословии и философии, в области канцелярского делопроизводства почти безраздельно господствует латинский язык, сфера письменного использования родного языка очень ограничена (лишь к концу рассматриваемого периода она начинает постепенно расширяться); у южных и восточных славян роль, во многом аналогичную роли латинского языка в Западной Европе, играет церковнославянский язык.

Теоретический интерес проявляется в этот период почти исключительно к книжным, литературным языкам: к латинскому — в Западной и Центральной Европе, к церковнославянскому — у южных и восточных славян. Теоретический интерес к языку носил в то время специфический характер: главное своеобразие заключалось в том, что проблемы языка рассматривались в этот период в тесной связи с философской и богословской проблематикой. «В средневековой европейской культуре осмысление языка было частью христианской онтологии и гносеологии. Включенность филологического знания в господствующее христианское мировоззрение вносила в филологическую проблематику мощную философскую струю» (Мечковская Н. Б., Супрун А. Е.).

Грамматическое учение модистов, разрабатываемое в Западной Европе на материале латинского языка, теснейшим образом связано с современной ему схоластической философией. Благодаря этой связи, проявляющейся как в сфере проблематики, так и в сфере понятийно-терминологического аппарата, «грамматику модистов можно с полным правом назвать философской грамматикой» (Перельмутер И. А.). Сходную картину наблюдаем мы и на Востоке Европы, в ученых сочинениях, возникших на восточнославянской почве: «Общие и частные грамматические категории осознаются здесь как проявления извечного и нерасторжимо связаны с обозначаемыми;

все познается сквозь призму христианского мирозерцания» (Колесов В. В.).

Дело, однако, не сводилось только к тому, что грамматика того времени многое заимствовала из философии и богословия. Связи между грамматическими учениями той эпохи, с одной стороны, и философией и богословием — с другой, носили двусторонний характер. Логики, философы и теологи позднего Средневековья уделяют большое внимание языковой проблематике, рассуждения на темы языка встречаются в их сочинениях очень часто. Можно сказать без преувеличения, что «словесные науки» занимали в интеллектуальной жизни европейского общества эпохи Средневековья центральное положение. Именно поэтому «представить себе общую сумму грамматических знаний эпохи Средневековья без привлечения руководств по диалектике, логике, риторике, поэтике и даже богословия совершенно невозможно» (Колесов В. В.).

Проявляя преимущественный интерес к общетеоретическим, философским проблемам языка, ученые грамматики того времени не уделяют должного внимания реальному многообразию явлений языка, не ставят перед собой задачи исчерпывающего описания всех деталей языкового строя. Стремление к созданию стройной общей теории приводит порою к некоторому упрощению реальной сложности языковых явлений, а в отдельных случаях — к явному насилию над языковым материалом.

Тем не менее грамматика позднего европейского Средневековья обнаруживает в ряде отношений существенный прогресс по сравнению с грамматическими учениями более ранних эпох, в первую очередь это утверждение справедливо по отношению к грамматическому учению модистов.

Между языковой ситуацией в Западной и Центральной Европе, с одной стороны, и языковой ситуацией у южных и восточных славян — с другой, были и существенные различия. В католических странах богослужение осуществлялось на латинском языке, в странах южных и восточных славян, в которые христианство пришло из Византии, языком Церкви был один из славянских языков, так называемый старославянский (церковнославянский). Перед славянскими народами, принявшими византийское православие, стояла задача перевода Священного писания, а также богослужебных текстов и богословской литературы с греческого языка на старославянский.

Перевод книг с греческого языка на старославянский, редактирование старых переводов — один из важнейших видов интеллектуальной деятельности в странах южных и восточных славян в рассматриваемую эпоху. На протяжении многих веков оживленно обсуждаются принципы и методология перевода, выдвигаются различные концепции теории перевода. «Теория перевода была наиболее обсуждаемой темой в древнерусской культуре» (Ковтун Л. С.). То же самое можно сказать и о некоторых других славянских странах. Наиболее отчетливо противостоят друг другу две концепции перевода. В соответствии с концепцией свободного перевода, вос-

ходящей к кирилло-мефодиевской традиции, при переводе надлежит заботиться о передаче смысла, точное словесное соответствие не представляется обязательным. Концепция буквального перевода, порожденная религиозным ригоризмом, боязнь еретических уклонов, требовала строгого словесного соответствия. Следование этой концепции приводило к появлению большого числа калек в церковнославянском тексте, к сохранению в переводе синтаксических гречизмов. В эпоху позднего Средневековья (XIV—XV вв.) у южных и восточных славян возобладала концепция и практика буквального перевода.

По тем же причинам, что и у славянских народов, проблемы перевода были актуальны также для православной Грузии. Внимание к проблемам перевода породило на грузинской почве интерес к сопоставлению языка, на котором написан оригинал, и языка, на который осуществляется перевод. В дошедшем до нас анонимном трактате, содержащем рекомендации для переводчиков с греческого языка на грузинский, сопоставляются некоторые особенности грамматического строя греческого и грузинского языков (Утургаидзе Ф. Г.).

Наряду с языками Священного писания (латинским и церковнославянским) определенное внимание ученые Средневековья уделяли некоторым другим литературным языкам, преимущественно языкам со старой поэтической традицией. К таким языкам относился, в частности, язык древнеирландской поэзии: «... традиция бардов в лингвистическом отношении была ориентирована на практические цели сохранения и преподавания унифицированного ирландского языка, используемого в поэзии» (Калыгин В. П.).

Начиная с XIII в., предметом изучения стал окситанский (старо-провансальский) язык — язык поэзии трубадуров. Грамматика и лексика этого языка тщательно фиксируются и становятся предметом преподавания вследствие широко распространившейся в некоторых странах (прежде всего в Италии и Каталонии) моды на сочинение стихотворений на окситанском языке в духе поэзии трубадуров. Таким образом, «на протяжении своей недолгой истории староокситанская грамматика оставалась служанкой поэзии» (Черняк А. Б.).

Несравненно меньшее внимание, чем языкам Священного писания (латинскому и церковнославянскому), а также языкам со старой поэтической традицией (древнеирландскому и окситанскому), уделяют ученые Средневековья живым народным языкам различных регионов Европы. Изучение этих языков (в частности, французского, немецкого, славянских) делает в эпоху Средневековья первые шаги. Импульсом к изучению народных языков всегда служит необходимость решения тех или иных практических задач. В изучение этих языков ученые того времени не вносят и малой доли того теоретического осмысления, которое проявляется при исследовании латинского или церковнославянского языков.

Интерес к литературному французскому языку диктуется в описываемую эпоху потребностями практической риторики. Сугубо практические задачи обучения французскому языку вызвали появление большого числа учебников французского языка в Англии, где

этот язык стал языком канцелярского делопроизводства, языком парламента, двора и куртуазной литературы в эпоху, последовавшую за нормандским завоеванием.

В странах немецкого языка в описываемую эпоху «родной язык еще не был объектом специальных лингвистических исследований» (Найдич Л. Э.). Некоторые сведения о грамматическом строе немецкого языка наличествуют в элементарных учебниках латинского языка. Эти сведения были практически необходимы для начальных этапов обучения латинскому языку.

Первые признаки интереса к чешскому языку проявляются в многочисленных чешских глоссах в латинских рукописях. Глоссировка латинских текстов призвана была облегчить их понимание. Позднее появляются тематические подборки глосс, послужившие основой для глоссариев. Одним из признаков подъема письменной культуры в Чехии было появление в середине XV в. первого чешского руководства по практической риторике.

До нашего времени дошло большое число латинских рукописей с польскими глоссами. Уже довольно рано польские глоссы группируются в небольшие словарики, составленные по тематическому признаку.

Обильная глоссировка церковнославянских текстов наблюдается в древнерусской рукописной традиции XI—XV вв. Во многих случаях глоссы предлагают новые славянские соответствия греческим словам оригинала, разъясняют значение тех или иных иноязычных терминов. Поскольку в древнерусской письменности функционировали два языка — старославянский (церковнославянский) и древнерусский, то во многих случаях древнерусское слово выступает в качестве глоссы к слову церковнославянскому, иногда наблюдается и обратное соотношение. К XIII в. относятся самые ранние списки перечней глосс.

Значительным этапом расширения грамматических знаний на Руси было появление перевода на русский язык латинской грамматики Доната, осуществленного Дмитрием Герасимовым в начале XVI в. Существенно то, что латинские языковые примеры и латинская терминология были заменены здесь русскими.

Но все это были первые, хотя по-своему и значительные, шаги в изучении живых народных языков Европы. Полнота и конкретность в описании лексики и грамматики этих языков будут достигнуты в более позднюю эпоху, находящуюся уже за пределами того исторического периода, который рассматривается в данной книге.\*

*А. В. Десницкая, И. А. Перельмутер*

---

\* Лингвистическим учениям Италии эпохи позднего Средневековья будет посвящен следующий том серии «История лингвистических учений».



*И. А. Перельмутер*

В настоящее время широко признано, что самые значительные достижения в области изучения языка в средневековой Европе принадлежат направлению, представители которого известны под названием «модисты». Название это происходит от ключевого понятия-термина системы модистов — *modus significandi* (букв. «способ обозначения»). Учение модистов представляет собой вершину всех попыток проникновения в природу языка в эпоху европейского Средневековья;<sup>1</sup> время модистов рассматривается как один из золотых веков языковедной науки в целом,<sup>2</sup> а их «грамматика» — как первая теория языка в европейской научной традиции.<sup>3</sup>

Эпоха расцвета учения модистов относится к последним десятилетиям XIII в. и первым десятилетиям XIV в. Главным центром ученых этого направления в эпоху его расцвета был Парижский университет. Все наиболее видные модисты этой эпохи были связаны с Парижским университетом на протяжении более или менее длительного периода своей жизни. Модистическое направление было в большой мере подготовлено развитием средневековой науки конца XI, XII и первой половины XIII вв. Хотя в первой четверти XIV в. заканчивается наиболее творческий период развития учения модистов и с этим учением ведется полемика, учение модистов не теряет еще полностью своего влияния: рукописи ведущих модистов продолжают переписываться, трактаты наиболее видных модистов комментируются, против полемики противников этого учения выдвигаются контраргументы, создаются новые ученые сочинения, исходящие из основных положений модизма. Во второй половине XIV и в XV в. появляются новые центры активной деятельности представителей модистического направления — Эрфурт, Болонья, а позднее и Прага. Лишь с началом XVI в. интерес к концепциям модистов угасает окончательно.

---

<sup>1</sup> Pinborg J. Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter. Kopenhagen, 1967. S. 19.

<sup>2</sup> Kelly L. G. Speculative Grammar of the Middle Ages // *Historiographia Linguistica*. 1974. V. 1. n. 2. P. 203.

<sup>3</sup> Silvio Elia *De l'Ars grammatica à la grammatica Speculativa* // *Logos Semantics*. *Studia Linguistica in honorem Eugenio Coseriu* Madrid etc. 1981. P. 172.

В настоящее время мы располагаем изданиями произведений ряда корифеев модистического направления, осуществленными в XX в. (преимущественно в последние десятилетия), но в библиотеках и архивах Европы хранятся еще в большом числе неизданные рукописи, содержащие трактаты модистов, причем во многих случаях ни авторы этих трактатов, ни время их создания не установлены. Наиболее полно мы знакомы благодаря современным изданиям с трудами модистов датского происхождения, которые были связаны в тот или иной период своей жизни с Парижским университетом. Самый ранний из этих датчан, по-видимому, Мартин Дакийский (*Dacia* — средневековое латинское название Дании). Основной его труд «*De modis significandi*» создан, вероятно всего, в 70-х или в начале 80-х гг. XIII столетия. Этот труд Мартина Дакийского представлен многими рукописями (около трех десятков), относящимися к XIV и XV вв. Долгие годы Мартин был преподавателем факультета искусств Парижского университета, в 1288 г. он вернулся в Данию, где играл крупную политическую роль в качестве канцлера короля Эрика VI, умер он в Париже в 1304 г. Мартин Дакийский известен также как автор комментариев к логическим трудам Аристотеля. К числу модистов датского происхождения принадлежит также Бозций Дакийский — видный философ, автор комментариев к трактатам Аристотеля по логике, физике, этике, один из самых выдающихся представителей оппозиционного церкви авероистского направления в философии второй половины XIII в., подвергавшийся в качестве авероиста преследованиям со стороны церковных властей. Современниками и соотечественниками Мартина Дакийского были также модисты Иоанн Дакийский («*Summa Grammaticae*»), Симон Дакийский («*Domus Grammaticae*»).

Одним из наиболее авторитетных модистов был Томас Эрфуртский, первоначально преподававший на факультете искусств Парижского университета и впоследствии переселившийся в Эрфурт. Его труд «*De Modis significandi sive Grammatica Speculativa*» (долгое время ошибочно приписывавшийся Дунсу Скоту) был создан, по-видимому, в самом конце XIII в.<sup>4</sup> Это сочинение представляет собой наиболее полное и подробное изложение доктрины модистов.

Хорошо известны труды двух модистов фламандского происхождения: Мишеля из Марбэ и Сигера из Куртрэ (*Summa modorum significandi*). Деятельность последнего относится уже к XIV столетию, его трактат завершает собой самый продуктивный период творческой активности модистов; перу Сигера из Куртрэ принадлежат также труды по логике. К числу наиболее значительных модистов начала XIV в. принадлежит Радульф Бритон.<sup>5</sup> Известны также имена и сочинения ряда других модистов, деятельность которых относится к этому же периоду (конец XIII—начало XIV в.).

<sup>4</sup> G r a b m a n n M. *Mittelalterliches Geistesleben*. München, 1926. Bd 1. S. 121—125.

<sup>5</sup> P i n b o r g J. *Speculative Grammar // The Cambridge History of Later Medieval Philosophy from the rediscovery of Aristotle to the disintegration of scholasticism 1100—1600*, Cambridge etc., 1982. P. 256.

Учение модистов было в большой мере подготовлено трудами грамматиков и философов предшествующего периода (XII—первая половина XIII в.).<sup>6</sup>

В эпоху раннего Средневековья (VIII—XI вв.) изложение грамматики ограничивалось в основном воспроизведением положений и формулировок, содержащихся в трудах латинских грамматиков поздней античности, прежде всего Доната (IV в.) и Присциана (VI в.), и ставило перед собой нормативные и педагогические цели подготовки к чтению латинских текстов, прежде всего религиозных текстов (Библия, отцы церкви), а также памятников античной литературы; из сочинений позднеантичных грамматиков делались разного рода извлечения, сохранялось лишь то, что было необходимо для элементарного обучения, пояснялись трудные слова, но почти ничего существенно нового не добавлялось (исключение составляла лишь разработка некоторых синтаксических проблем, в частности проблемы управления). Картина начинает изменяться в XII в., в этот период возникает так называемая спекулятивная грамматика, делаются первые шаги в разработке грамматической теории. Формирование спекулятивной грамматики происходит в эпоху большого общекультурного подъема в странах Западной Европы, в эпоху возрастающего интереса к логике и философии. Прежде всего пробудился интерес к логике, к способам аргументации, к искусству ведения спора, ко всему тому, что в Средние века называли диалектикой. Расширяется знакомство с логическими трудами Аристотеля. К таким известным уже прежде благодаря переводам Бозция (VI в.) логическим трудам Аристотеля, как «Категории» и «Об истолковании», в XII в. присоединяется знакомство с так называемой «новой логикой» (*logica nova*), заключающей в себе неизвестные прежде труды Аристотеля по логике — «Аналитики (первая и вторая)», «Топика», «О софистических опровержениях». Увлечение «новой логикой» проникает во все области знания, «все науки и даже сама теология подчиняются диалектике».<sup>7</sup> Слова, которыми выдающийся логик XIII в. Петр Испанский начинает свой основной труд («*Summulae logicales*»), вполне могут быть использованы для характеристики интеллектуальной жизни западноевропейского общества и в XII в.: «*Dialectica est ars artium et scientia scientiarum*» («Диалектика есть искусство искусств и наука наук»). Всеобщее увлечение логикой сказывается и на изучении грамматики; проникновение некоторых элементов логики в грамматику, сближение грамматики и логики можно наблюдать уже у Абеяра (1079—1142).<sup>8</sup> Грамматиков и философов XII в. не удовлетворяет простое описание явлений языка, которое дает,

<sup>6</sup> Подробнее об этом периоде см.: Г р о ш е в а А. В. Грамматические учения западноевропейского Средневековья // История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л., 1985. С. 208—242.

<sup>7</sup> T h u r o t Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au moyen âge // Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque impériale et autres bibliothèques, publiés par l'institut impérial de France. Paris, 1868. T. 22. P. 93.

<sup>8</sup> R o o s H. Sprachdenken im Mittelalter // Classica et Mediaevalia, Revue Danoise de Philologie et d'Histoire. 1948. V. 9. Fasc. 2. S. 201.

в частности, труд Присциана, они стремятся к более глубоким, строгим, безупречным с логической точки зрения определениям языковых явлений, а также к объяснениям, т. е. к установлению причин возникновения тех или иных фактов языка. Отчетливое выражение эта установка получила в словах Уильяма Кончйского (1080—1154), помещенных им в заключении к его труду «De philosophia mundi»: «Priscianus . . . obscuras dat definitiones. . . , causas vero inventionis diversarum partium et diversorum accidentium . . . praetermittit» 'Присциан . . . дает неясные определения. . . , он не упоминает. . . причин изобретения различных частей речи и различных акциденций'.

Самым видным представителем логической грамматики XII в. был Петр Гелийский, педагогическая деятельность которого протекала в Париже в середине этого столетия. В своем комментарии к Присциану (около 1140 г.) Петр Гелийский широко пользуется понятиями, заимствованными из логических сочинений Аристотеля («Категории», «Об истолковании»), грамматические определения он сопровождает пространными отступлениями, претендующими на теоретическую, философскую значимость. Так, например, он пытается объяснить наличие шести падежей в латинском языке тем, что существует шесть и только шесть способов рассуждения об одной и той же вещи.<sup>9</sup> Будучи крупнейшим деятелем «первой волны» спекулятивной грамматики, Петр Гелийский оказал заметное влияние на модистов: Мартин Дакийский, Бозций Дакийский, Томас Эрфуртский, Сигер из Куртрэ часто на него ссылаются.<sup>10</sup>

На протяжении XII в. и в первой половине XIII в. спекулятивная грамматика развивается по преимуществу под влиянием логических трудов Аристотеля. В соответствии с учением Аристотеля подлинным объектом науки могут быть только общие свойства вещей «единое во многом» (Аристотель, Вторая Аналитика, кн. I, гл. 11); наука должна обнаруживать это «единое во многом» и отделять от него случайное, привходящее — все то, «о чем нет знания через доказательство» (там же, гл. 13). И в языках средневековые ученые проводят разграничение между существенными общими свойствами и чертами, на их взгляд, случайными, привходящими; к этим последним они относят звуковой строй, различающийся от языка к языку. Ученые рассматриваемого периода исходят из убеждения, что отдельные языки различаются между собой только внешней звуковой оболочкой, внутреннее же их строение, их глубинная структура в принципе одинаковы у всех народов; именно это обстоятельство делает грамматику в их глазах универсальной, а науку о языке подлинной наукой. В полной мере такое понимание грамматики проявилось, возможно, впервые в Комментарий к Присциану Иордана Саксонского (около 1220 г.): *Licet voces in quantum voces non sint eaedem apud*

<sup>9</sup> Dinneen F. P. An Introduction of General Linguistics. New York etc., 1967. P. 130, 131.

<sup>10</sup> Roos H. Die Modi significandi des Martinus de Dacia. Kopenhagen, 1952. S. 95.

omnes, tamen . . . secundum intellectum, quem constituunt, sunt eadem apud omnes 'Хотя слова как таковые не одинаковы у всех, но . . . в соответствии с понятием, которое они образуют, они у всех одни и те же' (Pinborg 1967, S. 26).<sup>\*</sup> Общими, однако, являются не только значения отдельных слов (*significata specialia*), определяемые общими для всех людей понятиями и общностью предметов материального мира; гораздо существеннее то, что общими оказываются также грамматические значения (*significata generalia*), выражаемые частями речи и определяемые общими свойствами вещей материального мира. Именно эти *significata generalia* (родовые значения) составляют собственный предмет грамматики.

Понятие универсальной грамматики, основные особенности которой наблюдаются во всех языках, встречается уже во вполне развитой форме у мыслителей середины XIII в. Роберта Килвордби и Роджера Бэкона, явившихся непосредственными предшественниками модистов. Для Роджера Бэкона «грамматика по своему существу одна и та же во всех языках, хотя она и различается (в разных языках) привходящими чертами» (*Grammatica una et eadem est secundum substantiam in omnibus linguis, licet accidentaliter varietur*) (Rosier, 1983, p. 34). Роберт Килвордби в своем Комментарий к Присциану (около 1250 г.) отстаивает мысль, что объектом грамматики как науки является «значащая речь в той мере, в какой она отвлекается от каждого отдельного языка» (*sermo significativus prout abstrahitur ab omni lingua speciali*) (Jakobson, 1975, p. 295). Такая речь существует лишь в сознании человека (*in mente*), тем самым интерес грамматика почти полностью отвращается от сферы выражения.

Эти положения получили позднее дальнейшую разработку в учении модистов, во многом опиравшихся на теории своих предшественников XII—XIII вв. Но учение модистов явилось не только продолжением и дальнейшим развитием грамматических концепций предшествующего периода, оно теснейшим образом связано со всей интеллектуальной жизнью западноевропейского общества XII—XIII вв., будучи «продуктом интеграции грамматического описания латинского языка . . . в систему схоластической философии».<sup>11</sup>

Определяющее влияние на развитие средневековой науки в XII—XIII вв. оказало расширяющееся знакомство с трудами Аристотеля. К концу XII в. частично благодаря переводам с арабского, но в основном благодаря переводам с греческого оригинала ученым Западной Европы становятся доступны почти все из сохранившихся сочинений Аристотеля. Наряду с логическими трудами Аристотеля все большее значение приобретают его естественнонаучные и собственно философские трактаты, в первую очередь «Метафизика», «Физика», «О душе».<sup>12</sup> «В настоящее время мы едва можем себе представить, какую революцию в науке и преподавании произвел этот поток новых

<sup>\*</sup> Источники цитирования сочинений средневековых грамматиков указаны в конце раздела.

<sup>11</sup> R o b i n s R. H. A Short History of Linguistics. London, 1967. P. 74.

<sup>12</sup> D o d B. G. Aristoteles latinus // The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge etc., 1982. P. 45—48.

переводов Аристотеля». <sup>13</sup> Не следует, впрочем, представлять себе дело таким образом, что эта революция произошла сразу же после того, как труды Аристотеля стали известны в Западной Европе. Хотя уже в конце XII в. и начале XIII в. «Метафизику» и «Физику» цитировали по каждому поводу и к авторитету Аристотеля прибегали порою для обоснования положений вполне тривиальных, в этот период использование наследия Аристотеля носило все же во многих случаях поверхностный характер; терминология Аристотеля применялась часто в таких ученых сочинениях, которые по своему содержанию оставались в целом в русле традиционного августинизма и неоплатонизма. Гораздо более полное и глубокое усвоение учения Аристотеля осуществлялось в середине и второй половине XIII в.; решающую роль в процессе этого усвоения сыграло творчество крупнейших theologов XIII в. Альберта Великого (1206—1280) и Фомы Аквинского (1225—1274). <sup>14</sup>

Одним из самых важных результатов великого культурного подъема XII—XIII вв., усвоения наследия Аристотеля явилось становление философии как самостоятельной системы знаний, отличающейся как от частных наук, входящих в состав тривиума и квадравиума, так и от теологии. В эпоху раннего Средневековья, когда безраздельно господствовало учение Августина, между философией и теологией не проводили различия, философия была полностью поглощена теологией. Но уже автор одного из ученых трудов XII в. отмечает разницу между философами — почитателями человеческой мудрости (*Humanae sapientiae amatores*) и theologами — учителями божественного писания (*Divinae scripturae doctores*). <sup>15</sup> Философия формируется как теория основных проблем бытия и человеческого познания, как метафизика и психология. Самые фундаментальные особенности строения мира и восприятия мира человеком составляют содержание философии. По словам Фомы Аквинского, «Философия есть наука, которая рассматривает первые и общие причины» (*Sapientia est scientia quae considerat primas et universas causas*). <sup>16</sup>

Признанным центром изучения философии в Западной Европе XIII в. был Парижский университет. Длительное время развитие философии и светских наук здесь тормозилось церковными властями, запрещавшими использовать для преподавания философские и естественнонаучные сочинения Аристотеля. Положение изменяется со второй половины XIII в.: декрет Парижского университета от 19 марта 1255 г. включил в программу обучения все известные тогда сочинения Аристотеля. Самое большое значение этот декрет имел для одного из факультетов Парижского университета — для факультета искусств, пропедевтического факультета, который осуществлял первоначальное обучение студентов семи свободным искусствам

<sup>13</sup> Roos H. Die Modi significandi des Martinus de Dacia. S. 104.

<sup>14</sup> Coplston F. C. A. History of Medieval Philosophy. London, 1972. P. 199.

<sup>15</sup> Wolf M. de. Philosophy and Civilization in the Middle Ages. New York, 1953. P. 50.

<sup>16</sup> Ibid. P. 90, 91.

(septem artes liberales), входящим в состав тривиума и квадривиума, подготавливая их тем самым к поступлению на старшие факультеты университета — теологический, юридический, медицинский. Именно на факультете искусств во второй половине XIII в. осуществляется изучение философских трудов Аристотеля, создающее предпосылки для дальнейшего развития философии. С 1255 г. факультет искусств Парижского университета становится по существу философским факультетом.<sup>17</sup>

Почти все видные модисты конца XIII в. были магистрами искусств и преподавателями факультета искусств Парижского университета. Таким образом, модистическое направление формировалось в крупнейшем для Западной Европы центре изучения философии в период наивысшего подъема средневековой науки.

Грамматическое учение модистов теснейшим образом связано с современной ему схоластической философией; эта связь проявляется как в сфере проблематики, так и в сфере понятийного аппарата и терминологии. Грамматику модистов можно с полным правом назвать философской грамматикой. Знаменателен и тот факт, что почти все известные нам модисты были также авторами трудов по проблемам логики и философии.<sup>18</sup>

Соотношение между философией и частными науками в тот период было принципиально иным, чем в Новое время. Все частные науки рассматривались как составные части философии, господствовало представление, согласно которому «Нет такой науки, которая не была бы какой-то частью философии» (*Nulla est scientia quae non sit aliqua philosophiae pars*). В соответствии с этим задачу частных наук видели не столько в подробном и тщательном изучении объектов соответствующей сферы, сколько в том, чтобы составлять материал для философии, в том, чтобы создавать общую картину мироздания.<sup>19</sup> По представлениям ученых схоластов XIII в., все исследования должны быть подчинены целям формирования всеобъемлющей и целостной системы знания. Такая позиция имела одним из своих следствий установку на выявление и отбор только таких фактов, которые представляют интерес с философской, мировоззренческой точки зрения; все остальное игнорируется как случайное, привходящее, не заслуживающее быть объектом подлинной науки. Вслед за такими своими предшественниками, как Роберт Килвордби и Роджер Бэкон, модисты считают достойным своего внимания только наиболее существенные особенности грамматического строя, которые представляются им общими для всех языков. Во всех своих существенных чертах грамматика одинакова у всех народов, поскольку у всех людей одно и то же мышление, одна и та же логика: *Logica est eadem*

<sup>17</sup> Lohr C. H. The Medieval Interpretation of Aristotle // The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge etc., 1982. P. 87.

<sup>18</sup> Trentman J. A. Speculative Grammar and Transformational Grammar: A Comparison of Philosophical Presuppositions // History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics / Ed. by H. Parret. Berlin; New York, 1976. P. 284.

<sup>19</sup> Wulf M. de. Philosophy and Civilization . . P. 96, 97.

apud omnes ergo et grammatica 'Логика одна и та же у всех, следовательно, и грамматика' (Иоанн Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 37). Общность логики, а следовательно, и общность грамматики порождена общностью окружающего всех людей материального мира: Quia naturae rerum et modi essendi et intelligendi a quibus accipitur grammatica similes sunt apud omnes, ergo et per consequens similes modi significandi . . . , et sic tota grammatica, quae est in uno idiomate, similis est illi quae est in altero. . . unde sciens grammaticam in uno idiomate scit eam in alio, quantum ad omnia, quae sunt essentialia grammaticae 'Поскольку природы вещей и модусы существования и понимания, от которых берет начало грамматика, сходны у всех, то по этой причине сходны и модусы обозначения. . . ; и так вся грамматика, которая есть в одном языке, сходна с той, которая есть в другом языке. . . , поэтому знающий грамматику в одном языке знает ее и в другом, поскольку это касается всего того, что составляет существенные особенности грамматики' (Бозэций Дакийский, цит. по Robins 1987, p. 242). Убежденные в том, что различия между языками заключаются лишь в звуковом облики, а содержательная, смысловая сторона языкового строя повсюду одинакова, модисты считают себя вправе ограничиваться изучением только одного, латинского языка — языка церкви и науки западноевропейского Средневековья.

Положение о том, что во всех языках одна грамматика, по существу лишь декларируется модистами, никаких доказательств в пользу этого положения они не приводят; остается открытым и вопрос о том, какие же именно особенности грамматического строя следует рассматривать в качестве существенных, а какие — в качестве случайных, привходящих. Лишь очень немногие высказывания модистов в какой-то мере проливают свет на этот вопрос. Так, например, некоторые модисты (в частности, Бозэций Дакийский) упоминают о том, что в греческом языке представлен артикль, отсутствующий в латинском. Казалось бы, этот факт мог бы поколебать представление об общей для всех языков грамматике. Но модисты выходят из положения; они утверждают, что наличие или отсутствие артикля не является существенной чертой грамматического строя; по их мнению, артикль выполняет в греческом языке ту же роль, которую выполняют в латинском языке падежные окончания, будто бы отсутствующие в греческом языке.<sup>20</sup> Это утверждение модистов достаточно ясно свидетельствует об их неосведомленности относительно всего того, что находится за пределами латинского языка.

Во всяком случае в качестве единственного достойного объекта своего исследования модисты рассматривают грамматический строй, общий, как они полагают, для всех языков. Различающийся от языка к языку звуковой строй полностью исключен из сферы их рассмотрения. Во многих сочинениях модистов повторяется в форме аксиомы одно и то же положение: Grammaticus unde grammaticus vocem . . . non debet diffinire 'Грамматик, как таковой . . . не должен определять

---

<sup>20</sup> Th u r o t Ch. Notices et extraits. . . P. 124; R o s i e r I. La grammaire spéculative des modistes. Lille, 1983. P. 36.



звучания'.<sup>21</sup> Вопросы, связанные со звучанием — материальным субстратом языка, входят, по мнению модистов, в компетенцию естественных наук (*scientia naturalis*) — физики или физиологии.

Такое отношение к звуковой стороне языка тесно связано с определенной позицией модистов в древнем споре о естественной или условной связи между явлениями языка и реалиями объективного мира. Отдельные слова, по воззрению модистов, представляют собой *signa arbitraria* 'условные знаки', звуковая оболочка языка конвенциональна, другое дело — внутренняя структура языка, его грамматический строй, связь которого с нашим сознанием и объективной реальностью следует признать естественной, поскольку грамматический строй отражает структуру нашего сознания и структуру объективной реальности. Не проявляют модисты интереса и к проблемам лексического значения слова; соответствующую проблематику они рассматривают как относящуюся к психологии.<sup>22</sup>

Подлинным предметом своей науки модисты считают только формальные, грамматические значения (в противоположность материальным значениям, значениям отдельных слов). В некоторых сочинениях модистов можно найти характерное сравнение грамматики с геометрией: подобно тому как геометрия рассматривает линии, плоскости, трехмерные тела в полном отвлечении от того материала, в который они воплощены, точно так же и грамматика должна рассматривать основные особенности грамматического строя в отвлечении от конкретного языкового материала, с помощью которого они выражены.<sup>23</sup>

Грамматический строй представляется модистам жесткой системой, отдельные элементы которой находятся между собой в отношении тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. В грамматике, как и в геометрии, все строго детерминировано, все вытекает одно из другого с логической необходимостью. В основе грамматики лежат некие первоначала (*principia*), определяющие весь грамматический строй, который вторичен (*posteriora*) по отношению к этим первоначалам и может быть только таким, каким эти первоначала его устанавливают, иным же быть не может (*impossibile est aliter se habere*): *Quia enim dictio aliqua tales habet modos significandi, ideo de necessitate debet habere tales constructiones et non alias, et eodem modo intelligendum est de ceteris* 'Ибо поскольку какое-либо слово имеет такие модусы обозначения, поэтому по необходимости оно должно иметь такие конструкции, а не иные, и таким же образом следует понимать и об остальном' (Бозций Дакийский, цит. по Jolivet 1970, p. 310).

Грамматика, как любая другая наука, должна быть основана на доказательствах, при этом исходные принципы принимаются как самоочевидные (подобно аксиомам в геометрии), но все прочие положения должны быть выведены из первоначал посредством строгого умозаключения: *Ut in aliis scientiis principia communia et principia*

<sup>21</sup> Roos H. *Die Modi significandi des Martinus de Dacia*. S. 142.

<sup>22</sup> Godfrey R. G. *The Language Theory of Thomas of Erfurt / Studies in Philology*. 1960. V. 57. N 1. P. 25.

<sup>23</sup> Thurot Ch. *Notices et extraits...* P. 127.

propria sunt indemonstrabilia, conclusiones autem, quae ex his sequuntur, per illa sunt demonstrabiles, sic etiam est in grammatica 'Как в других науках первоначала общие и первоначала частные суть недоказуемы, а заключения, которые следуют из этих первоначал, доказуемы через их посредство, так же и в грамматике' (Боэций Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 31). В качестве исходных первоначал модисты рассматривают *modi significandi* (букв. «способы обозначения»): «все понятия включаются в одну стройную теорию; в качестве ее центра выступает *modus significandi*; все грамматические структуры определяются по отношению к этому центру».<sup>24</sup>

Поскольку в грамматике все явления находятся в закономерной связи между собой и природа каждого явления может быть выведена из природы других, то в науке о грамматическом строе должен господствовать принцип доказательства. Традиционную грамматику модисты упрекают в том, что она дает простое описание фактов там, где можно и должно использовать доказательства: *Res, in quibus est possibilis modus sciendi demonstrativus, multotiens docentur non modo demonstrativo, sed modo narrativo; et talis doctrina non est sufficiens, sed magis de rebus scibilibus facit opinionem, quam scientiam. Unde cum Priscianus grammaticam non docuit per omnem modum sciendi possibilem in ea, ideo doctrina sua est valde diminuta* 'Предметы, относительно которых возможен доказательный модус знания, часто излагаются не посредством модуса доказательного, а посредством описательного модуса; но такое учение нельзя признать достаточным, ведь оно создает относительно предметов познаваемых скорее мнение, чем знание. Поскольку Присциан не учил грамматике посредством каждого возможного в ней модуса знания, то тем самым он очень ослабил свое учение' (Боэций Дакийский, цит. по Henry 1980, p. 85).

Таким образом, основной метод модистов — метод дедукции, они опираются в своих доказательствах не на языковой узус, а на силлогистические выводы. Языковой материал не занимает в сочинениях модистов большого места; взамен примеров, заимствованных из классической литературы, они приводят очень немногочисленные примеры собственного сочинения, которые служат не исходным пунктом для анализа и размышления, а лишь языковой иллюстрацией положению, установленному дедуктивным путем. Они не стремятся также к исчерпывающему изложению фактов латинской грамматики, ограничиваясь только приведением тех фактов, которые подкрепляют их рассуждение.

Поскольку все явления грамматического строя находятся между собой в закономерной связи и каждое явление может быть выведено из других посредством логического рассуждения, посредством дедукции, то это значит, что каждое явление грамматического строя может получить исчерпывающее объяснение, причина каждого явления может быть твердо установлена. Понятие «причины» занимает важное место в системе схоластической философии: познать явление —

<sup>24</sup> P i n b o r g J. Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter. S. 56.

значит для схоластов выявить его причину. Они опираются при этом на одно из положений философии Аристотеля: «Мы полагаем, что знаем каждую вещь безусловно, а не софистически, приводящим образом, когда полагаем, что знаем причину, в силу которой она есть, что она действительно причина ее и что иначе обстоять не может . . . Мы тогда познаем предмет, когда знаем его причину» (Аристотель, Вторая Аналитика, кн. I, гл. 2). В выявлении первых и общих причин (*primae et universae causae*) видит задачу философии Фома Аквинский в том определении философии, которое было приведено выше. Великому философу древности и своему старшему современнику Фоме Аквинскому вторит модист Иоанн Дакийский: *scire est per causam cognoscere* — «знать — значит познавать посредством причины» (Rosier, 1983, p. 22). Все явления грамматического строя должно, по мнению Боэция Дакийского, «сводить к их причинам» (*reducere in suas causas*), «посредством которых . . . они могут быть познаны и доказаны» (*per quas. . . possunt sciri et demonstrari*, — *ibid.*, p. 31). Многие языковые явления можно объяснить исходя из других явлений языка; так, например, синтаксические сочетания, в которые вступает слово, принадлежащее к определенной части речи, объясняются теми модусами обозначения, которые свойственны данному слову в силу его принадлежности к той или иной части речи, и все же общие и конечные причины языкового строя в целом коренятся, по мнению модистов, не в самом языке, а за его пределами: они коренятся в мире реальной действительности и определяют языковой строй через посредство нашего сознания. Модисты стремятся не только к тому, чтобы создать общую теорию грамматики, применимую ко всем без исключения языкам, они ставят перед собой задачу еще более грандиозную — задачу раскрытия отношений языка к нашему сознанию и к миру реальной действительности.

По убеждению модистов, для подлинного понимания явлений языка необходимо обращение к процессам познания, а также к миру реальной действительности, ибо строение языка отражает структуру материального мира. Так, в частности, значения частей речи являются коррелятами реальности; два важнейших элемента действительности (по представлениям схоластики) — состояние и становление (*habitus* и *fieri*) — выражаются в значении частей речи: устойчивое состояние — в значении имени и местоимения, а становление — в значении глагола и причастия. При этом модисты мало интересуются значениями отдельных слов (*significata specialia*), но главным образом абстрактными константами языкового строя, грамматическими значениями (*significata generalia* букв. «общие значения»). Непосредственным источником этих общих значений являются представления нашего разума, но не разуму обязаны они своим существованием (это модисты настойчиво подчеркивают), в конечном итоге они коренятся в реальной действительности: *Grammatica est accepta a rebus, nam ipsa non est figmentum intellectus, quia figmento nihil respondet a parte rei extra animam. Sed naturae rerum sunt eadem secundum speciem et essentialiter apud omnes, ergo et earum proprietates, quae sunt modi essendi, a quibus accipiuntur modi intelligendi et*

per consequens modi significandi et postmodum modi construendi  
'Грамматика берет свое начало от вещей, ибо она не есть создание разума, ведь созданию разума ничто не соответствует в мире вещей вне души. Но природы вещей и по виду и по существу одни и те же у всех, следовательно, одни и те же свойства вещей, которые суть модусы существования, от которых берут начало модусы понимания и вследствие этого модусы обозначения, а затем и модусы построения' (Иоанн Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 36).

Итак, роль разума представляется схоластам ограниченной; разум лишь воспринимает то, что заложено в реальной действительности, выполняя в определенном смысле функцию передаточного звена между объективной действительностью и языком. «Схоластика твердо придерживается примата бытия по отношению к познанию, она ориентирована онтологически».<sup>25</sup> Разум целиком зависит от чувственного восприятия; незбылемым для схоластики представляется аристотелевский принцип: *nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu* 'ничего нет в сознании, чего не было раньше в ощущении'. Воспринимая единичные вещи, наше сознание одновременно извлекает из них и общие свойства, в них заключенные.

Тут мы подходим к проблемам, связанным с великим спором между представителями двух течений в средневековой западноевропейской философии, а именно со спором между номиналистами и реалистами. В самом общем виде суть этого спора сводится к следующему: по представлениям номиналистов, реальны лишь единичные вещи, а универсалии (общие понятия) существуют только в сознании, выступая как результат мыслительного обобщения наблюдаемых в мире сходств между предметами; реалисты же верят в действительное, объективное, независимое от нашего сознания существование универсалий (*universalia sunt realia*).<sup>26</sup> При этом в отличие от крайнего реализма, гипостазирующего общие понятия, приписывающего отвлеченным понятиям самостоятельное (отдельное от единичных вещей) существование, умеренный реализм признает, что общие свойства (универсалии) существуют лишь в единичных вещах. Вполне понятно, что модисты, по представлениям которых общие значения (*significata generalia*) восходят к общим свойствам вещей, извлекаемым нашим сознанием из наблюдений над единичными вещами, в которых эти свойства заключены, стояли на позиции умеренного реализма. Это направление было господствующим в схоластике XIII в., крупнейшим его представителем был Фома Аквинский.

Если в XII в. и в первой половине XIII в. в центре внимания ученых находились проблемы логики, то во второй половине XIII в. интересы переключились на проблемы натурфилософии, психологии и прежде всего метафизики. Именно метафизика становится ведущей философской дисциплиной этого времени. Вместо «логизации» грам-

<sup>25</sup> Roos H. Sprachdenken im Mittelalter. S. 207.

<sup>26</sup> Подробнее об этом см.: Реферовская Е. А. Спор реалистов и номиналистов // История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л., 1985. С. 243—287.

матики, которая происходила в предшествующий период, теперь осуществляется «онтологизация» как логики, так и грамматики. Различным явлениям языка модисты стремятся дать «онтологическое» объяснение.<sup>27</sup>

Главным источником естественнонаучных сведений и философских представлений были, разумеется, труды Аристотеля, прежде всего его «Физика» и «Метафизика». В некоторых сочинениях модистов ссылки на Аристотеля встречаются чаще, чем ссылки на грамматические трактаты предшественников. О степени влияния естественнонаучных идей Аристотеля на учение модистов достаточно ясно свидетельствует хотя бы тот факт, что теория движения, изложенная Аристотелем в «Физике», легла в основу синтаксической доктрины модистов.<sup>28</sup> «Онтологизация» языка, стремление объяснить все особенности грамматического строя прямым отражением реальной действительности принимает у модистов порою такие формы, которые представляются нашему современному восприятию крайне наивными. Модистов, например, смущало то обстоятельство, что одно из названий Бога в латинском языке — *deitas* (букв. «божество») — выступает как существительное женского рода. Ведь с женским родом, по представлениям модистов, всегда ассоциируется пассивное начало, а пассивное начало как будто бы не должно быть свойственно Богу. Один из наиболее выдающихся модистов начала XIV в. Радульф Бритон нашел все же выход из положения. Поскольку Бог подвергается воздействию наших молитв, утверждает Радульф Бритон, то он в известном смысле причастен пассивному началу, а потому одним из названий Бога может быть существительное женского рода.<sup>29</sup>

Модисты усваивают и широко применяют к рассмотрению языковых явлений основные онтологические представления Аристотеля: представления о материи и форме, о потенции и акте, о субстанции и акциденциях, о четырех причинах (материальной, формальной, целевой и движущей). Эти представления составляли понятийный аппарат всей схоластики, включая сюда натурфилософию и теологию.<sup>30</sup>

С полным основанием можно рассматривать учение модистов как философскую грамматику; философской эта грамматика является и по проблематике, и по понятийному аппарату. Было бы, однако, неправильным представлять дело таким образом, что отношения между учением модистов и современной этому учению философией носили односторонний характер, что грамматика лишь заимствовала из фи-

<sup>27</sup> Markowski M. Sprache und Logik im Mittelalter // Akten des VI Internationalen Kongress für mittelalterliche Philosophie. 1. Halbband / Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln. Bd. 13/1. Berlin; New York, 1981. S. 42.

<sup>28</sup> Kelly L. G. La grammaire à la fin du moyen-âge et les universaux // La grammaire générale des Modistes aux Ideologues, présenté par A. Joly et J. Stefanini. Lille, 1977. P. 9.

<sup>29</sup> Rosier I. La théorie médiévale des Modes de signifier / Langage. 1982. N 65. P. 124.

<sup>30</sup> Kelly L. G. Grammar and Meaning in the Late Middle Ages // *Historiographia Linguistica*. 1974. V. 1, N 2. P. 204—207.

философии постановку проблем и основные представления; в действительности связи были двусторонними: грамматика модистов была по отношению к философии и теологии своего времени не только берущей стороной, но и дающей.<sup>31</sup>

В системе схоластики учение о языке занимало большое и важное место. Отчасти это объяснялось полной неразвитостью естественных наук: «... из-за отсутствия необходимых средств для проникновения в тайны природы наиболее глубокие умы сосредоточивались на самих себе, превращали в объект изучения человеческий разум и человеческое слово, деятельность мысли и функционирование речи».<sup>32</sup> Но наряду с этой чисто негативной причиной особое место науки о языке определялось и иными причинами. Научное исследование заключалось для схоластов прежде всего в изучении авторитетных памятников — религиозных (Библия, отцы церкви) и философских (прежде всего Аристотель). Изучение памятников предполагало их истолкование, существенной частью которого была и языковая интерпретация: нужно было точно определять значения отдельных слов, их место в связном изложении, тот смысл, который получало слово в данном контексте, и т. д. С другой стороны, точное определение значения слов, в первую очередь особо важных терминов, требовалось для правильного ведения научных споров, тех самых диспутов, которые играли столь большую роль в интеллектуальной жизни западноевропейского общества в период позднего Средневековья. И наконец, разработка проблем языка в большой мере стимулировалась потребностями теологии. Ведь слова, которыми пользуется человеческая речь, имеют своей непосредственной целью описание земной реальности, но эти же самые слова применяются и по отношению к Богу; для теологов было несомненным, что в этом последнем случае слова приобретают особый смысл, глубоко отличный от смысла обыденного (например, слово «мудрый» по отношению к человеку и по отношению к Богу); в этой связи требовалось точно установить, в чем именно заключается различие между указанными значениями одного и того же слова. Для решения всех этих задач средневековым ученым нужно было разработанное учение о языке, располагающее строгими правилами и продуманными принципами.<sup>33</sup>

В предшествующем изложении неоднократно говорилось о том, как часто ссылаются модисты на сочинения философов, сколь широко пользуются они философским понятийно-терминологическим аппаратом; надо отметить, однако, что в свою очередь философы и теологи позднего Средневековья уделяют большое внимание языковой проблематике, рассуждения на темы языка встречаются в их сочинениях очень часто. Так, например, Фома Аквинский в одном из своих теологических трактатов рассуждает о различии по значению между

---

<sup>31</sup> Kelly L. G. *Modus significandi an Interdisciplinary Concept* // *Historiographia Linguistica*. 1979. V. 6, N 2. P. 176.

<sup>32</sup> Stefa n i n i J. *Les modistes et leur apport à la théorie de la grammaire et du signe linguistique* // *Semiotica*. 1973. V. 8, N 3. P. 263.

<sup>33</sup> R o o s H. *Sprachdenken im Mittelalter...* S. 203, 204.

двумя словами, рассматриваемыми обычно как синонимы, — *datum* 'дар' (букв. «данное, подаренное»: по происхождению это слово представляет собой причастие) и *donum* 'дар': *Datum enim consignificat tempus, cum sit participium, donum autem non, cum sit nomen. Inde est, quod donum competit magis divinis, quae sine tempore sunt, quam datum. Unde donum potest esse aeternum, sed non datum* 'Ибо *datum* сообозначает время, поскольку это причастие, а *donum* не сообозначает. По этой причине *donum* больше соответствует божественному, которое вне времени, чем *datum*. Отсюда *donum* может быть вечным, а *datum* не может' (Kelly 1979, p. 172). О роли языковых разысканий для теологии Фома Аквинский говорит прямо: *Theologia, inquantum est principalis omnium scientiarum, aliquid in se habet de omnibus scientiis; et ideo non solum res, sed nominum significationes pertractat* 'Поскольку теология есть важнейшая из всех наук, она заключает в себе нечто от всех наук; по этой причине она исследует не только предметы, но и значения имен' (Grabmann 1926, S. 144). В одном из модистических трактатов выражена уверенность в том, что модусы обозначения служат надежным орудием исследования во всех науках, и в особенности в теологии: *Theologus . . . sequatur insuper modos significandi, quibus utitur communis schola doctorum . . . Ex modis significandi grammaticalibus . . . plurimae difficultates in quavis scientia, maxime in Theologia, possunt terminari* 'Пусть, кроме того . . . теолог следует модусам обозначения, которыми пользуются все ученые . . . С помощью грамматических модусов обозначения . . . многие трудности во всех науках, и особенно в теологии, могут быть устранены' (ibid. S. 145).

Выше неоднократно говорилось о том, что модисты во многом опирались на своих предшественников; некоторые идеи, лежащие в основе учения модистов, разрабатывались уже Петром Гелийским, Робертом Килвордби, Роджером Бэконом, а также другими философами, логиками и грамматиками XII и XIII вв. Тем не менее по ряду существенных особенностей учение модистов отличалось от всей предшествующей грамматической традиции — впервые именно у модистов модус обозначения (*modus significandi*) превратился в ключевое понятие, посредством которого пытались объяснить самые разнообразные языковые явления. Своеобразие модистов заключалось не только в идейном содержании, оно проявлялось и в специфической форме модистического трактата, в его общем построении, в последовательности изложения материала.

Первые два раздела традиционных грамматик — Орфография и Просодия — отсутствуют в трактатах модистов, поскольку модисты не проявляют никакого интереса к изучению звукового строя языка. Из четырех основных разделов традиционной грамматики у модистов сохраняются лишь два последних: Этимология (учение о частях речи) и Синтаксис (учение о словосочетаниях и предложении). Этим двум разделам в трактатах модистов предшествует Введение, повествующее о теоретической основе учения модистов — о модусе обозначения. Указанная общая схема, впервые представленная, по-видимому, у Мартина Дакийского, воспроизводится почти во всех грамматиках

модистического направления; сходным оказывается у модистов и последующее, более дробное членение трактата, хотя по отдельным, частным вопросам между модистами могут быть и расхождения.

### Модусы обозначения

Как подлинная наука грамматика должна иметь исходные начала (*principia*). Эти основополагающие принципы грамматики модисты усматривают в модусах обозначения *modi significandi* — букв. «способы обозначения». Понятие *modi significandi* имеет долгую предысторию, в конечном счете оно восходит к Боэцию (VI в.), в грамматике это понятие появилось в XII в. под влиянием логики; уже Абеляр использует это понятие по отношению к языку, гораздо чаще обращается к нему Петр Гелийский, широко применяют понятие *modi significandi* философы и теологи XIII в., но только у модистов конца XIII в. это понятие стало служить основным компонентом целостной понятийно-терминологической системы, призванной объяснить явления языка и связь этих явлений с реальной действительностью.<sup>34</sup>

Одну и ту же предметную отнесенность могут иметь, по мнению модистов, слова, принадлежащие к различным частям речи: *Dolor, doleo, dolens, dolenter . . . eandem rem significant* 'Страдание, страдаю, страдающий, со страданием . . . обозначают одну и ту же вещь' (Иоанн Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 57). Различаются эти слова, согласно учению модистов, способом представления одного и того же предметного содержания, способом обозначения. В значении слова модисты отчетливо различают два компонента — предметное (по нашей терминологии, лексическое) значение и значение грамматическое, порожденное способом обозначения. Прежде всего слово характеризуется своей предметной отнесенностью, своей функцией указания на то или иное явление действительности. Взятое в отвлечении от своих грамматических характеристик, рассматриваемое только в плане своей предметной отнесенности слово обозначается модистами как *dictio*. *Dictio nominat relationem vocis significantis ad rem significatam* 'слово выражает отношение значащего звучания к означаемой вещи' (Мартин Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 212). Благодаря указанному отношению (предметной отнесенности) чистое звучание *vox* превращается в *dictio* — слово, рассматриваемое только со стороны предметной отнесенности в отвлечении от его грамматических свойств. *Modus significandi* определяет грамматическую характеристику слова, превращает *dictio* в *pars orationis* 'часть речи'. В соответствии со своими основополагающими методологическими принципами модисты видят свою задачу в том, чтобы выявить «при-

---

<sup>34</sup> Thurot Ch. *Notices et extraits*. . . P. 148—154; Jolivet J. *Comparaison des théories du langage chez Abélard et chez les nominalistes du XIV siècle*// Peter Abélard. *Proceedings of the International Conference*. Louven; The Hague, 1974. P. 163; Kelly L. G. *Modus significandi an Interdisciplinary Concept*. P. 159.



чины» (*causae*) модусов обозначения, установить их происхождение. Модусы обозначения не являются лишь продуктом человеческого сознания, они коренятся, по глубокому убеждению модистов, в реальной действительности.

Каждое явление обладает своей индивидуальной определенностью и наряду с ней различными свойствами, которые оно разделяет со многими другими явлениями. Эти общие свойства рассматриваются модистами как модусы существования данного явления (*modi essendi*), именно к ним и восходят по своему происхождению модусы обозначения (*modi significandi*). Некоторые явления обладают модусом состояния (*modus habitus*) или модусом устойчивого положения; соответствующий этому модусу существования модус обозначения характеризует название данного явления как имя. Другие явления обладают модусом становления (*modus fieri*); соответствующий данному модусу существования модус обозначения характеризует название данного явления как глагол. Наряду с такими свойствами, а следовательно, и такими модусами существования, которые составляют существо данного явления и которым соответствуют основные модусы обозначения (*modi significandi essentialia*), определяющие отнесенность названия данного явления к той или иной части речи, у явления существуют и иные свойства, не затрагивающие его существа, по отношению к его существу побочные, переменные, в известном смысле случайные (*modi essendi accidentales*), которым соответствуют в сфере языкового выражения переменные, побочные модусы обозначения (*modi significandi accidentales*), характеризующие те или иные акциденции слова, в современной терминологии — словоизменяемые категории слова, относящегося к определенной части речи. Промежуточную сферу между реальной действительностью и языковым выражением образует человеческое сознание; связь между модусами существования (*modi essendi*) и модусами обозначения (*modi significandi*) осуществляется через посредство модусов познания (*modi intelligendi*).

Итак, «звучание, как таковое, не заключает в себе никакого значения» (*vox, unde vox est, nullum in se includit significatum*) . . . ; «слово (*dictio*) же, как таковое, заключает в себе звучание как свою материю и отношение обозначения как свою форму» (*dictio autem, unde dictio est, includit in se vocem tamquam sibi materiam et rationem significandi tamquam sibi formam*). . . ; благодаря этой форме и через посредство познания слово «соотносится с вещью» (*refertur ad rem*). . . ; «часть речи, как таковая» (*pars vero, unde pars*) заключает в себе помимо указанных двух элементов (*vox, dictio*) также «отношение обозначения как свою форму. . . , благодаря которой через посредство модуса познания соотносится с модусом существования вещи или ее свойством» (*rationem non significandi tamquam sibi formam. . . , per quam, mediante modo intelligendi refertur ad rei modum essendi vel proprietatem*) (Мишель из Марбэ, цит. по Thurot 1868, p. 156).

Грамматически оформленное слово заключает в себе, таким образом, два компонента значения: значение предметное, соотношенное с самой вещью, и грамматическое значение, точнее грамматические

значения, соотносенные с теми или иными модусами существования вещи, т. е. с ее свойствами. Соотношение между предметным и грамматическим значениями грамматически оформленного слова очень отчетливо и ярко представлено у Сигера из Куртрэ: слово одновременно обозначает и саму вещь (*ipsam rem*), и посредством модуса обозначения «модус существования или свойство вещи» (*modum essendi seu proprietatem rei*), «подобно тому как красный лоскут, висящий перед харчевней, как лоскут означает вино, как красный — красный цвет вина» (*sicut pannus rubeus pendens ante tabernam, unde pannus, significat vinum, unde rubeus, rubidinem vini*). (Сигер из Куртрэ, цит. по Thurot 1868, p. 157).

Для ранних модистов характерно представление о полном параллелизме сфер существования, познания и обозначения, о жесткой привязанности сфер познания и языкового выражения к сфере реальной действительности. *Sicut se habet res extra, intellecta et significata, sic se habent modi essendi, modi intelligendi et modi significandi. Sed res extra, intellecta et significata sunt una et eadem res. Quare et modi essendi, modi intelligendi, et modi significandi sunt idem penitus, licet differant per accidens* 'Подобно тому как соотносятся вещь внешняя, вещь познанная и вещь обозначенная, точно так же соотносятся модусы существования, модусы познания и модусы обозначения. Но вещь внешняя, вещь познанная и вещь обозначенная суть одна и та же вещь, поэтому и модусы существования, модусы познания и модусы обозначения по существу суть одно и то же, хотя они и различаются между собой побочными признаками' (Мартин Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 53). Одни и те же свойства вещей существуют в трех формах в зависимости от сферы своего проявления. Исходными являются свойства вещей как они существуют в самих вещах вне человеческого познания. *Res extra intellectum multas habet proprietates. . . Omnes autem istae proprietates rei extra intellectum existentis dicuntur modi essendi* 'Вещь вне сознания имеет многие свойства. . . Все эти свойства вещи, существующей вне сознания, называются модусы существования' (Мартин Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 46). Соответствующие модусы познания и модусы обозначения принципиально совпадают с модусами существования. Модус обозначения есть то же самое «свойство вещи, сообозначенное посредством звучания» (*proprietas rei consignificata per vocem*) (Мартин Дакийский, цит. по Pinborg 1967, p. 70). Материально, по своему содержанию модус обозначения не отличается от модуса существования. По мнению Мартина, модус обозначения совпадает с модусом существования даже по месту своего нахождения (по субъекту, в терминологии модистов). *Modus significandi in re significata ut in subiecto, in voce sicut in signo* 'Модус обозначения существует в обозначенной вещи как в субъекте, в звучании же как в знаке' (Мартин Дакийский, цит. по Pinborg 1967, p. 70). Точно так же *modi intelligendi in re intellecta ut in subiecto sunt* 'модусы познания существуют в познанной вещи как в субъекте' (Мартин Дакийский, цит. по Pinborg 1967, p. 70), в сознании же (*in intellectu*) как познанное в познающем (*cognitum in cognoscente*).

Итак, все модусы имеют свое основание в вещах, *modi essendi* — в вещах, существующих вне сознания, *modi intelligendi* — в познанных вещах, *modi significandi* — в обозначенных вещах. В силу этого *modi significandi* не являются знаками модусов познания (*modi intelligendi*) и модусов существования (*modi essendi*), ведь «ничто не может быть знаком самого себя» (*nihil potest esse signum sui ipsius*) (Мартин Дакийский, цит. по Roos 1948, p. 214). Как мы видим, концепция Мартина Дакийского оставляет мало места для проявления активности человеческого сознания.

Имеются, однако, факты, которые плохо согласуются с представлением о жесткой привязанности сфер языка и познания к сфере реальной действительности, с представлением, сводящим деятельность сознания и языка только к функции пассивного отражения. В самом деле, если грамматическая характеристика слова восходит в конечном счете к свойству явления, обозначаемого этим словом, то как объяснить, что одно и то же явление может быть выражено словами, относящимися к разным частям речи (вспомним: *dolor, doleo, dolens, dolenter. . . eandem rem significant*), или как объяснить, что имена, обозначающие один и тот же предмет (синонимы), могут принадлежать к различным грамматическим родам (например, одно — к мужскому роду, а другое — к женскому), и т. д. и т. п. Модисты пытаются решить эту проблему посредством следующего рассуждения. Каждое явление обладает многими свойствами, то есть многими модусами существования, в том числе — многими основными модусами существования (*modi essendi essentialia*), определяющими в конечном счете принадлежность слова к той или иной части речи; поэтому, исходя из одного основного модуса существования, мы обозначаем данное явление как глагол, а исходя из другого основного модуса существования, мы обозначаем данное явление как имя, и т. д. Точно так же явление может обладать многими побочными модусами существования (*modi essendi accidentales*); отправляясь от одного побочного модуса существования данного явления, мы придаем имени, обозначающему это явление, мужской род, а отправляясь от другого побочного модуса существования, мы придаем имени женский род. *Eadem res bene potest habere plures modos essendi seu plures proprietates. . . ; propter quod una et eadem res, sub alio et alio modo essendi designata, bene potest esse alterius et alterius generis* 'Одна и та же вещь вполне может иметь многие модусы существования или многие свойства. . . ; по этой причине одна и та же вещь, обозначенная в соответствии с разными модусами существования, вполне может быть разных родов' (т. е. имена, обозначающие одну и ту же вещь, могут быть разных родов. — *И. П.*) (Сигер из Куртрэ, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 90).

Определенные трудности порождаются и другими моментами: существуют названия вещей воображаемых *figmenta* (названия фантастических животных, например), существуют чисто отрицательные понятия *negationes* (например, *nihil* «ничто») и т. д. Поскольку подобные «вещи» не являются реальными сущностями (*non sint entia*), *modus significandi* их обозначений «не может происходить от свойства

обозначаемой вещи» (*a proprietate rei significatae oriri non potest*) — полагает Томас Эрфуртский (цит. по Rosier 1983, p. 58). Рассмотрение подобных явлений вынуждает модистов отойти от жесткой схемы Мартина Дакийского; соотношение между модусами обозначения и модусами существования оказывается далеко не таким простым; вместе с тем модисты непременно стремятся доказать, что модусы обозначения во всех случаях имеют реальную основу. В случаях названия вымышленных вещей (*figmenta*) или отрицательных понятий (*negationes*) используемые модусы обозначения восходят к модусам существования других вещей, привлеченных на основании тех или иных аналогий. *Omnes modi significandi, qui sunt in hac dictione «nihil» ortum habent ex proprietatibus rerum, non tamen eius, quod est significatum huius dictionis «nihil»* 'Все модусы обозначения, находящиеся в слове «ничто», имеют начало в свойствах вещей, однако не в свойствах того, что составляет значение слова «ничто»' (Боэций Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 58).

Серьезную проблему составляют слова типа *motus* 'движение', обладающие внутренне противоречивым значением, сочетающим «глагольную идею» и именной модус обозначения. Одна и та же идея движения может быть выражена с помощью имени (*motus* «движение») и с помощью глагола (*movere* «двигать, двигаться»). *Nam eadem res cadens sub modo significandi nominis facit nomen, si cadit sub modo alterius partis, facit aliam partem orationis* 'Ибо одна и та же вещь, подпадая под модус обозначения имени, дает начало имени, если же подпадает под модус другой части речи, дает начало другой части речи' (Боэций Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 61). Отсюда следует вывод, что любое предметное значение может быть обозначено посредством любого модуса обозначения. *Idem conceptus mentis per omnes partes orationis potest significari* 'Одно и то же умственное понятие может быть выражено всеми частями речи' (Боэций Дакийский, цит. по Jakobson 1975, p. 296). При этом модисты всячески подчеркивают, что во всех без исключения случаях модусу обозначения слова соответствует реально существующий модус существования, будь то модус существования другого явления, но всегда модус существования, коренящийся в реальной действительности. *Nisi modi significandi haberent ortum a proprietatibus rerum, modi significandi essent purum figmentum* 'Если бы модусы обозначения не происходили от свойств вещей, модусы обозначения были бы чистым вымыслом' (Иоанн Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 59). Но согласиться с тем, что хотя бы в каких-то случаях модусы обозначения не имеют соответствия в тех или иных модусах существования, то есть лишены реальной основы, модисты никак не хотят. По их мнению, ошибочны утверждения, «что модусы существования присутствуют в слове только благодаря сознанию» (*quod modi significandi solum insunt dictioni per intellectum*), само по себе «сознание не является достаточной причиной модусов обозначения» (*intellectus sufficienter non causat modos significandi*), подлинная причина модусов обозначения находится в объективной действительности, такой

причиной является «сама вещь» (*res ipsa*) (Иоанн Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 67).

Тем не менее наблюдения над названиями вещей воображаемых, над названиями отрицательных понятий и над некоторыми другими языковыми явлениями побуждают модистов отказаться от жёсткой схемы Мартина Дакийского, в соответствии с которой название представляет собой точную копию именуемого явления, а роль сознания сводится к функции пассивного отражения. Ведь если наименование явления происходит на основе отбора из многих модусов существования данного явления, а в некоторых случаях явления именуется посредством привлечения модусов существования других явлений, то это предполагает достаточно активную роль сознания в процессах наименований. Эти соображения приводят к существенным изменениям в представлениях о модусах существования, модусах познания и модусах обозначения.

Вскоре после появления первых модистических трактатов в сочинениях модистов начинают фигурировать два модуса познания — активный модус познания (*modus intelligendi activus*) и пассивный модус познания (*modus intelligendi passivus*), а также два модуса обозначения — активный модус обозначения (*modus significandi activus*) и пассивный модус обозначения (*modus significandi passivus*). Новая система модусов не появилась, однако, совершенно неожиданно и как бы на пустом месте. С одной стороны, уже в концепции ранних модистов присутствуют представления о двоякой природе как модуса познания, так и модуса обозначения; по Мартину Дакийскому, модус познания существует одновременно «в познанной вещи» (*in re intellecta*) и «в сознании» (*in intellectu*) как «познанное в познающем» (*cognitum in cognoscente*), а модус обозначения существует одновременно «в обозначенной вещи» (*in re significata*) и в звучании «как в знаке» (*in voce sicut in signo*). С другой стороны, новая терминология также не была абсолютным новшеством, она имела опору в давней научной традиции; в конечном счете она восходит к проводимому Аристотелем разграничению между деятельным разумом (*νοῦς ποιητικός*) и разумом претерпевающим (*νοῦς παθητικός*) (Аристотель, *О душе*, кн. 3, гл. 5) — разграничению, получившему дальнейшую разработку в трудах арабоязычных философов (в частности, у Ибн-Сины), а также в сочинениях Фомы Аквинского и Роджера Бэкона.<sup>35</sup>

Попытаемся ответить на вопрос о том, как представляли себе модисты природу всех этих модусов. Если модус существования есть свойство вещи, рассматриваемое вне всяких связей и зависимостей (*modus essendi est rei proprietas absolute*; Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 104), то пассивный модус познания есть то же самое свойство, рассматриваемое в его отношении к позна-

<sup>35</sup> Trentman J. A. *Speculative Grammar and Transformational Grammar*. . . P. 298, 299; Трахтенберг О. В. *Очерки по истории западноевропейской средневековой философии*. М., 1957. С. 161; Боргос Ю. *Фома Аквинский*. М., 1975. С. 93; Курантов А. П., Стыжкин Н. И. *Уильям Оккам*. М., 1978. С. 104.

нию, т. е. модус существования как могущий быть познанным и как познанный; пассивный модус познания находится в познаваемой вещи и материально совпадает с модусом существования, отличаясь от него лишь с формальной стороны, т. е. тем, что определенное свойство рассматривается в данном случае не независимо от каких-либо связей, а в своем отношении к познанию. Модус существования и пассивный модус познания «суть одно и то же материально и реально» (*sunt eadem materialiter et realiter*) (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 94). Все модисты в полном согласии между собой говорят о материальном тождестве пассивного модуса познания с модусом существования, указывают на познаваемую вещь как на «субъект» пассивного модуса познания. Такая позиция исключает возможность истолкования «познанного свойства» как образа свойства, как представления о свойстве.<sup>36</sup> Ведь «образ» и «представление» находятся в нашем сознании, а не в познаваемой вещи, кроме того, «образ» и «представление» никак не могут совпадать со свойствами вещи материально; само реальное свойство и представление о нем явно созданы из разной материи.

То же самое свойство вещи, будучи осознанным и рассматриваемое в его отношении к языку, есть пассивный модус обозначения (*modus significandi passivus*). Пассивный модус обозначения — это модус существования как могущий быть обозначенным и как обозначенный, но это не обозначение модуса существования. Утверждения модистов о том, что пассивный модус обозначения находится в познаваемой вещи как в субъекте (*in re significata ut in subiecto*), что он материально совпадает с модусом существования (*sunt eadem materialiter et realiter*), никак не могут быть согласованы с представлением о пассивном модусе обозначения как о языковом обозначении, пусть даже обозначении идеальном, находящемся в нашем сознании в виде «акустического образа» (термин Ф. де Соссюра). Ведь языковое обозначение (будь то реальное обозначение в потоке речи или идеальное обозначение, находящееся в сознании) явно имеет другую природу: оно находится в языке или в сознании, но не в обозначаемой вещи; оно не совпадает с модусом существования материально. *Modus significandi passivus* есть означаемое, и в этом качестве он не имеет отношения к грамматике: *modi significandi passivi ad grammaticam non pertinent* 'пассивные модусы обозначения не относятся к грамматике' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 105), тогда как любое языковое обозначение (как реальное, так и идеальное) вне грамматики не мыслимо. Совпадая с модусом существования материально, пассивный модус обозначения отличается от него с «формальной стороны», поскольку в понятие пассивного модуса обозначения

---

<sup>36</sup> Некоторые современные исследователи склонны интерпретировать пассивный модус познания как «умственное представление», на наш взгляд, без достаточных на то оснований, см.: Kelly L. G. *De modis generandi; points of contact between Noam Chomsky and Thomas of Erfurt* // *Folia Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae*. 1971. T. 5. N 3/4. P. 228; Bursill-Hall G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages*. The Hague, Paris, 1971. P. 94.

ния включено, помимо понятия модуса существования, также отношение к языку.

Понимание модистами активных модусов познания и обозначения представляет картину еще более сложную. В понятие активного модуса познания включен ряд элементов: это и определенная потенция сознания, его способность к восприятию именно данного свойства явления, данного модуса существования: *modus intelligendi activus dicit proprietatem intellectus* 'активный модус познания означает свойство сознания' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, р. 94); это и самый акт восприятия данного свойства: *modus intelligendi activus est modus quo intellectus comprehendit modum essendi seu proprietatem ipsius rei* 'активный модус познания есть модус, посредством которого сознание воспринимает модус существования или свойство самой вещи' (Сигер из Куртрэ, цит. по Thurot 1868, р. 157), и, по-видимому, это также продукт познания, продукт восприятия, существующий в нашем сознании в виде образа, в виде представления. Вспомним рассуждение Мартина Дакийского о двойной природе модуса познания: с одной стороны, модус познания существует в познанной вещи (*in re intellecta*) (здесь речь идет о том модусе познания, который у более поздних модистов будет назван пассивным модусом познания), с другой — в сознании (*in intellectu*) (здесь речь идет о том модусе познания, который будет назван позднее активным модусом познания) как познанное в познающем (*cognitum in cognoscente*). Но это «познанное в познающем» есть не что иное, как образ, представление в сознании, другие интерпретации здесь вряд ли возможны. Активный модус познания как свойство интеллекта, свойство сознания не совпадает, разумеется, ни материально, ни по месту своего нахождения с пассивным модусом познания и с модусом существования, которые находятся в познаваемой вещи; но между активным модусом познания и пассивным модусом познания существует отношение соответствия, отношение подобия, что обуславливает совпадение указанных модусов между собой в плане «формальном».

Особенно сложен вопрос о природе активного модуса обозначения (*modus significandi activus*), по этому вопросу модисты вступали в открытую полемику между собой. Активный модус обозначения принадлежит, разумеется, языку, но между модистами не было согласия относительно того, к какой именно языковой сфере этот модус относится — к сфере средств языкового выражения (как бы сказали современные лингвисты) или к особой мыслительной сфере, к сфере языкового содержания (в современной терминологии <sup>37</sup>). От ответа на этот вопрос зависит и решение вопроса о том, являются ли активные модусы обозначения знаками. Если активный модус обозначения находится в самом звучании, то это значит, что он служит знаком пассивного модуса обозначения, т. е. в конечном счете знаком опре-

---

<sup>37</sup> См., в частности: Бондарко А. В. Введение. Основания функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 23, 24.

деленного свойства явления; если же активный модус обозначения принадлежит особой мыслительной сфере, сфере языкового содержания, то отсюда следует, что в функции знака он выступать не может. Точку зрения о принадлежности активного модуса обозначения к сфере звучания отстаивает, в частности, Томас Эрфуртский: *Modus significandi activus, cum sit proprietates vocis significativae, materialiter est in voce significativa ut in subiecto* 'Активный модус обозначения, поскольку он есть свойство значащего звучания, материально находится в значащем звучании как в субъекте' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 105). Иной была позиция Сигера из Куртрэ, по мнению которого активный модус обозначения принадлежит к сфере чисто умственной, он есть — *ens rationis* «сущее разума», за пределы этой сферы он никогда не выходит. *Non tamen modi significandi activi sunt in voce sicut in subiecto, quia modi significandi activi sunt quidam conceptus ipsius intellectus; nunc conceptus intellectus manent in intellectu et sunt in eo, et non transeunt extra* 'Активные модусы обозначения не находятся, однако, в звучании как субъекте, поскольку активные модусы обозначения суть некие представления самого разума; представления же разума остаются в разуме и пребывают в нем, они не уходят вовне' (Сигер из Куртрэ, цит. по Roos 1948, p. 214). Поскольку, по мнению Сигера из Куртрэ, активный модус обозначения есть чисто умственное представление, то в соответствии с его концепцией он не может быть знаком, ведь знак должен быть материальным, он должен быть доступен чувственному восприятию. Таким знаком может быть только звучание: *vox modum essendi significat* 'звучание обозначает модус существования' (Сигер из Куртрэ, цит. по Pinborg 1967, p. 110). Активный модус обозначения лишь наделяет звуковое выражение возможностью что-либо обозначать.

Однако вне зависимости от решения ряда частных вопросов все модисты согласны между собой в том, что активные и пассивные модусы обозначения различаются друг от друга материально и по месту своего нахождения, совпадая лишь в плане «формальном», поскольку между активными и пассивными модусами обозначения существуют отношения подобия, отношения соответствия.

Оставляя в стороне разногласия между модистами по отдельным вопросам, попытаемся сформулировать в самом общем виде представления модистов о природе различных модусов и об их соотношениях между собой.

Каждое явление включает в себе сочетание некоторых свойств, общих у этого явления со свойствами других явлений. Свойства эти составляют модусы существования данного явления. Поскольку подобное свойство обладает потенциями быть познанным, оно становится пассивным модусом познания. Поскольку подобное свойство обладает потенциями быть названным, оно становится пассивным модусом обозначения. Пассивные модусы познания и обозначения представляют собой тот же модус существования, но взятый в его отношении соответственно к сознанию или к языку. На этом же основании делается вывод, что пассивные модусы познания и обозначения



материально совпадают с модусом существования, но отличаются от него с формальной стороны: ведь во всех случаях речь идет об одном и том же свойстве, но рассматривается оно с разных сторон. Активные модусы познания и обозначения суть потенции сознания и языка, позволяющие отразить данное свойство, воспроизвести его на другом материале. Активные модусы познания и обозначения прямо соотносятся с пассивными модусами познания и обозначения, представляют собой их соответствия, их корреляты, с формальной стороны с ними совпадают, но поскольку пассивные модусы познания и обозначения с формальной стороны не совпадают с соответствующими модусами существования, то активные модусы познания и обозначения отличаются от соответствующих модусов существования как с материальной, так и с формальной стороны.

В результате взаимодействия всех этих модусов между собой свойства реальных явлений, воплощаемые в конечном счете в активных модусах обозначения, получают отражение в языке.

Главную свою задачу в учении о модусах модисты усматривали в том, чтобы показать соответствие между грамматическими характеристиками и свойствами реальных явлений, чтобы доказать, что язык в целом и грамматическая его система в частности представляют собой адекватное отображение объективной действительности. Ведь представление о точном соответствии сознания и языка реальной действительности составляло одно из наиболее важных положений концепции умеренного реализма, являвшегося господствующим философским направлением в теологии и схоластической науке XIII в.

### Учение о частях речи

Модусы обозначения лежат в основе учения модистов о частях речи. В этой области модисты во многом опираются на позднеантичную грамматическую традицию, прежде всего на Доната и Присциана: число частей речи и их названия, распределение словарного состава латинского языка по различным частям речи, основные акциденции (словоизменительные категории) частей речи — все это предстает в сочинениях модистов примерно в том же виде, что и у более ранних грамматиков.<sup>38</sup> Большим своеобразием, однако, отличаются определения частей речи, предлагаемые модистами; многие явления, относящиеся к сфере морфологии, получили в сочинениях модистов новое осмысление; в учение о частях речи модисты ввели некоторые новые понятия-термины; в ряде отношений учение модистов в этой области представляет собой заметный шаг вперед по сравнению с предшествующей грамматической традицией.

В отличие от античных грамматиков и грамматиков раннего Средневековья модисты при определении частей речи отвергают критерий

---

<sup>38</sup> Bursill-Hall G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages*. P. 256; Silvio Elia *De l'Arts grammatica à la Grammatica Speculativa*. P. 173.

значения.<sup>39</sup> По мнению модистов, нельзя сказать, что «существительные означают субстанцию», ведь посредством существительных могут быть обозначены самые разнообразные явления, в том числе и такие, которые не имеют никакого отношения к субстанции, к предметности, как например, *tempus* 'время', *motus* 'движение'. Критерием отнесенности какого-либо слова к той или иной части речи является не его значение, а его основной модус обозначения.

*Cum dicitur quod proprium est nominis significare substantiam etc. dicendum, quod si Priscianus intellexit, quod nomen significat substantiam de suo significato, falsum dixit, quia nomen bene significat accidens. Si autem intellexit, quod nomen significat substantiam, id est per modum substantie seu per modum essentie, concredi potest, et sic de verbo dicendum est, quia ita potest significare substantiam sicut accidens. Priscianus tamen, cum dixit, quod verbum significat agere vel pati, circumloquebatur per hoc suum modum significandi* 'Когда говорят, что имени свойственно обозначать субстанцию и т. д., то следует отметить, что если Присциан понимал, что имя обозначает субстанцию по своему значению, то он ошибался, поскольку имя так же хорошо обозначает и акциденцию (т. е. преходящее состояние, несущественное свойство. — *И. П.*). Если же он понимал, что имя обозначает субстанцию, т. е. обозначает посредством модуса субстанции или посредством модуса сущности, то с этим можно согласиться; то же следует говорить и относительно глагола, поскольку глагол может обозначать как субстанцию, так и акциденцию. Когда же Присциан говорил, что глагол обозначает действие или претерпевание, то тем самым он описательно говорил о модусе обозначения глагола' (Иоанн Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 77, 78).

*Et ideo nostri grammatici sunt decepti, qui dicunt nomen, unde nomen est, significare substantiam, quae est res praedicamentalis; quia si nomen unde nomen significaret substantiam. . . tunc omne talem substantiam significaret, quod falsum est* 'По этой причине наши грамматики ошибались, говоря, что имя, как таковое, обозначает субстанцию, ведь это логическая категория: если бы имя, как таковое, обозначало субстанцию. . . , тогда каждое имя обозначало бы субстанцию, что не соответствует действительности' (Бозэций Дакийский, цит. по Henry 1980, p. 96). Итак, следует проводить отчетливое разграничение между собственно значением и модусом обозначения, только модус обозначения имеет прямое отношение к грамматике, прямое отношение к разграничению между частями речи, что же касается собственно значений, то это сфера логических категорий.

В отличие от античных и ранних средневековых грамматиков модисты не допускают в своих дефинициях частей речи опоры на морфологические признаки, на грамматические акциденции, на словоизменяемые категории соответствующей части речи. Ведь в этом случае, по мнению модистов, определение части речи исходит не из са-

---

<sup>39</sup> Stefanini J. Les modistes et leur apport à la théorie de la grammaire. . . P. 268.

мого существа данной части речи, не из ее основного модуса обозначения, а из признаков переменных, побочных, из побочных модусов обозначения. Определения части речи, содержащие указания на грамматические акциденции, отвергаются всеми модистами. См., например, определение Доната: *Verbum quid est? Pars orationis cum tempore et persona sine casu. . .* 'Что такое глагол? Часть речи со временем и лицом, без падежа. . .' (цит. по Rosier 1983, p. 95); или определение Присциана: *Proprium verbi actionem sive passionem sive utrumque cum modis et formis et temporibus sine casu significare* 'Глаголу свойственно обозначать действие или претерпевание или то и другое с наклонениями, формами и временами, без падежа' (цит. по Rosier 1983, p. 95). Такого рода определения критикует, в частности, Бозций Дакийский: *Si tu stricte loquaris de definitione, istae partes orationis a Prisciano non definiuntur, sed aliquas de eis dat descriptiones et notificationes* 'Если ты хочешь говорить об определении строго, то эти части речи Присцианом не определяются, он лишь дает относительно них некоторые описания и замечания' (цит. по Rosier 1983, p. 95).

В качестве признаков, на основе которых даются определения частей речи, не могут выступать, по мнению модистов, не только морфологические, словоизменительные категории, но и синтаксические функции; так, некоторые предшественники модистов, в частности Петр Гелийский, под влиянием Аристотеля ввели в свои определения глагола как части речи указание на предикативную функцию глагола в предложении. Модистам это представляется неприемлемым. Синтаксическая функция, как и словоизменительные морфологические категории той или иной части речи, не составляют самого существа части речи. Существо части речи состоит в ее основном модусе обозначения. Словоизменительные и синтаксические функции представляют собой, по убеждению модистов, нечто вторичное, производное по отношению к существу, к основному грамматическому значению соответствующей части речи — значению, опирающемуся в конечном счете на определенный модус существования и тем самым на одно из основных свойств реальной действительности. Поскольку словоизменительные и синтаксические функции той или иной части речи, по убеждению модистов, целиком и полностью определяются грамматическим значением части речи как таковой, ее основным модусом обозначения, то не возникает необходимости вводить в дефиницию соответствующей части речи указания на ее словоизменительные и синтаксические функции.

Итак, для определения части речи необходимо и достаточно указания на ее основной модус обозначения.

В грамматической традиции, предшествующей модистам, было широко принято восходящее к Аристотелю деление частей речи на две группы, примерно соответствующее современному делению на знаменательные и служебные части речи. Все части речи делились на означающие (*significantes*) и созначающие (*consignificantes*), в последнюю группу входили слова, лишенные, по мнению грамматиков, собственного значения (*ἄσημοι* 'лишенные значения' по Аристо-

телю<sup>40</sup>), лишённые лексической самостоятельности, приобретающие некоторое значение, как полагали грамматики, только в результате сочетания со словами, относящимися к частям речи первой группы. Такое деление частей речи на две группы было для модистов неприемлемым; согласиться с ним значило бы признать, что существуют части речи, модусы обозначения которых не имеют никакой опоры в реальной действительности. Синтаксическое функционирование не могло быть, по учению модистов, основой для модуса обозначения: *nullum acquirit modum significandi per hoc quod ponitur in oratione* 'ничто не приобретает модуса обозначения благодаря тому, что используется в речи' (Боэций Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 83). Наоборот, синтаксическое функционирование само есть следствие модуса обозначения, опирающегося в свою очередь на отражение одного из существенных свойств реального мира. Против мнения об отсутствии собственного значения у слов, относящихся к неизменяемым частям речи, модисты выступали решительно: *plurimum peccant nostri grammatici dicentes quod ipse partes indeclinabiles per se sumpte nihil significant sine adiunctione declinabilium . . . non enim aliquem partes suum significatum recipiunt ex adiunctis, sed ipsum habent ante omnem constructionem* 'Очень ошибаются наши грамматики, говоря, что неизменяемые части речи, взятые сами по себе, ничего не означают без присоединения изменяемых [частей речи]. . . ибо [неизменяемые] части речи не получают какого-либо значения от присоединенных [изменяемых частей речи], а имеют значение еще до всякой конструкции. . .' (Мишель из Марбэ, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 134). Модисты поставили перед собой задачу показать, в чем заключается значение так называемых соознающих частей речи, для ее выполнения они попытались «онтологизировать» статус этих частей речи. Ход их рассуждения был в данном случае следующим. Имя и местоимение обозначают посредством модуса устойчивого положения, глагол и причастие — посредством модуса становления. Слова частей речи, входящих во вторую группу, указывают, по мнению модистов, на условия, обстоятельства, сопровождающие устойчивое положение или становление. Таким образом, у неизменяемых частей речи оказывается собственное значение, которое они могут выражать самостоятельно вне сочетания со словами изменяемых частей речи. Значения, выражаемые неизменяемыми частями речи, носят специфический характер; никак иначе, кроме как посредством слов, относящихся к неизменяемым частям речи, они выражены быть не могут: *multi sunt conceptus, qui nullo modo exprimerentur per sermonem congruum, nisi essent partes indeclinabiles* 'есть много понятий, которые никоим образом не могли бы быть выражены в согласованной речи, если бы не было неизменяемых частей речи' (Сигер из Куртрэ, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 132). Выражая условия, обстоятельства, сопровождающие устойчивое по-

---

<sup>40</sup> См. об этом: Перельмутер И. А. Аристотель // История лингвистических учений: Древний мир. Л., 1980. С. 171.

ложение или становление, слова, принадлежащие к неизменяемым частям речи, оказываются наделенными самостоятельными значениями, отражающими явления реальной жизни. Таким путем устанавливается соотношенность значения наречий, предлогов и союзов с реальной действительностью, соотношенность их модусов обозначения с соответствующими модусами существования; их синтаксическое функционирование оказывается производным по отношению к их грамматическому значению, по отношению к их модусам обозначения. Показывая несостоятельность традиционного представления об отсутствии самостоятельного значения у слов, принадлежащих к неизменяемым частям речи, модисты исходили из одного из основополагающих положений своего учения, согласно которому все элементы языка представляют собой отражения тех или иных явлений реальной действительности.

Признавая наличие собственного значения у слов, принадлежащих к неизменяемым частям речи, модисты тем не менее не ставят неизменяемые части речи на один уровень с изменяемыми частями речи, в иерархии частей речи неизменяемым частям речи принадлежит, по представлениям модистов, более низкое место по сравнению с изменяемыми частями речи. Отсутствие побочных модусов обозначения и малое число основных модусов обозначения у неизменяемых частей речи модисты рассматривают в качестве проявления менее совершенной, более низкой природы этих частей речи. Со ссылкой на Аристотеля («О душе», кн. 2, гл. 3) Мишель из Марбэ обосновывает идею о превосходстве изменяемых частей речи над неизменяемыми следующим образом: *Forma perfectior et nobilior plures et perfectiores habet operationes. Et hoc sensibiliter patet, quia entibus inanimatis debetur esse, et entibus vegetalibus esse et vegetari, brutis autem animalibus esse, vegetari et sentire, sed hominibus debetur esse, vegetari et sentire, et ratiocinari . . . Cum igitur significata partium declinabilium perfectiora sint . . . significatis partium indeclinabilium . . . manifestum est, quod plura habent apparentia sive plures proprietates vel modos essendi, quam significata partium indeclinabilium. . . , qui quidem modi essendi designantur per modos significandi partium orationis* 'Форма более совершенная и более благородная проявляет себя в большем числе и в более совершенных действиях. Это вполне очевидно, так как неодушевленным сущностям подобает быть, сущностям растительным — быть и произрастать, неразумным же животным — быть, произрастать и чувствовать, а людям подобает быть, произрастать, чувствовать и рассуждать. . . Поскольку же обозначаемые изменяемых частей речи более совершенны. . . , чем обозначаемые неизменяемых частей речи. . . , то вполне понятно, что они имеют более многочисленные проявления или более многочисленные свойства или же модусы существования, чем обозначаемые неизменяемых частей речи. . . , каковые модусы существования выражаются посредством модусов обозначения частей речи' (Мишель из Марбэ, цит. по Thurot 1868, p. 159).

Вопросу о иерархическом отношении между различными частями речи модисты вообще придавали большое значение, в частности во-

просу о соотношении в плане иерархии между именем и глаголом. Во главе списка частей речи модисты ставили обычно в полном соответствии с традицией имя, мотивируя это тем, что в естественном порядке вещей субстанция первична по отношению к акциденциям. Против этого выступил Боэций Дакийский; по его мнению, понятия субстанции и акциденции являются логическими категориями, которые не могут служить в силу этого критериями грамматической классификации. С грамматической точки зрения, имя не может претендовать, по Боэцию Дакийскому, на первое место, поскольку оно не является абсолютно необходимым, в любой конструкции оно может быть заменено без всякого нарушения синтаксической связи на местоимение, глагол представляется ему более важным, поскольку глагол не может быть заменен в конструкции на другую часть речи: *verbum autem magis est necessarium grammatico quam nomen, quia loco verbi nihil potest poni, loco autem nominis potest poni pronomen* 'глагол же более необходим грамматике, чем имя, поскольку вместо глагола ничто не может быть поставлено, а вместо имени может быть поставлено местоимение' (Боэций Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 93). Симон Дакийский, предвосхищая некоторые идеи вербоцентрической концепции, настаивает на приоритете глагола по отношению к имени в плане синтаксического функционирования: *Licet nomen dignius sit verbo dignitate modorum significandi vel significati, quia nomen significat substantiam, verbum vero accidens, tamen verbum dignius est nomine dignitate construendi* 'Пусть имя достойнее глагола достоинством модусов обозначения или обозначаемого, поскольку имя обозначает субстанцию, а глагол — акциденцию, однако глагол достойнее имени достоинством построения' (Kelly 1979, p. 168). (В чем выражается, по представлениям модистов, превосходство глагола над именем в плане синтаксического функционирования, будет видно из нашего дальнейшего изложения). Все же у большинства модистов имя возглавляет список частей речи. Поскольку имя объединено с местоимением общим модусом устойчивого положения, местоимение следует в трактатах модистов чаще всего непосредственно вслед за именем. Далее следуют две части речи, объединенные между собой общим модусом становления, — глагол и причастие. Вслед за ними располагаются части речи, указывающие на условия, обстоятельства, при которых осуществляется устойчивое состояние или становление — наречие, союз, предлог, междометие.

Классификация частей речи, проводимая модистами, основана на принципе бинарной оппозиции: изменяемые части речи противопоставляются неизменяемым частям речи, внутри первой группы части речи, характеризующимся модусом устойчивого положения, противопоставляются частям речи, характеризующимся модусом становления; в свою очередь каждая из обеих указанных подгрупп внутри изменяемых частей речи состоит из двух компонентов — к первой подгруппе относятся имена и местоимения, ко второй подгруппе принадлежат глаголы и причастия. В этом использовании модистами принципа бинарной оппозиции проявилось влияние логики с характерными для

нее дихотомическими делениями.<sup>41</sup> Вместе с тем применение модистами принципов иерархии и бинарной оппозиции отражает представление модистов о языке как о строгой симметричной системе.<sup>42</sup>

В основу деления всего словарного состава по частям речи положены у модистов основные модусы обозначения (*modi significandi essentialis*): *modus habitus et quietis* 'модус состояния и покоя', или, что то же самое, *modus entis* 'модус сущего' (этот модус объединяет имя и местоимение); *modus fieri* 'модус становления', или, что то же самое, *modus esse* 'модус бытия' (этот модус объединяет глагол и причастие); и наконец, *modus disponentis* 'модус расположения' (объединяющий между собой наречие, союз, предлог, междометие). Таким путем устанавливаются самые общие деления в системе частей речи. Наряду с этими наиболее общими модусами обозначения (*modus significandi essentialis generalis*, по терминологии Сигера из Куртрэ) некоторыми модистами вводятся основные частные модусы обозначения (*modus significandi essentialis specificus*, по его же терминологии), с помощью которых достигается окончательное разграничение между отдельными частями речи. Так, разграничение между именем и местоимением, имеющими общий модус сущего, достигается благодаря тому, что имя обозначает посредством модуса определенного восприятия (*modus determinatae apprehensionis*), а местоимение, в отличие от имени, обозначает посредством модуса неопределенного восприятия (*modus indeterminatae apprehensionis*); в самом деле, имя, даже изъятое из контекста, указывая на некий предмет или лицо, характеризует этот предмет или лицо вполне определенным образом (напр., стол, человек, конь), тогда как предметная отнесенность местоимения выявляется только из контекста или ситуации. Специальные модусы обозначения проводят разграничение между глаголом, с одной стороны, и причастием — с другой, а также между наречием, союзом, предлогом и междометием. Двойная характеристика каждой части речи — родовая, объединяющая две (или более) части речи между собой, и видовая, характеризующая каждую часть речи в отдельности, — заимствована модистами из логики. *Sicut imaginamur de constitutione speciei in logica, sic imaginandum est de constitutione speciei in grammatica. Modo species in logica non constituitur per genus tantum nec per differentiam specificam tantum, sed per utrumque. Ideo in grammatica constitutio partis non erit per modum significandi generalem tantum nec per specificum tantum, sed per utrumque* 'Как мы представляем себе относительно установления вида (=видового понятия) в логике, так следует представлять себе относительно установления вида в грамматике. Ведь вид в логике не устанавливается только посредством рода (= родового понятия), не устанавливается он также только посредством частного различия, но лишь посредством и того и другого. Поэтому и в грамматике определение части речи не должно

<sup>41</sup> R o o s H. Die Modi significandi des Martinus de Dacia. S. 108.

<sup>42</sup> S t é f a n i n i J. Les modistes et leur apport à la théorie de la grammaire. . . P. 269.

осуществляться только посредством общего модуса обозначения или только посредством частного модуса, но посредством и того и другого' (Симон Дакийский, цит. по Pinborg 1967, S. 125). При этом модисты придерживались мнения, что более общее определение раскрывает материальное начало части речи, а более частное — формальное начало. Понятия материи и формы выступают здесь, как и вообще у модистов, в том значении, которое придавал им Аристотель. Представления о связи родового определения с материальным началом, а видового определения — с формальным началом также восходит к Аристотелю.

Наряду с общими модусами обозначения (*modi significandi essentialia*), характеризующими грамматическое значение части речи в целом, некоторые модисты вводят модусы обозначения, характеризующие отдельные лексико-грамматические разряды (в современной терминологии) внутри части речи (*modi significandi essentialia subalterni*), и даже модусы обозначения, характеризующие небольшие лексико-грамматические группы внутри разрядов (*modi significandi essentialia specialissimi*). Если разграничения между основными модусами обозначения (*modi significandi essentialia*) и побочными модусами обозначения (*modi significandi accidentalia*) восходят к вполне традиционным представлениям о различии между сущностью и акциденциями, то выделение проблематики, связанной с разграничениями между отдельными разрядами слов внутри части речи, в особую сферу, отличную от сферы акциденций, в пределах которой эта проблематика до тех пор рассматривалась, представляет собой важную инновацию модистов.<sup>43</sup>

При рассмотрении акциденций частей речи, как и при определении частей речи, модисты полностью отвлекаются от чисто морфологических («формальных» в современном понимании этого термина) признаков, сосредоточивая все свое внимание на явлениях смысловых. Так, модисты полностью игнорируют формальные различия между типами склонения и спряжения и в то же время рассматривают в качестве побочных модусов обозначения некоторые чисто смысловые сущности, нигде не находящие своего формального выражения<sup>44</sup> (о чем речь будет ниже).

Очень важным для всей грамматической системы модистов, в особенности для их синтаксиса, является разграничение между двумя типами побочных модусов обозначения (*modi significandi accidentalia*), а именно между абсолютными и относительными модусами.

*Item modus significandi accidentalis dividitur in modum significandi accidentalem absolutum et respectivum. Modus significandi accidentalis absolutus dicitur ille, per quem unum constructibile non habet respectum ad alterum, sed solum ad rei proprietatem. Modus significandi accidentalis respectivus est, per quem unum constructibile habet respectum non solum ad rei proprietatem, sed etiam per quem unum constructibile habet respectum ad alterum* 'Равным образом побочный модус обозначения делится на побочный модус

<sup>43</sup> Rosier I. La grammaire spéculative des modistes. p. 97.

<sup>44</sup> Ibid. P. 102.



обозначения абсолютный и относительный. Абсолютным [побочным модусом обозначения называется такой модус, посредством которого одна составная часть конструкции не имеет отношения к другой составной части, а имеет отношение только к свойству вещи. Относительный побочный модус обозначения есть такой модус, посредством которого одна составная часть конструкции имеет отношение не только к свойству вещи, но и к другой составной части конструкции] (Томас Эрфуртский, цит. по Rosier 1983, p. 96). К сфере абсолютных модусов относятся прежде всего разграничения словообразовательного характера между первичными и производными словами. Разграничения словоизменительного характера чаще всего относятся к сфере относительных модусов обозначения, за некоторыми, впрочем, исключениями. Так, глагольное время, будучи категорией словоизменительной, не является в то же время относительным модусом. *Illud non est principium constructionis, quo mutato non mutatur constructio. Sed mutato tempore non mutatur constructio, ut dicendo Socrates «currit», «curret», «сucurrit»* 'Принципом конструкции не является то, при изменении чего конструкция не меняется. Но при изменении времени конструкция не меняется, как, например, когда говорят: Сократ «бежит», «побежит», «бежал»' (Боэций Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 103). В самом деле, как бы мы, ни меняли время глагола, входящего в состав синтаксической конструкции, на остальных членах соответствующей конструкции это никак не отражается, они не подвергаются никаким изменениям. Выделение абсолютных и относительных модусов обозначения представляет собой определенный шаг вперед в направлении к разграничению между словообразовательными и словоизменительными категориями — разграничению, которое не было известно Античности и раннему Средневековью.<sup>45</sup>

Итак, имя обозначает посредством двух общих модусов обозначения, один из которых объединяет имя с местоимением (этот модус относится к сфере материи), а другой отграничивает имя от местоимения (этот модус относится к сфере формы). Первый модус обозначается ранними модистами (в частности, Мартином Дакийским) как модус состояния и покоя (*modus habitus et quietis*), более поздними — как модус сущего (*modus entis*). См., напр., определение имени у Томаса Эрфуртского; *nomen est pars orationis significans per modum entis. . .* 'имя есть часть речи, обозначающая посредством модуса сущего. . .' (цит. по Bursill-Hall 1974, p. 135). Таким образом, определение имени дается не на основе морфологических или синтаксических признаков, основой ему не служат также логические критерии, в качестве таковой выступают только критерии метафизические. Второй модус имени, отграничивающий имя от местоимения, это модус определенного восприятия (*modus determinatae apprehensionis*). Имя обладает в отличие от местоимения вполне определенной предметной отнесенностью, даже будучи изъятым из контекста или ситуации. Два самых крупных лексико-грамматических разряда внутри

<sup>45</sup> Bursill-Hall G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages*. P. 172.

класса имен это имена нарицательные (*nomina communia vel appellativa*) и имена собственные (*nomina propria*). В свою очередь имена нарицательные делятся на два разряда: имена существительные (*nomina substantiva*) и имена прилагательные (*nomina adiectiva*). Имена существительные обозначают посредством модуса самостоятельности (*modus per se stantis*), имена прилагательные — посредством модуса примыкания (*modus adiacentis*). Свой принцип, в соответствии с которым «каждый активный модус обозначения в конечном счете происходит от какого-либо свойства вещи» (*omnem modum significandi activum ab aliqua rei proprietate radicaliter oriri*. Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 154), модисты распространяют на различие между простым и сложным именем. По их мнению, простые имена служат обозначениями простых явлений, сложные имена — явлений сложных. Благодаря данному разграничению в языке «имя... обозначает свойство простого или свойство сложного» (*nomen proprietatem simplicis vel compositi... significat*, — Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 155). Различия между грамматическими родами, по мнению модистов, также отражают сущностные различия между предметами реального мира: предметы, действующие активно, обозначаются именами мужского рода; предметы, которым свойственна пассивность, обозначаются именами женского рода; для обозначения предметов, занимающих по отношению к активности/пассивности промежуточное положение, служат имена среднего рода: *genus est modus significandi activus quo mediante nomen proprietatem agentis vel patientis vel utrumque significat* 'род есть активный модус обозначения, посредством которого имя обозначает свойство действующего или свойство претерпевающего, либо то и другое' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 164). В трактовке акциденций имени модисты отличаются от традиционной грамматики в том, что полностью игнорируют различия между типами склонения — различия, относящиеся к сфере чисто формальной, звуковой, не соотносящиеся со смыслом, и, кроме того, они вводят новую категорию, традиционной грамматике не известную, — категорию лица. Поскольку глагол, обладающий категорией лица, согласуется с именем, выступающим в роли подлежащего, а «лицо» есть акциденция относительная, синтаксическая, то отсюда для модистов следует, что и имя должно обладать некоей категорией, «пропорциональной» глагольному лицу. Для того чтобы понять позицию модистов по этому вопросу, можно обратиться к таким конструкциям, в которых существительное выступает в качестве приложения к местоимению: «Это говорю тебе я, большой знаток всех этих вещей» или «Я говорю это тебе, полному невежде в этой области».

Местоимение обладает одним общим с именем модусом обозначения — модусом состояния, покоя или модусом сущего (*modus habitus, quietis seu modus entis*), и модусом обозначения, отграничивающим его от имени, — модусом неопределенного восприятия (*modus indeterminatae apprehensionis*). «Неопределенность» местоимения преодолевается в речи, согласно учению модистов, либо путем указания (*demonstratio*), либо путем соотнесения (*relatio*). В первом случае

«неопределенность» устраняется благодаря ситуации, во втором — благодаря контексту. Указание предполагает наличие предмета, о котором идет речь, оно связано с его первым упоминанием (*prima notitia*); при соотнесении предмет, о котором говорится, отсутствует, но в речи он был уже упомянут, соотнесение связано со вторым упоминанием этого предмета (*secunda notitia*). В полном соответствии со своим стремлением видеть во всех элементах языка отражение тех или иных метафизических сущностей модисты рассматривают местоимение как аналог «первой материи» (в том понимании, которое придавал этому термину Аристотель; см., в частности, *Метафизика 1049a 25*), лишенной какой-либо формы, но обладающей потенциальной к восприятию любой формы.<sup>46</sup> *Ab ista proprietate materiae primae, quae est proprietas de se indeterminata, determinabilis tamen per formam, sumitur modus significandi essentialis generalissimus pronominis* 'От этого свойства первой материи, каковое свойство является само по себе неопределенным, но определяемым посредством формы, берет начало самый общий основной модус обозначения местоимения' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 185).

Основной модус обозначения глагола противоположен модусу обозначения имени. Имя обозначает посредством модуса состояния и покоя (*modus habitus et quietis*), глагол — посредством модуса течения, становления или движения (*modus fluxus, fieri seu motus*). Как видим, при определении глагола, как и при определении имени, модисты опираются не на грамматические признаки и даже не на логические признаки, а только на метафизические критерии. Метафизический характер дефиниции выступает особенно отчетливо у более поздних модистов, в частности у Томаса Эрфуртского. Имени и глаголу приписываются здесь самые основные и общие свойства действительности: модус сущего (*modus entis*) — имени и модус бытия (*modus esse*) — глаголу. *In rebus invenimus quasdam proprietates communissimas seu modos essendi communissimos, scilicet modum entis et modum esse* 'В вещах мы находим некие самые общие свойства или самые общие модусы существования, а именно модус сущего и модус бытия' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 208). Модус бытия характеризует материальное начало глагола и объединяет глагол с причастием. В качестве формального начала, отграничивающего глагол от причастия, модисты рассматривают модус отстояния от субстанции (*modus distantis a substantia*). Отсюда и определение глагола как части речи: *modus significandi generalissimus essentialis verbi est modus significandi rem per modum esse et distantis a substantia* 'Наиболее общий основной модус обозначения глагола есть модус обозначения вещи посредством модуса бытия и отстояния от субстанции' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 207). Разграничение между глаголом, как обозначающим

<sup>46</sup> Stéfani J. Les modistes et leur apport à la théorie de la grammaire. . . P. 269; Robins R. H. A Contemporary Evaluation of Western Grammatical Studies in the Middle Ages / Geschichte der Sprachtheorie. I. Zur Theorie und Methode der Geschichtsschreibung der Linguistik. Analysen und Reflexionen. Tübingen, 1987. P. 243.

нечто, отстоящее от субстанции, выражаемой именем, и причастием как обозначающим нечто, примыкающее к субстанции, несомненно восходит по существу к различию между синтаксическим поведением глагола и синтаксическим поведением причастия: в отличие от причастия глагол в финитной форме не может входить в состав одного словосочетания с именем (имеется в виду имя, выступающее в роли субъекта действия), причастие как бы теснее примыкает к имени, чем глагол. Но модисты, разумеется, никак не хотят открыто признать, что при определении частей речи они исходят из чисто грамматических, синтаксических признаков, они не жалеют усилий, чтобы дать понятию «отстояние» в этом контексте какое-либо метафизическое истолкование; так, в частности, они пытаются истолковать «отстояние» из общей природы всякого сообщения: *omne enim, quod de alio enuntiat, enuntiat de eo ut distans* 'ибо все, что высказывается о другом, высказывается о нем как отстоящее' (Боэций Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 119).

Акциденции глагола, рассматриваемые модистами, в целом совпадают с акциденциями глагола, признаваемыми традиционной грамматикой. Но наряду с традиционными акциденциями модисты усматривают у глагола еще два побочных модуса обозначения (*modi significandi accidentales*), нигде и ни в чем не находящих внешнего, формального выражения (в этом отношении эти акциденции могут быть сопоставлены с акциденцией лица у имени); обозначаются эти модусы как *compositio* и *significatio*.

Как выше уже говорилось, при общем определении части речи модисты отвергают опору на морфологические признаки, а также опору на синтаксические функции, рассматривая как те, так и другие в качестве элементов вторичных, побочных, производных по отношению к существу части речи, к ее основному модусу обозначения, отражающему одно из фундаментальных свойств реальной действительности. По этой причине для модистов неприемлемы такие определения глагола, в которых в качестве наиболее характерной черты глагола рассматривается его предикативная функция (такое определение представлено, в частности, у Петра Гелийского). Способность глагола служить предикатом по отношению к подлежащему, выраженному именем, рассматривается модистами как побочное свойство глагола, как его побочный модус обозначения, называемый ими *compositio*. Эта способность глагола служить предикатом связана, по мнению модистов, с тем, что в качестве компонента значения каждого глагола выступает значение субстантивного глагола «быть»: *hoc verbum «est» in omni verbo includitur tamquam radix omnium, ideo compositio omni verbo inhaeret, per quam verbum distans a supposito ad suppositum . . . inclinatur* 'этот глагол «есть» включается в каждый глагол как основание всех глаголов, по этой причине в каждом глаголе наличествует композиция (*compositio*), благодаря которой глагол, отстоящий от подлежащего, к подлежащему . . . присоединяется' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 215). С другой стороны, модисты усматривают особое свойство глагола, один из его побочных модусов обозначения в способности глагола

вступать в синтаксическую связь с косвенным падежом имени, функционирующим в роли дополнения. Это свойство глагола, ни в чем не находящее, как и *compositio*, своего морфологического выражения, получило у модистов название *significatio*. Таким образом, глагол, «отстоящий от субстанции» в силу своего основного модуса обозначения, получает способность входить в сочетание с именами, субстанцию выражающими, благодаря своим побочным модусам обозначения.

В полном соответствии с античной и средневековой традицией модисты рассматривают причастие как особую часть речи, отличную от глагола. Причастие имеет общий с глаголом модус бытия (*modus esse*), но отличается от глагола характером своего отношения к субстанции: глагол отстоит от субстанции, причастие к субстанции примыкает. Отсюда определение причастия: *modus significandi essentialis generalissimus participii est modus significandi per modum esse indistantis a substantia* 'основной наиболее общий модус обозначения причастия есть модус обозначения посредством модуса бытия, не отстоящего от субстанции' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 244). Благодаря своему основному свойству «неотстояние от субстанции» причастие в отличие от глагола может входить в связь с именем, выступающим в роли подлежащего, непосредственно (*participium immediate construitur cum nomine* 'причастие непосредственно сочетается с именем', — Мартин Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 123), поэтому причастие для сочетания с подлежащим не нуждается в побочном модусе обозначения, называемом *compositio*, который только и позволяет глаголу входить в синтаксическую связь с именем, функционирующим в роли подлежащего. Но причастие имеет общий с глаголом побочный модус обозначения, называемый *significatio*, который позволяет как глаголу, так и причастию вступать в синтаксическое сочетание с косвенным падежом имени, выступающим как дополнение.

Поскольку причастие имеет общий с глаголом модус бытия (*modus esse*), многие акциденции глагола присущи и причастию; поскольку, с другой стороны, причастие способно соединяться с субстанцией непосредственно, оно имеет некоторые акциденции, общие с именем.

В качестве наиболее характерной черты грамматического значения наречия модисты отмечают функцию наречия дополнять значения таких частей речи, как глагол и причастие. *Adverbium est pars orationis, significans per modum adiacentis alteri, quod per modum esse significat. . .* 'Наречие есть часть речи, обозначающая посредством модуса примыкания к некоему другому, которое обозначает посредством модуса бытия. . .' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 257). Поскольку посредством модуса бытия означают как глагол, так и причастие, наречие может примыкать к обоим этим частям речи. Таким образом, используя понятие модуса обозначения, можно сформулировать определение более обобщенное, чем с помощью понятия частей речи.

Подобно античным грамматикам и грамматикам раннего Средневековья модисты не замечают того, что наречие может находиться

в синтаксической зависимости также от прилагательного и от другого наречия <sup>47</sup> (см., например, по-русски: *очень добрый, почти черный, адски трудно, очень хорошо*); в этом отношении модисты не продвинулись вперед по сравнению со своими предшественниками.

Определенный модус обозначения приписывается модистами и союзам: *coniunctio est pars orationis per modum coniungentis duo extrema significans 'союз есть часть речи, обозначающая посредством модуса соединения двух членов'* (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 267). Как и по отношению к другим частям речи, модисты стремятся показать, что грамматическое значение союзов имеет соответствие в свойствах реальной действительности: *Sumitur iste modus significandi a proprietate coniungentis et unientis in rebus extra 'этот модус обозначения происходит от свойства соединения и сочетания в вещах внешнего мира'* (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 271).

В качестве наиболее характерной черты предлогов модисты рассматривали роль предлогов в осуществлении связи между глаголом и косвенным падежом имени. *Prepositio est pars orationis significans per modum retorquentis substantiam ad actum 'Предлог есть часть речи, обозначающая посредством направления субстанции к действию'* (Мишель из Марбэ, цит. по Thurot 1868, p. 195). Этой роли предлогов модисты также дают метафизическое истолкование: *Iste modus praepositionis sumitur a proprietate determinationis et coartationis in rebus 'Этот модус предлога происходит от свойства разграничения и сочленения в вещах'* (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 281). В действительности роль предлогов не исчерпывается тем, что они осуществляют связь между глаголом (или причастием) и косвенным падежом имени; нередки случаи, когда предлоги связывают между собой два имени (см., напр., *annulus ex auro 'кольцо из золота'*). Хотя некоторые модисты отмечают такого рода типы употребления предлогов (в частности, Томас Эрфуртский <sup>48</sup>), общие определения предлогов, представленные у модистов, их не учитывают. Как в случае с наречиями, о чем говорилось выше, так и в данном случае модисты, озабоченные по преимуществу разработкой общетеоретических, философских вопросов грамматики, не проявляют должного внимания к реальному многообразию явлений языка: исчерпывающее описание всех деталей языкового строя не рассматривается модистами в качестве важной задачи их деятельности.

В отличие от более ранних грамматиков (в частности, от Доната и Присциана), модисты проводили отчетливое разграничение между предлогами и приставками. Введение этого разграничения принадлежит к числу бесспорных достижений модистов. *Praepositiones in compositione non sunt verae praepositiones, quia per se nihil significant, cum non sint per se dictiones, nec etiam per se modum significandi*

---

<sup>47</sup> Bursill-Hall G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages* P. 256.

<sup>48</sup> Rosier I. *La grammaire spéculative des modistes*. P. 134.

habent 'Предлоги в сочетании [т. е. приставки] не являются подлинными предлогами, поскольку сами по себе они ничего не означают, так как сами по себе они не являются словами и не обладают сами по себе модусом обозначения' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 279).

Особый модус обозначения усматривают модисты и у междометия: *interiectio est pars orationis significans per modum determinantis alterum, quod est verbum vel participium, affectus vel motus animae repraesentans* 'Междометие есть часть речи, обозначающая посредством модуса определения другого слова, которое есть глагол или причастие, и представляющая состояния или движения души' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 284). В действительности никакой особой связи между междометием, с одной стороны, и глаголом или причастием — с другой, не существует. Современные исследователи справедливо отмечают, что определение междометия, предлагаемое модистами, представляет собой шаг назад по сравнению с теми определениями, которые давали их предшественники, в частности Присциан, отмечавший отсутствие синтаксических связей между междометием и каким-либо другим компонентом предложения.<sup>49</sup> Можно думать, что модисты руководствовались в данном случае априорным представлением о служебной роли всех неизменяемых частей речи по отношению к изменяемым частям речи. Представление это вполне правильно по отношению к союзам и предлогам, но неверно по отношению к междометиям, которые не являются служебными словами. Здесь перед нами, по-видимому, один из тех случаев, когда стремление к широким обобщениям и стройной теории приводит к игнорированию специфики конкретных явлений.

### Учение о словосочетании и предложении

Если морфология модистов, несмотря на наличие в ней ряда важных инноваций, основана все же в большой мере на учении о частях речи позднеантичных грамматиков, то в области синтаксиса модисты проявили гораздо большую самостоятельность. По существу они явились создателями первой по времени в европейской научной традиции синтаксической теории.<sup>50</sup> В труде Присциана, а также у грамматиков раннего Средневековья содержатся обширные сведения о синтаксической сочетаемости большого числа имен и глаголов, но здесь мы не обнаружим ни описания структуры предложения, ни определения основных синтаксических понятий. Некоторые косвенные данные позволяют сделать вывод, что проблемы синтаксиса интенсивно разрабатывались стойками, но ввиду того что от грамматических сочинений стойков сохранились лишь скудные фрагменты,<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Bursill-Hall G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages*. P. 283.

<sup>50</sup> Pinborg I. *Speculative Grammar*. P. 260; Robins R. H. *A Contemporary Evaluation of Western Grammatical Studies*. . . P. 244.

<sup>51</sup> Черелъмутер И. А. *Философские школы эпохи Эллинизма // История лингвистических учений: Древний мир*. Л., 1980. С. 180.

мы не можем составить себе сколько-нибудь ясного представления об их синтаксической концепции; нет также признаков того, что синтаксис стойков оказал заметное влияние на последующую грамматическую традицию.

По широко принятому среди современных исследователей мнению, именно в области синтаксиса сосредоточены основные достижения модистов в изучении грамматического строя. Некоторые высказывания модистов свидетельствуют о том, что синтаксис воспринимался ими как самая важная часть грамматики: *Studium grammaticorum praecipue circa constructionem versatur* 'Занятия грамматиков обращены по преимуществу к словосочетанию' (цит. по Thurot 1868, p. 213). В основе синтаксиса модистов, как и в основе их учения о частях речи, лежит понятие модуса обозначения: модусы обозначения не только служат для выражения в слове свойств обозначаемого им явления, но и выступают также в качестве исходного начала словосочетания (*principium constructionis*); в сфере словосочетания и предложения проявляется *operatio* 'действие' (в современной терминологии, — 'функция') модуса обозначения. Понятие модуса обозначения нашло в синтаксисе модистов плодотворное применение.

Отдавая должное достижениям модистов в их учении о словосочетании и предложении, нельзя не отметить определенной ограниченности их подхода к изучению синтаксиса: из всех видов предложений, представленных в латинском языке, модисты проявляют интерес почти исключительно лишь к одному виду — простому повествовательному предложению. По всей вероятности, в этой позиции модистов сказалось решающее влияние логических исследований, обращенных к изучению суждения. Указанная ограниченность характерна, впрочем, не только для грамматической теории модистов, но также для многих предшествующих модистам грамматических описаний и даже для более поздних грамматических учений.<sup>52</sup>

Одним из основных синтаксических понятий модистической теории является понятие конструкции (*constructio*). В это понятие модисты вкладывают содержание, принципиально отличное от того, которое связывалось с соответствующим термином в предшествующей модистам грамматической традиции. У Присциана,<sup>53</sup> как, впрочем, и в современном языкознании, термин «конструкция» применяется по отношению к любому грамматически оформленному словосочетанию. «Конструкция» модистов представляет собой понятие гораздо более узкое и специальное: своеобразие модистической конструкции заключается прежде всего в том, что эта конструкция во всех без исключения случаях состоит только из двух компонентов, чаще всего — из двух слов. Здесь мы вновь сталкиваемся с одним из проявлений схоластического дуализма, нашедшего выражение также в классификации частей речи на основе принципа бинарной оппози-

<sup>52</sup> Kelly L. G. *La Physique d'Aristote et la phrase simple dans les ouvrages de Grammaire Speculative // La Grammaire Générale des Modistes aux Ideologues*, présenté par A. Joly et J. Stéfani. Lille, 1977. P. 116.

<sup>53</sup> Covington M. A. *Syntactic Theory in the High Middle Ages*. Cambridge, 1984. P. 42.



ции и восходящего в конечном счете к дихотомиям Аристотеля (материя и форма, потенция и акт и т. п.).<sup>54</sup> Доказательство бинарной структуры любой конструкции приводится, в частности, у Радульфа Бритона (*Utrum constructio fiat solum ex duobus constructibilibus? 'Образует ли конструкция только из двух членов?'*). Радульф обращается к таким конструкциям, которые состоят из более чем двух слов, и пытается показать, что, несмотря на это, они могут быть сведены к двум компонентам. В качестве примера он приводит конструкции с предлогом: *vado ad ecclesiam* 'иду в церковь', *annulus ex auro* 'перстень из золота'. По мнению Радульфа, предлог в этих конструкциях не является самостоятельным компонентом, он тесно примыкает к следующему за ним имени и составляет вместе с ним один компонент.

Нет таких конструкций, в которых оба члена выступают как равные и симметричные; каждый из двух членов имеет свою функцию, отличную от функции другого члена. Проблема синтаксической связи, синтаксической зависимости разрабатывалась грамматикой раннего Средневековья; в этот период получило права гражданства понятие «управление» (*rectio*); понятие это вполне применимо по отношению к синтаксическим связям между глаголом и формой косвенного падежа (т. е. дополнением), по отношению к синтаксическим связям между двумя именами существительными (напр., *filius Socratis* 'сын Сократа'), но оставался открытым вопрос о синтаксических связях иного рода: как, например, определить синтаксическую связь между глаголом и относящимся к нему по смыслу наречием или же связь между согласованными друг с другом существительным и прилагательным. Модисты, постоянно стремившиеся к максимально широким и обобщенным определениям, настойчиво пытавшиеся вскрыть внутреннее единство между явлениями, с внешней стороны представляющимися разнородными,<sup>55</sup> выдвинули идею о едином синтаксическом отношении между обоими компонентами всех без исключения конструкций. По воззрению модистов, во всех конструкциях вне зависимости от того, к каким частям речи относятся составляющие конструкцию компоненты, один член выступает в качестве зависящего (*dependens*), другой — в качестве замыкающего, завершающего конструкцию (*terminans*). Рассматривая характер связи между двумя компонентами конструкции, модисты в первую очередь озабочены тем, чтобы вскрыть метафизическую природу этой связи; при рассмотрении синтаксических явлений они поступают в этом отношении точно так же, как и при рассмотрении явлений, принадлежащих к сфере морфологии: *Sicut ex materia et forma, quorum unum est in actu, alterum vero in potentia, fit per se compositum in natura, sic ex ratione dependendi et termi-*

<sup>54</sup> Bursill-Hall G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages*. P. 310; Covington M. A. *Syntactic Theory in the High Middle Ages*. P. 41.

<sup>55</sup> «Изучение конструкции проводится модистами с такой неукомнительной строгостью и на таком уровне обобщения, которые предвещают Ельмслева»: Stéfani J. *Les modistes et leur apport à la théorie de la grammaire*. . . P. 271.

mandi fit per se constructio in sermone. Illud autem constructibile est dependens, quod ratione alicuius modi significandi terminum petit vel exigit; illud vero constructibile est terminans, quod ratione alicuius modi significandi terminum dat vel concedit 'Подобно тому как сложное единство образуется в природе из материи и формы, одно из которых состоит в исполнении, а другое — в возможности, точно так же на основе начала зависящего и начала завершающего образуется конструкция в речи. Тот член является зависящим, который по причине какого-либо модуса обозначения ищет или требует завершения; тот член является завершающим, который по причине какого-либо модуса обозначения дает или предоставляет завершение' (Томас Эрфуртский, цит. по Covington 1984, p. 48). При этом многие модисты, и в частности Симон Дакийский, отождествляют зависящий член с материальным началом, а завершающий член с началом формальным, тогда как Радульф Бритон идентифицирует с материей завершающий член, а с формой — зависящий член.<sup>56</sup> В сочинениях модистов мы, впрочем, не найдем попыток серьезного обоснования ни одного, ни другого мнения. Этот случай, как и некоторые другие ему подобные, достаточно ясно свидетельствует о том, что далеко не всегда к метафизическим сопоставлениям модистов следует относиться как к чему-то глубоко продуманному и обоснованному; очень часто эти сопоставления носят поверхностный, по сути дела словесный, в определенном смысле орнаментальный характер.

Модисты не формулируют отчетливых правил относительно того, какие же именно слова функционируют в качестве зависящих членов, а какие — в качестве завершающих членов, но из приводимого ими иллюстративного материала можно сделать определенные выводы. Поскольку глаголы означают по преимуществу действия, а действие предполагает производителя действия и во многих случаях предполагает также объект действия, то глагол оказывается зависящим членом конструкции (*dependens*), то есть именно таким членом конструкции, который «ищет или требует завершения». В качестве зависящего члена глагол выступает, согласно учению модистов, и в конструкции «подлежащее—глагол» (напр., *Socrates legit* 'Сократ читает'), и в конструкции «глагол—объект» (напр., *legit Vergilium* 'читает Вергилия'). Поскольку прилагательное обозначает некий признак, а признак всегда предполагает носителя признака, то прилагательное выступает в сочетании с существительным в качестве зависящего члена: *Socrates albus* 'Сократ белый'. Выражаясь языком современной лингвистики, можно сказать, что в качестве зависящих членов конструкции выступают слова, «открывающие вакантные позиции», а в качестве завершающих членов — слова, «эти позиции замещающие».<sup>57</sup> Реляционные слова типа предлогов или союзов являются зависящими членами в своих сочетаниях

<sup>56</sup> Covington M. A. *Syntactic Theory in the High Middle Ages*. P. 49, 50.

<sup>57</sup> Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 60, 63, 65, 160, 154.

со знаменательными словами. Наречие образа действия выступает в качестве зависящего члена в словосочетании с глаголом.

Особую проблему составляют именные словосочетания, в которых одно существительное грамматически зависит от другого и стоит в форме родительного падежа, напр. *filius Socratis* 'сын Сократа'. Этот пример широко используется модистами и истолковывается ими следующим образом: значение «сын» предполагает определенные отношения, предполагает «родителей», в силу этого *filius* 'сын' выступает в приведенном словосочетании в качестве зависящего члена. Применительно к данному случаю с истолкованием модистов можно, по-видимому, согласиться. Но модисты пытаются доказать, что в любых словосочетаниях типа «существительное в им. падеже + существительное в род. падеже» (напр., *sarra Socratis* 'шляпа Сократа') существительное в им. падеже является зависящим членом.<sup>58</sup> Здесь мы явно имеем дело с определенным насилием над материалом. Во всяком случае отстаиваемое модистами представление об отношении членов словосочетания между собой отличается от всех современных представлений о связях внутри конструкции; в одних случаях член словосочетания, рассматриваемый модистами в качестве зависящего, совпадает, с точки зрения современного понимания, с главным, управляющим членом конструкции (глагол в сочетании с объектом, существительное в им. падеже в сочетании с существительным в род. падеже), в других случаях зависящий член модистов совпадает с тем членом словосочетания, который рассматривается в современной лингвистике в качестве подчиненного, управляемого члена (глагол в сочетании с подлежащим, прилагательное-определение в сочетании с существительным, наречие образа действия в сочетании с глаголом и т. д.). Для модистов же во всех без исключения случаях зависящий член конструкции отождествляется с главным, управляющим членом: *regens significat per modum dependentis et illud quod regitur per modum terminantis* 'управляющий член обозначает посредством модуса зависимости, а тот член, который управляется — посредством модуса завершения' (Pinborg 1967, S. 74). В центр предложения схоластический синтаксис ставит, таким образом, глагол, предвосхищая тем самым некоторые положения современной вербоцентрической концепции: *verbum . . . regit omnes alias partes et a nulla alia regitur* 'глагол . . . управляет всеми другими частями [речи], но не управляется никакой другой [частью речи]' (Сигер из Куртрэ, цит. по Rosier 1983, p. 140).

Все без исключения конструкции подразделяются модистами на два основных типа — транзитивные и интранзитивные. Понятие об оппозиции транзитивности/интранзитивности восходит в конечном счете к разработанному Аристотелем (Метафизика, кн. 9, гл. 8, 1050a) представлению о двух видах действия: о действии, направленном на объект, и о действии, замыкающемся в сфере субъекта. Представление это было воспринято модистами и истолковано ими расширительно; они применили его не только по отношению к конструк-

<sup>58</sup> C o v i n g t o n M. A. *Syntactic Theory in the High Middle Ages*. P. 51.

циям, образуемым глаголом, обозначающим действие, в сочетании с субъектом действия и объектом действия, но также к конструкциям иного типа, в частности — к именным словосочетаниям. В своем стремлении формулировать наиболее широкие и обобщенные определения, выявляя глубинные связи, внутреннее единство в явлениях, представляющих на первый взгляд разнородными, модисты обратили внимание на тот факт, что сочетание подлежащего с глаголом-сказуемым (типа *Socrates currit* 'Сократ бежит') обнаруживает определенное сходство с сочетанием, образованным существительным и прилагательным-определением (типа *Socrates albus* 'Сократ белый'). В обеих конструкциях оба компонента указывают на один и тот же предмет (в данном случае на одно и то же лицо), в этих конструкциях нет перехода (*transitio*) от одного лица (предмета) к другому. Такие конструкции получили у модистов название интранзитивных. Интранзитивным конструкциям противостоят конструкции транзитивные, к которым также относятся не только глагольные, но и именные словосочетания. Определенное сходство усматривается модистами между сочетанием глагола с существительным-дополнением (напр., *legit Vergilium* 'читает Вергилия'), с одной стороны, и сочетанием существительного в им. падеже с существительным в род. падеже (типа *filius Socratis* 'сын Сократа') — с другой. Такие конструкции называются модистами транзитивными. Члены транзитивных конструкций различаются между собой тем, что указывают на разные предметы или разных лиц, в этих конструкциях осуществляется переход (*transitio*) от одного лица к другому, от одного предмета к другому. В конструкции *legit Vergilium* глагол *legit* 'читает' указывает на одно лицо, являющееся субъектом к глаголу (в данном случае подразумеваемым), лицо это не совпадает с тем лицом, на которое указывает другой член конструкции — *Vergilium*. В словосочетании *filius Socratis* входящие в него существительные указывают на разных лиц. В самом общем виде интранзитивные конструкции могут рассматриваться как конструкции тождества (предметов, лиц), а транзитивные конструкции — как конструкции различия.

Для того чтобы дать более полное и точное определение транзитивным и интранзитивным конструкциям, модисты вводят наряду с уже указанной оппозицией между зависящим членом конструкции и завершающим ее членом еще одну оппозицию, а именно — оппозицию между «первым компонентом конструкции» (*primum* 'первое') и «вторым компонентом конструкции» (*secundum* 'второе'). В определенной мере разграничение между «первым компонентом» и «вторым компонентом» было основано на обычном порядке слов в предложениях и словосочетаниях латинского языка. В средневековой латыни наиболее обычным порядком слов в предложении была последовательность «подлежащее — глагольное сказуемое — дополнение», в именном словосочетании — «определяемое — определение». Именно на таких последовательностях и основано проводимое модистами отождествление подлежащего в конструкциях «подлежащее — глагольное сказуемое» с первым компонентом, а глагольного сказуе-

мого в этих конструкциях со вторым компонентом, отождествление глагольного сказуемого в конструкциях «глагольное сказуемое—дополнение» с первым компонентом, а дополнения в этих конструкциях со вторым компонентом, отождествление определяемого в сочетаниях «определяемое—определение» с первым компонентом, а определения со вторым и т. д. *Illud est in omni constructione constructibile primum, quod post se dependet ad obliquum; illud vero secundum, quod ante se dependet ad suppositum. Illud est etiam secundum, quod dependet ad determinabile* 'В каждой конструкции то является первым членом, что после себя зависит от косвенного падежа (т. е. сказуемое в сочетании с дополнением. — *И. П.*); то есть второй член, что перед собой зависит от подлежащего (т. е. сказуемое в сочетании с подлежащим. — *И. П.*); и то есть также второй член, что зависит от определяемого' (т. е. определение в сочетании с определяемым. — *И. П.*) (Томас Эрфуртский, цит. по Covington 1984, р. 55). Но обычный порядок слов и в предложении, и в именном словосочетании не был все же строго обязательным, в средневековой латыни (как, впрочем, и в классической) он часто нарушался; кроме того, модисты, всегда стремившиеся обосновать выдвигаемые ими положения ссылками на онтологию, попытались дать онтологическое истолкование и введенному ими разграничению между первым и вторым компонентами конструкции. Для объяснения последовательности компонентов глагольного предложения модисты пользуются аналогией с движением в той его метафизической интерпретации, которая была дана Аристотелем.<sup>59</sup> *Habet enim se sic constructibile ad constructionem sicut mobile ad motum* 'Ибо член конструкции так относится к конструкции, как движущееся тело к движению' (Мартин Дакийский, цит. по Rosier 1983, р. 160). Движение в предложении осуществляется глаголом-сказуемым, оно исходит из подлежащего как своего источника и начала (*principium*) и заканчивается в дополнении как в своей конечной цели и своем завершении (*terminus*). Вполне понятно поэтому, что глагол-сказуемое, посредством которого осуществляется движение в предложении от начала (*principium*) к завершению (*terminus*), является вторым компонентом по отношению к подлежащему и первым компонентом по отношению к дополнению. В именном словосочетании типа «определяемое—определение» определяемое существительное представляет собой исходный компонент, обозначающий явление, первичное по отношению к любым модификациям, обозначаемым посредством определений. В этом духе Томас Эрфуртский и дает объяснения относительно того, почему одни члены конструкции он рассматривает в качестве первых компонентов, а другие — в качестве вторых компонентов. *Et ratio horum est, quia illud quod post se dependet ad obliquum, dependet ad ipsum ut ad terminum et ultimum; quod autem ante se dependet ad suppositum dependet ad ipsum ut ad principium et ad primum; quod autem dependet ad suum determinabile dependet ad aliud prius se; determinatio autem,*

<sup>59</sup> Kelly L. G. *La Physique d'Aristote et la phrase simple dans les ouvrages de Grammaire Speculative, passim.*

et dispositio rei est posterior ipsa re 'И причина этого заключается в том, что тот член, который после себя зависит от косвенного падежа (т. е. глагольное сказуемое. — *И. П.*), зависит от него как от конца и завершения; а тот член, который перед собой зависит от подлежащего (опять-таки глагольное сказуемое. — *И. П.*), зависит от него как от начала и источника; а тот член, который зависит от своего определяемого (т. е. определение. — *И. П.*), зависит от него как от чего-то ему предшествующего, ведь определение и расположение предмета вторичны по отношению к самому предмету' (Томас Эрфуртский, цит. по Covington 1984, p. 55).

Последовательность слов, соответствующая устанавливаемым модистами онтологическим признакам, рассматривается ими как естественный порядок слов (*ordo naturalis*), именно на этом порядке основано выделение первых и вторых компонентов конструкции; всякий иной порядок слов, в принципе возможный в речи, но отклоняющийся от «естественного», рассматривается модистами как искусственный порядок (*ordo artificialis*) и не принимается ими во внимание при определении первых и вторых компонентов конструкции. Нами уже выяснено, какие компоненты рассматривались модистами в качестве первых и в качестве вторых при конструкциях «подлежащее—глагольное сказуемое», «глагольное сказуемое—дополнение», «определяемое—определение», добавим еще, что вторым компонентом по отношению к глаголу является для модистов наречие образа действия вне зависимости от расположения этих членов словосочетания в потоке речи между собой (вычленение первого и второго компонентов в такого рода конструкциях определяется сугубо онтологическими признаками), вторым компонентом по отношению к существительному является для них предлог, хотя предлог занимает место перед существительным (и в данном случае решающую роль сыграли признаки онтологические).

Разграничение между зависящим членом (*dependens*) и завершающим членом (*terminans*) не совпадает с разграничением между первым компонентом (*primum*) и вторым компонентом (*secundum*) конструкции. Глагол во всех конструкциях является зависящим членом, но в конструкции с дополнением он выступает как первый компонент, а в сочетании с подлежащим — как второй. В словосочетании «определяемое—определение» типа *Socrates albus* 'Сократ белый' прилагательное является зависящим членом и вторым компонентом, а в словосочетании «существ. в им. пад.+существ. в род. падеже» типа *filius Socratis* 'сын Сократа' модисты рассматривают существительное в именительном падеже как зависящий член и первый компонент.

Основываясь на двух указанных оппозициях между компонентами конструкции (1) зависящий компонент/завершающий компонент; 2) первый компонент/второй компонент), модисты формулируют предельно четкие и лаконичные определения интранзитивных и транзитивных конструкций. *Constructio intransitiva est constructio, in qua secundum constructibile per suos modos significandi dependet ad primum, e. g. Socrates currit* 'Итранзитивная конструкция

есть такая конструкция, в которой второй член по своим модусам обозначения зависит от первого члена, например *Сократ бежит*' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 316). В самом деле, на основании всего того, что было выше сказано о синтаксических представлениях модистов, нам известно, что сказуемое *currit* 'бежит' выступает здесь как второй компонент конструкции и как зависящий ее член. Совпадение второго компонента конструкции с зависящим ее членом, как мы увидим далее, характеризует любые интранзитивные конструкции. *Constructio transitiva est in qua primum constructibile per suos modos significandi dependet ad secundum, e. g. percutio Socratem* 'Транзитивная конструкция есть такая конструкция, в которой первый член по своим модусам обозначения зависит от второго члена, например *Бью Сократа*' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 321). В этом примере глагол *percutio* 'бью' является первым членом по отношению к существительному *Socratem* 'Сократ' (вспомним о том, что глагол-сказуемое выступает как второй член по отношению к подлежащему и как первый член по отношению к дополнению) и вместе с тем играет роль зависящего члена (глагол выступает в качестве зависящего члена в любых конструкциях). Совпадение первого члена конструкции с зависящим ее членом — отличительная черта любых транзитивных конструкций.

Наряду с делением конструкций на интранзитивные и транзитивные модисты выдвигают еще одно деление конструкций, пересекающееся с первым, а именно — деление на конструкции действий (*constructio actuum*) и конструкции лиц (*constructio personarum*). Конструкции действий характеризуются тем, что в них в качестве зависящего члена (т. е., согласно концепции модистов, — главного, управляющего члена) выступает глагол; в этих конструкциях «зависящий член обозначает посредством модуса действия» (*constructibile dependens per modum actus significat*). Конструкции действий могут быть как интранзитивными, так и транзитивными: *constructio intransitiva actuum, constructio transitiva actuum*. Выше были приведены примеры на обе эти конструкции. Конструкции лиц (понятие «лица» толкуется здесь очень широко, под «лицом» понимается по сути дела любой предмет) характеризуются тем, что в них в качестве зависящего члена (т. е. главного, управляющего члена) выступает имя; в этих конструкциях «зависящий член обозначает посредством модуса субстанции» (*constructibile dependens per modum substantiae significat*). Впрочем, как мы увидим далее, в этот тип конструкций модисты включают и некоторые словосочетания, зависящий член которых именем не является. Конструкции лиц также бывают интранзитивными и транзитивными: *constructio intransitiva personarum, constructio transitiva personarum*. В интранзитивной конструкции лиц, как и в интранзитивной конструкции действий, зависящий член совпадает со вторым компонентом конструкции: *Socrates albus* 'Сократ белый'. Как нам уже известно из предшествующего изложения, прилагательное-определение выступает в конструкции в роли зависящего члена, и вместе с тем оно является вторым компонентом по отношению к определяемому существительному. Параллелизм

между интранзитивной конструкцией действий и интранзитивной конструкцией лиц вполне очевиден: *Socrates currit/Socrates albus* — и там и тут зависящий член совпадает со вторым компонентом конструкции. К интранзитивным конструкциям лиц модисты относят и некоторые такие конструкции, зависящий, т. е. главный, член которых выражен не именем. Этот момент нашел отражение и в определении интранзитивной конструкции лиц, приводимом Томасом Эрфуртским: *constructio intransitiva personarum est in qua constructibile dependens significat per modum substantiae vel quomodolibet aliter* 'Интранзитивная конструкция лиц есть такая конструкция, в которой зависящий член обозначает посредством модуса субстанции или как-либо иначе' (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1974, p. 318). К интранзитивным конструкциям лиц модисты относят сочетание глагола с наречием типа *currit bene* 'бежит хорошо'. Наречие выступает здесь в качестве зависящего и одновременно второго члена конструкции; на этом основании данная конструкция с полным правом может называться интранзитивной. Но причисление этой конструкции к конструкциям лиц только на том основании, что зависящим членом конструкции не выступает глагол, выглядит явной натяжкой. В транзитивной конструкции лиц, как и в транзитивной конструкции действий, зависящий член совпадает с первым компонентом конструкции: *filius Socratis* 'сын Сократа', *similis Socrati* 'подобный Сократу'. В обоих последних примерах перед нами, без сомнения, транзитивные конструкции: оба члена в каждой конструкции указывают на разных лиц, в обеих конструкциях наблюдается «переход» (*transitio*) от одного лица к другому, но если еще можно как-то согласиться с тем, что *filius* 'сын' и *similis* 'подобный' выступают в этих конструкциях в качестве зависящих членов, то гораздо труднее понять, почему, например, существительное *filius* 'сын' рассматривается в качестве первого компонента, ведь вполне ясно, что «сын» в плане онтологическом (а именно на этом плане по существу и основано у модистов расчленение конструкции на первый и второй компоненты) представляет собой нечто вторичное по отношению к своему отцу.

Если мы сейчас отвлечемся от отдельных деталей, то концепцию модистов относительно интранзитивных и транзитивных конструкций можно сформулировать следующим образом: для всех интранзитивных конструкций характерно совпадение первого компонента (*primum*) с завершающим членом (*terminans*) и второго компонента (*secundum*) — с зависящим членом (*dependens*), а для всех транзитивных конструкций характерно совпадение первого компонента (*primum*) с зависящим членом (*dependens*) и второго компонента (*secundum*) — с завершающим членом (*terminans*). Итак, если первый компонент зависит от второго, конструкция оказывается транзитивной, при обратной зависимости конструкция интранзитивная.

Нельзя не воздать должного грандиозной попытке свести все многообразие синтаксических конструкций всего к четырем типам, нельзя не отметить лаконизма и элегантности определений, которые даются модистами четырем типам конструкций. Перед нами вновь



редкая простота и стройность общей картины, достигаемые, впрочем, дорогой ценой — ценой явного упрощения реальной сложности и многообразия языковых явлений, сопряженного в ряде случаев с очевидным насилием над материалом. И все же, несмотря на все недостатки, присущие проведенной модистами систематизации синтаксических конструкций, современные исследователи рассматривают эту систематизацию как крупное теоретическое достижение,<sup>60</sup> как одну из наиболее интересных инноваций грамматического учения модистов.<sup>61</sup>

В синтаксическом строе модисты усматривают три важнейшие стороны — три «претерпевания речи» (*passiones sermonis*), с известным правом их можно было бы назвать тремя этапами, тремя стадиями формирования речи: *constructio* 'конструкция', *congruitas* 'согласованность', *perfectio* 'завершение'. Под согласованностью понимаются грамматическая правильность конструкции, постановка членов конструкции в надлежащих грамматических формах, полное соответствие между модусами обозначения членов конструкции. Под «завершением» (*perfectio*) понимается законченное предложение, отвечающее всем требованиям грамматической правильности. С точки зрения современного словоупотребления термин «конструкция» уже включает в себе представление о грамматической правильности; с представлением о грамматической правильности этот термин был связан уже у Присциана, но с таким пониманием термина «конструкция» модисты выражают свое несогласие. *Cum enim . . . dicitur . . . quod constructio est congrua dictionum ordinatio, non est verum. . . , quia constructio abstrahitur a constructione congrua et incongrua* 'И когда говорится. . . , что конструкция есть согласованное расположение слов, то это неверно. . . , поскольку в самом понятии «конструкция» содержится отвлечение от представления о согласованной и несогласованной конструкции' (Мартин Дакийский, цит. по Rosier 1983, p. 162). Под конструкцией модисты понимают сочетание слов в отвлечении от их грамматических характеристик, подобно тому как под *dictio* понимается слово, взятое только в его предметной соотнесенности. Конструкция есть сочетание слов, рассматриваемых как *dictiones*, согласованность (*congruitas*) есть сочетание грамматических значений слов, их модусов обозначения. Поскольку *constructio*, *congruitas*, *perfectio* рассматриваются модистами как три стадии, три этапа формирования речи (*passiones sermonis*), то надо думать, что, по представлениям модистов, на первом этапе формирования речи происходит лишь сопряжение предметных значений в полном отвлечении от грамматических характеристик соответствующих слов, от их модусов обозначения.

Большое внимание уделяют модисты разграничению между грамматической совместимостью слов и их смысловой совместимостью. Подобно тому как модисты всячески настаивают на том, что принадлежность слова к той или иной части речи определяется не предмет-

<sup>60</sup> Pinborg J. *Speculative Grammar*. P. 260.

<sup>61</sup> Rosier L. *La grammaire spéculative des modistes*. P. 175.

ной соотносительностью слова, не его (как мы бы сказали) лексическим значением, а только его основным модусом обозначения, точно так же они утверждают, что грамматическая согласованность конструкции не находится в какой-либо связи с предметным значением образующих конструкцию слов. Если еще Петр Гелийский считал, что согласованность конструкции определяется «как звучанием, так значением или смыслом» (. . . tam voce, quam significatione vel sensu, цит. по Rosier 1983, p. 219), то для Томаса Эрфуртского согласованность конструкции заключается только в соответствии грамматических характеристик слов, в соответствии их модусов обозначения. *Congruitas et incongruitas causantur ex conformitate vel disconformitate modorum significandi* 'Согласованность и несогласованность определяются соответствием или несоответствием модусов обозначения' (Томас Эрфуртский, цит. по Covington 1984, p. 34). Такое, например, сочетание слов, как *sarra categorica* 'шляпа категорическая', в смысловом отношении явно нелепое, вполне безупречно с грамматической точки зрения. *Unde patet quod congruitas sit de consideratione grammatici per se. Sed convenientia vel repugnantia significatorum specialium a grammatico per se non consideratur, sed magis a logico; ergo congruitas vel incongruitas in sermone ab his non causatur* 'Отсюда ясно, что согласованность сама по себе относится к области занятий грамматика. Но соответствие или несовместимость частных значений сами по себе рассматриваются не грамматиком, а скорее логиком; следовательно, согласованность или несогласованность в речи ими не обуславливается' (Томас Эрфуртский, цит. по Rosier 1983, p. 193). В данном случае, как и в ряде других, мы сталкиваемся со стремлением модистов отчетливо выделить сферу собственно языковых значений из широчайшей области смыслового, мыслительного. То внимание, которое модисты уделяют этому вопросу, явно отличает их от грамматиков более ранних эпох, даже от таких непосредственных их предшественников, как Петр Гелийский.

Грамматическая согласованность имеет две разновидности, одна из которых называется модистами *similitudo* 'подобие', другая — *proporatio* 'соответствие'. Появление одного или другого типа согласованности зависит от характера связи между членами конструкции: при интранзитивных конструкциях согласованность выступает в виде подобия (*similitudo*) (конструкция типа «определение—определяемое», «подлежащее—глагольное сказуемое» и т. д.), при транзитивных конструкциях согласованность выступает в виде соответствия (*proporatio*) (конструкция типа «глагольное сказуемое—дополнение» и т. д.). Подобие (*similitudo*) означает, таким образом, тождество грамматических значений, тождество модусов обозначения. Соответствие (*proporatio*) не означает тождества модусов обозначения, оно заключается в закономерной соотносительности разных модусов обозначения у обоих членов конструкции.

В качестве грамматически управляющих модистами рассматриваются зависящие члены конструкции (*dependentes*), «требующие и ищущие своего завершения». По отношению к некоторым конструкциям модистическое понимание управления вполне совпадает с сов-

ременным его пониманием; так, например, в конструкции «глагольное сказуемое—дополнение» и модисты, и мы в качестве управляющего члена конструкции рассматриваем глагольное сказуемое; иное дело конструкции типа «подлежащее—глагольное сказуемое» или типа «определяемое—определение», где в качестве зависящих и, следовательно, управляющих выступают, по мнению модистов, соответственно глагольное сказуемое и определение. Поскольку глагольное сказуемое и определение выступают как управляющие члены, то именно они должны «навязывать» управляемым членам (соответственно подлежащему и определяемому существительному) грамматические характеристики, должны вызывать грамматическое согласование управляемых членов с собою. В этих конструкциях «завершающий член (т. е. подлежащее и определяемое существительное. — *И. П.*) должен иметь модусы обозначения зависящего члена (т. е. глагольного сказуемого и определения. — *И. П.*), как видно из конструкции прилагательного с существительным и из конструкции подлежащего в именительном падеже с глаголом в личной форме» (*constructibile terminans debet habere modos significandi constructibilis dependentis, ut patet de constructione adiectivi cum substantivo, et constructione suppositi nominativi casus cum verbo personali*) (Томас Эрфуртский, цит. по Bursill-Hall 1971, p. 306). В действительности, как мы знаем и как было известно уже предшественникам модистов, отношение зависимости имеет здесь обратную направленность: глагольное сказуемое согласуется с подлежащим, определение — с определяемым. Модисты пытаются найти выход в следующем рассуждении: глагольное сказуемое «извлекает» число и лицо из свойств того предмета, которому соответствует подлежащее: *constructibile dependens habet aliquos modos significandi non ex proprietatibus suae rei per se, sed ex proprietatibus rei constructibilis terminantis* 'зависящий член имеет некоторые модусы обозначения не из свойств обозначаемого им предмета, а из свойств предмета, обозначаемого завершающим членом' (Томас Эрфуртский, цит. по Covington 1984, p. 63), а затем «требует» (*requirit*) подобных же модусов (*modos similes*) у подлежащего; аналогичным образом определение «извлекает» род и число из свойств того предмета, которому соответствует определяемое существительное, а затем «требует» (*requirit*) подобных же модусов у определяемого существительного. Как видим, последовательное проведение некоторых исходных положений вынуждает модистов прибегать порою к явно искусственным построениям.

Последним и высшим «претерпеванием речи» (*passio sermonis*) является *perfectio* 'завершение, завершенность'. *Perfectio* означает целостное и полностью законченное предложение. Модисты отчетливо формулируют условия, при которых высказывание может рассматриваться в качестве предложения. Они не ограничиваются указанием на функцию предложения («выражение законченной мысли»), а стремятся выявить те собственно языковые, формально-грамматические признаки, которые составляют существо предложения.

Одно из обязательных условий существования предложения модисты усматривают в наличии двух синтаксических компонентов — подлежащего (*suppositum*) и сказуемого (*appositum*). Создание специальных грамматических терминов для обозначения главных членов предложения принадлежит к числу самых важных достижений учения модистов.<sup>62</sup> До модистов каких-либо особых наименований для этих синтаксических понятий не существовало, по-видимому, вообще.<sup>63</sup> Существенно и то, что модисты не воспользовались для обозначения подлежащего и сказуемого логическими терминами «субъект» (*subiectum*) и «предикат» (*praedicatum*), как они не воспользовались также для обозначения предложения логическим термином «суждение» (*propositio*).<sup>64</sup> Принципиальное различие между логическими терминами «субъект» и «предикат», с одной стороны, и грамматическими терминами «подлежащее» и «сказуемое» — с другой, выступает у модистов вполне отчетливо. Прежде всего субъект и предикат суждения представляют собой, как правило, группы слов, заключающие в себе весь состав подлежащего (субъект) и весь состав сказуемого (предикат); грамматические же термины «подлежащее» и «сказуемое» соответствуют у модистов отдельным словам. Кроме того, по мнению модистов, подлежащее (*suppositum*) в отличие от субъекта суждения не обязательно должно стоять в именительном падеже. Модисты признают в качестве подлежащего формы косвенных падежей, выступающие в роли носителя глагольного признака в предложениях, рассматриваемых обычно современными исследователями как безличные (напр., форму род. пад. *Socratis interest* 'для Сократа важно', форму дат. пад. *Socrati accidit* 'Сократу случается'). Эту свою позицию модисты пытаются обосновать, как и во многих других случаях при истолковании природы грамматических явлений, ссылкой на онтологию. Поскольку глагол обозначает действие, а любое действие предполагает наличие производителя действия, то отсюда следует, что каждый глагол должен иметь при себе подлежащее. *Omne verbum requirit suppositum, cuius ratio est quia eadem est comparatio verbi ad suppositum quae est accidentis concreti ad subiectum. Sed omne accidens concretum praeexigit subiectum cui insit, ideo omne verbum praeexigit suppositum* 'Каждый глагол требует подлежащего; причина этого заключается в том, что отношение глагола к подлежащему такое же, как и отношение конкретного признака к субъекту. Ведь каждый конкретный признак предполагает наличие субъекта, которому он мог бы быть присущ, поэтому каждый глагол предполагает наличие подлежащего' (Радульф Бритон, цит. по Covington 1984, p. 112). Отсутствие в предложении выраженного словом подлежащего или сказуемого не вынуждает модистов отказаться от своей идеи об обязательном наличии в предложении обоих этих синтаксических компонентов; примени-

<sup>62</sup> B u r s i l l - H a l l G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages*. P. 289.

<sup>63</sup> R o b i n s R. H. *A Short History of Linguistics*. P. 82.

<sup>64</sup> T h u r o t Ch. *Notices et extraits* . . . P. 217; R o b i n s R. H. *Functional Syntax in Medieval Europe*. P. 235.

тельно к таким случаям они рассматривают отсутствующий член предложения как подразумеваемый (напр., при опущении личного местоимения, значение которого выражается соответствующей глагольной формой). Такое предложение с подразумеваемым главным членом Томас Эрфуртский называет *perfectio secundum intellectum* 'завершенность соответственно пониманию'.

Другим условием законченного высказывания (т. е. предложения), помимо наличия подлежащего и сказуемого, является завершенность всех зависимостей, т. е. замещение всех открытых вакансий: переходный глагол должен иметь при себе дополнение, при придаточном предложении должно наличествовать соответствующее главное и т. д. Третье условие законченного высказывания состоит в том, чтобы модусы обозначения всех компонентов этого высказывания были приведены в полное соответствие с требованием согласованности (*congruitas*).

Все модисты согласны между собой в том, что помимо формально-грамматических условий законченности высказывания существует еще функциональное условие: завершенное предложение должно служить для выражения сложного представления и порождать в сознании слушающего законченную мысль. *Tria requiruntur ad perfectionem sermonis. Primum est suppositum et appositum. . . Secundo requiritur omnium modorum significandi conformitas, prout ad congruitatem requirebatur. Tertio requiritur ex parte constructionis, quod nulla dependentia sit non terminata, quae retrahat ipsam ab eius fine, qui est mentis conceptum compositum exprimere, et perfectum sensum in animo auditoris generare* 'Три условия требуются для завершенности речи. Первое состоит в наличии подлежащего и сказуемого. . . Во-вторых, необходимо соответствие всех модусов обозначения требованиям согласованности. В-третьих, со стороны конструкции требуется, чтобы ни одна зависимость не оставалась незавершенной, ведь незавершенность зависимостей могла бы отвлекать конструкцию от ее цели, состоящей в выражении сложного умственного представления и в порождении законченного смысла в сознании слушающего' (Томас Эрфуртский, цит. по Rosier 1983, p. 197).

Первые десятилетия XIV в — время расцвета творческой активности модистов, время их наибольшего влияния. С 30-х годов этого века учение модистов становится объектом резкой критики со стороны представителей ряда философских школ. Первым, насколько мы можем судить, против методологических основ учения модистов выступил сторонник аверроизма Иоанн Аурифабер на публичном диспуте, состоявшемся в Эрфурте в 1332 г. или 1333 г. Подробный отчет об этом диспуте сохранился до наших дней и был опубликован Я. Пинборгом.<sup>65</sup> Аурифабер рассуждал следующим образом. Все существующее в мире может быть либо субстанцией, либо акциденцией, присущей какой-либо субстанции. Модусы обозначения ни-

---

<sup>65</sup> P i n b o r g J. Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter. S. 215—232.

какой субстанцией, очевидно, не являются; их можно было бы рассматривать в качестве свойств «означающего звучания» (*vox significativa*), но «означающее звучание» само по себе не есть субстанция, его можно характеризовать, скорее, как отношение звучания к значению; поскольку же модусы обозначения не являются ни субстанцией, ни акциденцией, то они вообще не существуют. В использовании этого понятия, продолжает далее Аурифабер, нет никакой необходимости; многие грамматик, в том числе Донат и Присциан, дают точную картину грамматического строя языка, вовсе не обращаясь к понятию модуса обозначения. Помимо доводов, направленных против реальности существования модусов обозначения, Аурифабер приводит также аргументы против представления модистов о языке как об адекватном отображении действительности. Роль языка, по мнению Аурифабера, является вторичной и подчиненной; подлинное отображение действительности заключено лишь в нашем сознании, по сути дела только сознание и осуществляет функцию обозначения; языку принадлежит здесь лишь роль орудия, посредством которого эта функция реализуется: *significare vel consignificare non est ipsius vocis, sed ipsius intellectus per vocem* 'обозначение и сообозначение не есть свойство звучания, а есть свойство сознания, проявляемое посредством звучания' (Pinborg 1967, S. 220). Подлинный знак — «знак по природе» (*signum per naturam*) — есть «представление. . . о предмете или его отображение в сознании» (*conceptus. . . rei sive similitudo in anima*). Этот подлинный «первый знак» (*primum signum*) один и тот же у всех людей; слово, звучание всего лишь «второй знак» (*secundum signum*), установленный произвольно (*signum per nostram voluntatem*), связь его с предметом отдаленная и опосредованная; рассматривать его как отображение предмета нет оснований. Все то, что составляет общее достояние всех языков (*communis omni linguae*), принадлежит к сфере исследований логика, дело грамматика — изучать явления, свойственные отдельным конкретным языкам.

В качестве последовательных противников учения модистов в XIV в. выступили философы, придерживавшиеся концепции номинализма. Одной из наиболее характерных черт номинализма XIV в. был принцип экономии, в соответствии с которым из научного рассуждения должны быть удалены все «понятия, не сводимые к интуитивному знанию (т. е. к непосредственному чувственному восприятию, к живому созерцанию. — *И. П.*) и не поддающиеся проверке в опыте»;<sup>66</sup> согласно главному представителю номинализма XIV в. Уильяму Оккаму, «сущности не следует умножать без надобности» (*entia non multiplicanda sunt praeter necessitatem*); в качестве фиктивных, «воображаемых» сущностей, только затрудняющих научный анализ, номиналисты рассматривали «модусы обозначения» и другие ключевые понятия учения модистов. Различия между отдельными частями речи заключаются, по мнению номиналистов, не в разнице их модусов обозначения, а в том, что эти части речи исполь-

<sup>66</sup> Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 455.

зуются для обозначения различных классов объектов, отражают явления, обладающие разной природой.

Позиция номиналистов по вопросу о роли языка в процессе познания, а также по вопросу об отношении языка к реальной действительности по существу совпадает с точкой зрения И. Аурифабера. Если модисты, будучи умеренными реалистами по своей философской позиции, полагали, что структура реального мира находит точное отражение в структуре нашего сознания и в структуре языка, то номиналисты придерживались по этому вопросу совершенно иной точки зрения. По мнению номиналистов, все, что есть в языке смыслового, содержательного, принадлежит сознанию, мышлению. Специфичен для языка только звуковой субстрат, который различен в разных языках, не включает в себе ничего общего, универсального и поэтому не представляет интереса для философии. Подлинными, естественными знаками вещей являются понятия, языковые знаки вторичны по своей природе, они представляют собой условные, произвольные построения. Язык есть совокупность ярлыков, которые могут быть произвольно заменены без всякого ущерба для функционирования языка. Подлинный интерес для научного исследования представляет лишь наше мышление, наша внутренняя речь. Лишь эта внутренняя, мысленная речь (*oratio mentalis*), отличающаяся от любого конкретного языка и общая всем людям, составляет достойный объект философского анализа. Поскольку язык представляет собой лишь совокупность условных знаков, не связанных непосредственно с реальной действительностью, из рассмотрения звуковой речи (*oratio vocalis*) не следует делать каких-либо выводов о явлениях и структуре реального мира, подобные выводы могут лишь вводить в заблуждение. Внутренняя, мысленная речь (*oratio mentalis*) подчинена своим законам, отличным от законов звукового языка, она обладает своей грамматикой, принципиально отличающейся от грамматики любого произносимого языка. Таким образом, роль звукового языка в концепции номиналистов низводится до служебной, подчиненной роли средства общения. Поскольку специфичным для языка в концепции номиналистов оказывается только звуковой строй, различающийся в разных языках, то тем самым лишается основания установка модистов на создание универсальной грамматики; абсолютно неосновательными представляются номиналистам философские притязания модистов, их попытки делать онтологические выводы из рассмотрения языковых явлений.

Резкая критика номиналистов не привела все же к прекращению научной активности модистов, не лишила представителей этого направления полностью их влияния. Модисты XIV и XV вв. ведут оживленную полемику со своими противниками, выдвигают подчас новые и интересные аргументы в пользу своего учения, появляются новые рукописи сочинений модистов XIII в. и начала XIV в., создаются новые комментарии к трудам классиков модистического направления. Лишь в XVI в. под влиянием критики со стороны представителей нового умственного движения эпохи — со стороны гуманистов — деятельность модистов прекратилась окончательно. Величай-

ший пиетет к литературным памятникам античности, стремление к активному овладению классическим латинским языком — языком корифеев римской литературы — все это выдвинуло на передний план новые задачи в сфере исследования языка, отнюдь не сходные с теми задачами, которые ставили перед собой модисты. Не выявление причин тех или иных языковых явлений, а установление правил безупречного в грамматическом и стилистическом отношении латинского языка — такова цель грамматиков гуманистического направления. *Quod ad elegantiam pertinet ego pro lege accipio quidquid magnis auctoribus placuit* 'Что касается изящества <латинского языка>, то я считаю законом все то, что нравилось великим писателям' (Лоренцо Валла (1406—1457) цит. по Thurot 1868, p. 491). Испанский гуманист Хуан Луис Вивес (1492—1540) резко критикует стремление модистов находить объяснение всем без исключения языковым явлениям: «Они пытались установить, почему это имя принадлежит мужскому роду, другое — женскому роду, а третье — среднему роду, почему этот глагол активный, а тот отложительный, как будто бы одно и то же имя не принадлежит мужскому роду в греческом языке и женскому роду — в латинском, как будто бы один и тот же глагол не является активным в греческом языке и отложительным в латинском, как будто бы слова одного и того же значения не имеют разных форм в одном и том же языке» (цит. по Thurot 1868, p. 497).

В грамматических сочинениях XVI в. и последующих веков имена модистов, названия их трактатов почти не упоминаются, в основном оказалась забытой и разработанная модистами специальная грамматическая терминология; тем не менее, по справедливому замечанию Р. Якобсона, учение модистов «оставило глубокие, хотя большей частью и скрытые следы в грамматических теориях последующих столетий».<sup>67</sup>

Грамматики рационалистического направления XVI—XVIII вв. унаследовали от модистов интерес к тем грамматическим явлениям, которые представляют собой общее достоинство всех языков (*grammatica universalis*), стремление не только описывать языковые факты, но и выявлять их причинные связи; наследие модистов проявилось также и в том, что грамматики рационалистического направления часто увязывали рассмотрение тех или иных языковых явлений с философской и логической проблематикой.

Особенно тесно связаны с традициями модистов сочинения двух виднейших филологов XVI в. — Жюля Сезара Скалигера, деятельность которого протекала в Италии и Франции (*De causis linguae latinae*, 1540 г.), и испанца Франсиско Санчеса (*Minerva, seu de causis linguae latinae*, 1587 г.). Уже в самих названиях этих сочинений проявилось влияние модистов; слово *causa* 'причина' впервые стало использоваться применительно к грамматике в модистических трак-

---

<sup>67</sup> Jakobson R. Glosses on the Medieval Insight into the Science of Language // *Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste*. Paris, 1975. P. 298.



татах.<sup>68</sup> Скалигер предпринимает попытку показать соответствие между принципами грамматики и принципами логики Аристотеля; в предисловии к упомянутому выше своему труду он обосновывает соотнесенность грамматических явлений с категориями метафизики.<sup>69</sup> Санчес настаивает на важности установления причинных связей языковых явлений: «Итак, без всякого сомнения, объяснение может быть дано всему, включая слова» (Малявина 1985, с. 100). Он стремится выявить логическую основу грамматического строя; при изучении грамматических явлений важнейшее значение Санчес придает логическим обоснованиям: «Предмет, о котором мы ведем речь, прежде всего требует доказательства с помощью логики, а затем уже доказательства путем привлечения свидетельств и узуса» (Малявина 1985, с. 101). Во многих случаях Санчес указывает на соответствия, существующие между грамматическим строем и строением реального мира «Я с огромным удовольствием заявляю вместе с Платоном, что, несомненно, имена и глаголы обозначают природу вещей» (Малявина, 1985, с. 100). Вполне в духе учения модистов Санчес рассматривает имя-подлежащее как материю предложения, а глагол-сказуемое — как его форму. Опираясь в основном на материал латинского языка и привлекая в некоторых случаях также отдельные факты других языков (в частности, древнееврейского и арабского), Санчес пытается установить важнейшие черты общей, универсальной грамматики, лежащей в основе всех языков.

Сочинения Ж. С. Скалигера и Ф. Санчеса оказали значительное влияние на знаменитую Грамматику Пор-Рояля (*Grammaire Générale et Raisonnée* «Общая и рациональная грамматика», 1660 г.) и явились, по-видимому, тем посредствующим звеном, благодаря которому некоторые положения схоластической грамматики стали известны авторам Грамматики Пор-Рояля и были ими восприняты. Во всяком случае многие принципиальные положения грамматики Арно и Лансело представляются созвучными тем идеям, которые нашли выражение в сочинениях модистов. Авторы Грамматики Пор-Рояля считают своей задачей не только описывать грамматические явления, но и давать объяснения этим явлениям, устанавливая их причины; с этой целью они пытаются уяснить те процессы в человеческом сознании, которые приводят к возникновению тех или иных явлений языка. (Правда, Грамматика Пор-Рояля в отличие от сочинений модистов не ставит задачу установления онтологических основ языковых явлений). Главный интерес Арно и Лансело сосредоточен на выявлении и описании того общего, универсального компонента, который лежит в основании грамматик всех языков (*grammatica universalis*), в этом же заключен и основной интерес модистов. (Правда, авторы Грамматики Пор-Рояля в отличие от модистов не ограничиваются рассмотрением материалов лишь одного языка,

<sup>68</sup> R o b i n s R. H. Theory-Orientatation versus Data-Orientatation // *Histographia Linguistica*. 1974. V 1. N. 1. P. 16.

<sup>69</sup> K e i t h W. Percival. Deep and Surface Structure Concepts in Renaissance and Mediaeval Syntactic Theory // *History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics* / Ed. by H. Parret. Berlin; New York, 1976. P. 245.

а привлекают материалы нескольких языков, хотя и очень немногих; кроме того, Арно и Лансело не останавливаются на выявлении глубинного сходства грамматик разных языков, но уделяют некоторое внимание и тому разнообразию внешнего выражения, в котором проявляется универсальный компонент грамматического строя). Идея общей философской грамматики занимала умы многих выдающихся мыслителей и в XVII в., и на протяжении всего XVIII в. Интересное воплощение нашла эта идея, в частности, в труде английского ученого Дж. Хэрриса «Гермес или философское исследование относительно языка и универсальной грамматики» (*Hermes or a philosophical enquiry concerning language and universal grammar*), опубликованном в 1751 г. Созвучную модистам мысль о характере соотношения между философией и грамматикой высказал в «Энциклопедии» Д'Аламбер: «Следовательно, грамматика — это сфера деятельности философов; только философский ум в состоянии подняться до понимания основ, на которых построены правила грамматики» (цит. по Robins 1974, p. 20). Таким образом, на протяжении XVI—XVIII вв., несмотря даже на то что в это время сочинения модистов были уже давно преданы забвению, многие идеи, впервые высказанные модистами, продолжали вызывать интерес, получали дальнейшее плодотворное развитие.

Положение изменилось в XIX в.; с господствующим в этом столетии историческим и сравнительно-историческим языкознанием учение модистов не находило, разумеется, никаких точек соприкосновения. В тех крайне редких случаях, когда языковеды XIX в. упоминали о схоластической грамматике, они неизменно высказывали свое отрицательное к ней отношение. Французский исследователь Шарль Тюро — автор фундаментального пионерского исследования о грамматических теориях западноевропейского Средневековья, опубликованного в 1868 г.,<sup>70</sup> дает резко отрицательную оценку учению модистов. «Что касается метода средневековых грамматиков, то он не может быть оправдан. Он неудовлетворителен как в целях обучения, так и для научного исследования. Они поступали неправильно, пытаясь объяснять факты вместо того, чтобы их изучать; они совершали ошибку, основывая свои объяснения на принципах совершенно чуждых тому, что надлежало объяснить. Забыв о высказываниях Аристотеля относительно того, что каждая наука имеет свои собственные исходные начала, они не понимали, что грамматика не может заимствовать свои исходные начала у метафизики. . .».<sup>71</sup>

С середины XX в. в отношении к грамматическому учению модистов произошел новый перелом. Все возрастающий интерес к этому учению проявляется в многочисленных изданиях сочинений модистов, в появлении обширной научной литературы, посвященной изучению их грамматической теории. Современные исследователи отмечают многие достижения модистов в изучении грамматического

---

<sup>70</sup> Ch. Thurot. *Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au moyen âge*. Paris, 1868.

<sup>71</sup> Ibid. P. 504.

стройка, усматривают в их теории явный прогресс по сравнению с грамматическими учениями их предшественников; особый интерес вызывают те положения учения модистов, которые созвучны некоторым идеям современной лингвистической теории.

В предшествующем изложении говорилось о том, какое внимание уделяли модисты разработке вопроса о знаковой природе языка.<sup>72</sup> Современные исследователи усматривают определенную близость между знаковой теорией модистов и учением Соссюра о слове как о знаке. Учение модистов о языковом знаке «предвосхищает теорию Соссюра о слове как о знаке, объединяющем „понятие“ и „акустический образ“». <sup>73</sup> Сближает модистов с Соссюром и их представление о языке как о строгой системе, все части которой находятся между собой в отношении взаимосвязи и взаимообусловленности.

Во многих современных исследованиях отмечаются некоторые особенности учения модистов, сближающие это учение с теорией Н. Хомского. К числу таких особенностей относится представление модистов об универсальных чертах грамматического строя, лежащих в основе всех языков мира. С теорией Хомского модистов сближает и их стремление не только описывать явления языка, но и давать им объяснения, выявлять их причины. Грамматику модистов можно с известным правом назвать, как и грамматику Хомского, «порождающей грамматикой». В парадигматическом аспекте к «порождению» языка прямое отношение имеет разработанное модистами представление о взаимодействии модусов существования, модусов понимания и модусов обозначения. В плане синтагматики процесс «порождения» речи представлен в учении модистов о трех этапах, трех стадиях формирования речи (*passiones sermonis*): *constructio*, *congruitas*, *perfectio*. Подобно Хомскому, модисты придавали большое значение разработке философских основ лингвистической теории.

Но, разумеется, значение грамматического учения модистов трудно не исчерпывается тем, что в ряде положений их теории можно увидеть предвосхищение некоторых идей современной лингвистики. Главное заключается в другом: несмотря на все слабые стороны учения модистов, о которых говорилось выше, грамматическое уче-

---

<sup>72</sup> В том, что модисты рассматривали язык как одну из знаковых систем, убеждает, в частности, следующее высказывание Мартина Дакийского: *Et sciendum quod vox per accidens consideratur a grammatico. Quia omne quod potest esse signum rei significatae etiam potest esse de consideratione grammatici. Sed quia vox est habilis signum quam aliquid aliud, utpote nutus corporeus et conniventia oculorum et huiusmodi, ideo plus consideratur a grammatico; et intelligendum quod hoc est per accidens* 'И следует знать, что звучание рассматривается грамматиком в силу побочных обстоятельств. Поскольку все, что может быть знаком обозначенной вещи, также может быть предметом рассмотрения грамматика. Но поскольку звучание более удобный знак, чем какой-либо другой, как, например, наклонение тела или мигание глаз и тому подобное, то по этой причине звучание по преимуществу рассматривается грамматиком; и следует понимать, что это происходит в силу побочных обстоятельств' (цит. по Pinborg 1982, p. 256).

<sup>73</sup> *Robins R. H. Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe.* London, 1951. P. 82, 83.

ние модистов представляет собой первую в европейской научной традиции попытку создания общей теории грамматики. Уже это обстоятельство обеспечивает учению модистов выдающееся место в истории науки о языке.

#### **Источники цитирования сочинений средневековых грамматиков**

- Bursill-Hall G. L. *Speculative Grammars of the Middle Ages. The doctrine of partes orationis of the modistae.* The Hague; Paris, 1971.
- Covington M. A. *Syntactic Theory in the High Middle Ages. Modistic models of sentence structure.* Cambridge, 1984.
- Grabmann M. *Mittelalterliches Geistesleben.* München, 1926. Bd 1.
- Henry D. P. *Two Medieval Critics of Traditional Grammar // Historiographia Linguistica.* 1980. V. VII. N 1/2.
- Jakobson R. *Glosses on the Medieval Insight into the Science of Language / Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste.* Paris, 1975.
- Jolivet J. *Comparaison des théories du langage chez Abélard et chez les nominalistes du XIV<sup>e</sup> siècle // Peter Abelard. Proceedings of the International Conference.* Louvain May 10—12 1971. Leuven; The Hague, 1974.
- Kelly L. G. *Modus Significandi an Interdisciplinary Concept // Historiographia Linguistica.* 1979. V. VI. N 2.
- Pinborg J. *Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter.* Kopenhagen, 1967.
- Pinborg J. *Speculative Grammar // The Cambridge History of Later Medieval Philosophy from the rediscovery of Aristotle to the disintegration of scholasticism 1100—1600.* Cambridge etc., 1982.
- Robins R. H. *Theory-Oriented versus Data-Oriented // Historiographia Linguistica.* 1974. V. 1. N 1.
- Robins R. H. *A Contemporary Evaluation of Western Grammatical Studies in the Middle Ages // Geschichte der Sprachtheorie I. Zur Theorie und Methode der Geschichtsschreibung der Linguistik. Analysen und Reflexionen.* Tübingen, 1987.
- Roos H. *Sprachdenken im Mittelalter // Classica et Mediaevalia. Revue Danoise de Philologie et d'Histoire.* 1948. Vol. IX. Fasc. 2.
- Rosier I. *La grammaire spéculative des modistes.* Lille, 1983.
- Thurot Ch. *Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au moyen âge // Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque impériale et autres bibliothèques, publiés par l'institut impérial de France.* Paris. 1868. T. 22.
- Малявина Л. А. *У истоков языкознания Нового времени (Универсальная грамматика Ф. Санчеса «Минерва» 1587 г.).* М., 1985.

# ДРЕВНЕИРЛАНДСКАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

---

В. П. Калыгин

Латинизация Ирландии, связанная с христианизацией острова, начатой св. Патриком, бриттом по происхождению, шла преимущественно из Британии. Ирландия получила из Британии и евангелизацию, и знание латыни, но именно в Ирландии появляется наука грамматики, сначала на латинской основе, затем и на ирландской.

Знание латыни было насущной потребностью священников: она составляла важнейший элемент образования, без нее была немислима церковная служба, она была языком христианской европейской культуры и общения в среде церковнослужителей.

Ирландские латинисты обучались по грамматике Доната и различных компиляций на основе последней. Так, грамматический трактат Псевдо-Аспера является комбинацией донатовских *Ars Minor* и *Ars Maior* с некоторыми упрощениями. В VII в. анонимные ирландско-латинские (гиберно-латинские) комментарии к Донату ограничиваются учением о частях речи, изложенным во второй части *Ars Maior*. В *Ars ad Cuimnanum* правила Доната объясняются «правилами латинских грамматиков». Своими истоками этот трактат восходит к трудам Сакердоса, Харисия, Диомеда и др. Отмечаются неологизмы, образованные с помощью распространенных суффиксов: *defectatiuus*, *coniunctatiuus*, а также архаизмы, извлеченные из глоссариев, например *queo* 'могу', образованное от антонимичного композита *pequeo*.

Эти и подобные им черты характеризуют так называемую «гисперийскую латынь», получившую свое название по поэме *Hisperica Famina* 'Вечерние речения'. Изобретение искусственных неологизмов и извлечение архаических слов из глоссариев являются специфическими чертами гисперийской латыни. Хотя различные позднелатинские авторы также обнаруживают пристрастие к подобным приемам, например Марциан Капелла, основная масса поэтов, писавших на гисперийской латыни, были ирландцы и бритты. Действительно, усердие в употреблении устаревших и редких слов, использование трудного и искусственного языка, похоже, указывает на страну, латинизация которой произошла недавно. Такое усердие напоминает рвение неофитов. Трактаты гиберно-латинских ученых часто имеют форму диалога учителя с учеником, в котором явно просматривается намерение передать знание редких латинских слов. Эта своеобразная лексикография раритетов не была непогрешимой и безукоризненной:

многие латинские слова появились в результате неправильного анализа, неточных глосс, фантастических этимологий. Гиберно-латинская ученость с ее пристрастием к гисперийской латыни распространилась в VII в. во всех кельтских странах.

Не в последнюю очередь благодаря своей оригинальности Виргилий Грамматик считается самым знаменитым гиберно-латинским ученым. Долгое время считалось, что он жил в VI в. в Тулузе,<sup>1</sup> но упоминание о нем в письме Альдхельма можно рассматривать как доказательство ирландского происхождения Виргилия; в таком случае его жизнь возможно датировать временем до 690 г.

Виргилий сочинил ряд трактатов, из которых до нас дошли 12 *epistolae*, в которых речь идет о звуках, слогах, составлении метров, имени, местоимении, качествах и акциденциях глагола, разламывании слов (*de scinderatione fonorum*) и т. п., и 8 *epistolae*, посвященных частям речи. Особый интерес у Виргилия вызывали криптограммы, состоящие в лексической субституции (обычное слово заменяется на редкое или искусственное), сокращениях и опущении слов, добавлении и перестановке слов, слогов и букв.

Другой ирландский автор, Мальсахан (= др.-ирл. *Máelshechlainn*), известен более прагматическим сочинением, которое датируется временем около 700 г. Из пропедевтических соображений он рассматривает только изменяемые части речи (имя, местоимение, глагол, причастие), следуя в основном грамматике Доната. Для обогащения словарного запаса учащихся он составляет списки слов, используя, в частности, «Этимологии» Исидора Севильского.

Каролингское возрождение дало новый импульс грамматическим штудиям. В числе наиболее крупных представителей филологической науки той эпохи можно назвать Клементя Скотта, состоявшего при дворе Карла Великого. Позднее отмечается расцвет гиберно-латинской грамматики на континенте: Муредех в Оксере, Седулий Скотт в Льеже и др. Основным направлением деятельности каролингских грамматиков было комментирование Доната в свете *Institutiones grammaticae* Присциана.<sup>2</sup>

Помимо общих и теоретических трудов по латинской грамматике следует упомянуть и о другой стороне деятельности ирландских филологов. Речь идет о довольно многочисленных глоссах, оставленных на полях манускриптов по-латыни или по-древнеирландски, особенно при переписке трудов Присциана, Евтихия и других.

Глоссатор часто именуется по-древнеирландски *fer leginn* 'ученый муж' (букв. 'муж чтения'). Он приводит переводы редких слов, анализирует синтаксические конструкции, уточняет значение различных латинских морфем, дает интерпретации и комментарии общего порядка. Эти глоссы отражают некоторые аспекты грамматического учения: «интерпретативные» глоссы, особенно к трудам Присциана, содержат большое количество специальных грамматиче-

<sup>1</sup> Kenney J. The sources for the early history of Ireland: Ecclesiastical. New York, 1966. P. 143.

<sup>2</sup> См.: Holz L. Donat et la tradition de l'enseignement grammatical. Paris, 1981. P. 324—325.

ских терминов. Многие древнеирландские грамматические термины являются прозрачными кальками с латинских: *ranngabál* 'причастие' состоит из *ran* 'часть' и *gabál* (= *capere*) 'брать'.

Некоторые термины отражают специфические гиберно-латинские представления. Так, для *dativus detrimenti*, обозначающего лицо, у которого что-то изымается, а не дается, как это следовало бы из названия падежа — *dativus*, появляется термин *dativus fraudatīvus* 'изымающий датив' (ср. др.-ирл. *tobarthid erdiupartach*).

Подразделение падежей сообразно семантическим нюансам находится в связи с идеями каролингских грамматиков, согласно которым надлежит изменять названия латинских падежей в зависимости от смысла, а именно: «*accusativus*» может употребляться для обозначения прямого дополнения при глаголе *accusare* 'обвинять'. В терминологическом употреблении предпочтение отдается именам действия, например *accusatio*, *laudatio* и т. д. Многочисленные аналоги такого употребления имеются в ирландских грамматиках. Подобные явления отмечаются и у британских глоссаторов.<sup>3</sup>

Ирландцы довольно рано начали предпринимать попытки приложить к их собственному языку идеи и методы латинской грамматики.

Периодизацию истории собственно ирландской грамматической традиции можно представить в следующем виде:

- до 600 г. — огамический период;
- 600—900 гг. — древнеирландский период;
- 900—1200 гг. — среднеирландский период;
- 1200—1600 гг. — бардовский период;
- 1600—1860 гг. — новоирландский период.

Наличие в Ирландии своеобразного и во многом уникального алфавита, известного под названием огамического, выделяет Ирландию на фоне раннесредневековой Европы. Собственно говоря, огамический алфавит явился первым из известных практических приложений ирландцами лингвистических идей и доктрин. Бесспорно, такую характеристику можно дать любой оригинальной системе письма. В отношении огамической письменности, по мнению большинства исследователей, можно говорить скорее о сознательном приложении лингвистических понятий, выработанных римской грамматической традицией для латинского языка, нежели о примитивном адаптировании или слепом копировании порядка и формы букв латинского алфавита. Перенесение теоретических принципов латинского алфавита на ирландский материал свидетельствует о новаторском духе изобретателя огама и, естественно, о его знакомстве с латинской грамматикой.

Огамический алфавит содержит четыре группы знаков, три из которых включают согласные и одна — гласные:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |       |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|------|-------|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | / | // | /// | //// | ///// |   |   |   |   |   |
| b | l | f | s | n | h | d | t | c | q | m | g  | ng  | z    | r     | a | o | u | e | i |

<sup>3</sup> Lambert P.-Y. Les premières grammaires celtiques // Histoire. Epistemologie. Language. 1987. Т. 9.

Существовала и пятая группа знаков, обозначающих дифтонги, относящаяся к более позднему времени.<sup>4</sup>

Огамический алфавит использовался в магических целях, в надгробных надписях и для обозначения межевых границ с IV по VIII в.<sup>5</sup> Надписи наносились на ребро камня с двух сторон и содержат, как правило, имена собственные в родительном падеже. Язык надписей значительно архаичнее языка самых древних текстов, записанных латиницей. Буквы алфавита носят названия деревьев и некоторых других растений: b — beithe 'береза', l — Luis 'вяз', f — fernn 'ольха', s — sail 'ива' и т. п.

О происхождении огамического алфавита было высказано немало гипотез и домыслов. Из наиболее заслуживающих внимания гипотез упомянем работу К. Марстрандера,<sup>6</sup> в которой автор пытается доказать, что огамическая письменность возникла как криптография, которой пользовались друиды, в Южной Галлии на базе латинского алфавита в его галльской разновидности. Р. Турнейзен полагал, что внешняя форма алфавита взята из древней кельтской системы мнемонических знаков (зарубок), употреблявшихся для счета, календарных отметок и в магических процедурах.<sup>7</sup> Близка к точке зрения Р. Турнейзена и концепция Ж. Вандриеса.<sup>8</sup> Л. Гершель развивает идеи Вандриеса о связи огамических групп, содержащих по пять знаков, с древнеирландской системой числительных.<sup>9</sup>

Важным в теоретическом плане представляется положение И. Гельбу о моногенезе алфавита, распространение которого объясняется культурными контактами. Согласно Гельбу, ни одна письменность не начинается со стадии силлабограмм и тем более алфавита, если она не заимствована из той системы (прямо или косвенно), которая уже прошла все эти стадии.<sup>10</sup> В настоящее время наиболее вероятной представляется точка зрения, согласно которой «огамическая письменность была изобретена ирландцем где-то в юго-восточных районах острова, которые имели наиболее оживленные контакты с галльскими центрами торговли в Бретани и юго-западной побережья Галлии (совр. Нант и Бордо). Этот ирландец (или группа ирландцев), несомненно, был знаком со школьной системой преподавания латинского алфавита в том виде, в каком она функционировала в провинциальных городах западной части Римской империи».<sup>11</sup>

<sup>4</sup> Vendryes J. L'écriture ogamique et ses origines // Etudes celtiques. 1941. Vol. 4. P. 84.

<sup>5</sup> Королев А. А. Древнейшие памятники ирландского языка. М., 1984. С. 9—13.

<sup>6</sup> Marstrander C. Om runene og runenavnenes oprindelse // Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. 1928. T. 1.

<sup>7</sup> Thurneysen R. Zur Ogom // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache. 1937. Bd. 61.

<sup>8</sup> Vendryes J. Choix d'études linguistiques et celtiques. Paris, 1952.

<sup>9</sup> Gerschel L. 1) L'ogam et le nombre. I // Etudes celtiques. 1962. T. 10; 2) L'ogam et le nombre. II // Etudes celtiques. 1963. T. 10.

<sup>10</sup> Гельб И. Опыт изучения письма. М., 1982. С. 208—210.

<sup>11</sup> Королев А. А. Древнейшие памятники ирландского письма. С. 19.



Ирландцы довольно рано начали предпринимать попытки приложить к их собственному языку доктрину и методы описания языка гиберно-латинских грамматиков.

Древнейшим известным трактатом по древнеирландской грамматике является *Auraicept na n-Éces* 'Наставление для мудрецов'. Он состоит из канонической части, в текстологическом отношении наиболее древней, и значительного количества комментариев, относящихся к различным эпохам.<sup>12</sup>

Текст *Auraicept* сохранился полностью в десяти рукописях, наиболее древние из которых датируются концом XIV в.; имеются также многочисленные фрагменты, рассеянные по различным рукописям XV—XVII вв.<sup>13</sup> Многократные переписывания с различных протографов затрудняют датировку древнейшей части текста на основе лингвистических критериев. В некоторых случаях кажется более вероятным считать ту или иную форму, претендующую на архаичность, скорее скрипторской инновацией, чем сохранением действительно старой формы. Так, например, первое слово текста в рукописи NLI G 53 (XVII в.) читается [A]sperott, что как будто хорошо согласуется с предположением о ранней датировке «Наставления», но другие рукописи дают иные формы. Поэтому более правдоподобной выглядит интерпретация «архаической» орфографии с «о» как вызванной особенностями орфографии переписчика данной рукописи, часто употребляющего «о» там, где в других рукописях стоит а, ае, или аі, а не как сохранение правильной древнеирландской формы. Более надежную основу представляют некоторые формы типа местоименного предлога *sonaib* 'с ними', среднего рода существительного *fid* 'дерево' и архаический аккумулятив *bein* от *ben* 'женщина' в парадигмах, приводимых в *Auraicept*. Данные в конце трактата парадигмы глагольных и местоименных форм свидетельствуют, что язык канонической части «Наставления» преимущественно древнеирландский, хотя и содержит ряд очевидных поздних форм, например 2-е л. мн. ч. инфигированного местоимения *-bar-*, независимое местоимение *siat-som*, сравнительная и «превосходная» степени прилагательного *lugu* и *lugu-són*. Последние, вероятно, указывают на то, что текст трактата был написан на ранних этапах древнеирландского периода. С другой стороны, имеется несколько синтаксических архаизмов, характерных для правовых текстов. А. Альквист склонен объяснять эти особенности не столько датой составления текста, сколько его особенностями, обусловленными характером этого сочинения, написанного простым и вполне доступным языком, аналог которому можно видеть в Камбийской гомилии. Язык обоих произведений не должен был, по всей видимости, сильно отличаться от разговорного языка того времени, хотя он и несколько архаичен.

Известно, что ирландские ученые мужи относились к «Наставлению» с большим уважением. Текст, описывающий разряды поэтов

<sup>12</sup> Ahlqvist A. The early Irish Linguist. Helsinki, 1983; Lambert P.-Y. Les premières grammaires celtiques. P. 17.

<sup>13</sup> Ahlqvist A. The early Irish Linguist. P. 22.

и метры, дает некоторую информацию о первом году обучения в среднеирландских поэтических школах: *Is hi tra cetus foglaím na cethbliadna .i. cosca ogum im certoghum, aircept na neicsiné cona brolach, cona réimendaib, fiche drécht, sédiana. . .* 'Вот первая часть содержания первого года обучения: пять разновидностей огама, в добавление к правильному огаму, «Наставление для мудрецов» с Прологом и склонениями и двенадцатью делениями (?) и шестью вариантами размера *dían'* (IT III, 32 § 2). Более поздней традиции, известной под названием бардовской, было хорошо известно о существовании *Auraícept*, и некоторые цитаты и ссылки на нее можно найти в вводной части к бардовским грамматическим трактатам, хотя традиция бардов в лингвистическом отношении была ориентирована на практические цели сохранения и преподавания унифицированного ирландского языка, используемого в поэзии.<sup>14</sup> О популярности *Auraícept* говорит большое количество рукописей, в которых она сохранилась. В то же время некоторые ошибки переписчиков свидетельствуют о том, что текст не всегда хорошо понимался.

Судя по цитате из поэтического трактата (см. выше), *Auraícept* воспринималась как состоящая из трех частей: введения, основной части текста и парадигм. Во введении, или Прологе (*Brolach*), даются различные «исторические» сведения, сходные в некоторых деталях с *Lebor Gabála* 'Книга завоеваний', в которой излагается легендарная история Ирландии. В основной части рассматриваются латинский и огамический алфавиты, латинская классификация согласных, прилагаемая к ирландскому консонантизму, категория рода в латинском и ирландском языках, степени сравнения, лицо и залог, семь способов анализа ирландского языка, описание огамического алфавита, таблицы древнееврейского, греческого и латинского алфавитов.

Как уже упоминалось выше, канонический текст *Auraícept* сопровождается многочисленными и разновременными комментариями. При этом важно иметь в виду то обстоятельство, что простота основного текста «Наставления» по сравнению с некоторыми другими поэтическими и правовыми трактатами, например с *Uraícept Bess*, по всей видимости, воспринималась переписчиками как легко модернизируемая, судя по тому, что все рукописи сохраняют множество поздних форм.

Материал *Auraícept*, инспирированный латинскими грамматическими доктринами, опять-таки по причине простоты текста и распространенности трактуемых в нем тем, не может быть использован как критерий для датировки. Наиболее значительное прямое заимствование восходит к трудам Варрона, что едва ли способно пролить свет на вопрос о времени возникновения трактата.<sup>15</sup>

На первый взгляд, упоминание в комментарии Кенна Фаелада как автора Пролога и даже всего трактата может показаться много-

<sup>14</sup> C u í v B. The linguistic training of the mediaeval Irish poet // *Celtica*. 1973. Vol. 10. P. 117.

<sup>15</sup> A h l q v i s t A. The early Irish Linguist. P. 18.

обещающим, особенно если учесть, что он же упомянут в этом качестве еще в двух исторических источниках (Хроника о битве при Маг Рат и в «Истории Ирландии» Китинга). Кенн Фаелад умер около 680 г. (в анналах есть колебания в дате его смерти — 678 г., 679 г.). Если эта дата верна, то следует вывод, что модернизация текста началась до того, как он принял устоявшуюся форму. Авторство Кенна Фаелада принимается рядом ученых,<sup>16</sup> хотя на данном этапе наших знаний о тексте предпочтительнее более осторожная точка зрения, считающая авторство недоказанным.<sup>17</sup> Что касается авторов других частей *Auraicept*, то представляется оправданным мнение К. Калдера о ложной атрибуции этих текстов,<sup>18</sup> хотя Г. Циммер и пытался доказать, что одним из предполагаемых авторов, *Ferscherthne File*, является *Виргилий Грамматик*.<sup>19</sup>

По отношению к *Auraicept* неоднократно высказывались замечания о ее неоригинальности.<sup>20</sup> Но, думается, необходимо отличать древний канонический текст от позднего конгломерата, получившегося в результате глоссирования и комментирования. В действительности «Наставление» примечательно тем, что оно является первым раннесредневековым грамматическим трактатом, в котором автохтонный язык противопоставляется латыни. Автор трактата рассматривает свой родной язык как ничем не уступающий латыни: *Cách dúil dona-raba ainmniugud isna bérlaib ailib ar-íchta ainmnigthi dóib isin Góidilc ut est grus 7 cloch 7 linn* 'Каждый элемент, который не имеет имени в других языках, имена ему были найдены в ирландском языке, т. е. grus «творог», cloch «камень», linn «пруд» (*Auraicept* 1.17).

Обратимся теперь к вопросу о латинских источниках, которыми пользовался автор трактата. Не всегда можно с уверенностью назвать тот или иной труд по латинской грамматике, но во многих случаях возможно проиллюстрировать, какого типа материал послужил образцом для создателя *Auraicept* на *n-Éces*.

Первый раздел канонического текста *Auraicept* посвящен появлению ирландского языка (в тексте: . . . *combad sí tucait airic in bérla Féne* 'причина изобретения (или нахождения) языка фениев (= ирландцев)'). Согласно легенде, излагаемой в этом разделе, ирландский язык был изобретен Фениусом Фаррсайдом (*Féníus Farrsaid*) по прошествии десяти лет после рассеяния народов, строивших Вавилонскую башню. Изложив (довольно путанно) странствия Фе-

<sup>16</sup> Calder G. *Auraicept na n-Éces*. Edinburgh, 1917. P. XXVII; MacNeill E. A pioneer of nations // *Studies*. 1922. 11. P. 441, и др.

<sup>17</sup> Thurneysen R. *Auraicept na n-Éces* // *Zeitschrift für celtische Philologie*. 1927. Bd. 17. S. 281; Hammel A. van. *Primitive Uerse Taalstudie*. Amsterdam, 1946. P. 5; MacCana P. The three languages and the three laws // *Studia celtica*. 1970. 5. P. 64.

<sup>18</sup> Calder G. *Auraicept na n-Éces*. P. XXVII.

<sup>19</sup> Zimmer H. Über direkte Handelsverbindungen zwischen Westgalien mit Irland. . . // *SPAW*. 1910. S. 1054—1076.

<sup>20</sup> Bergin O. The native Irish Grammarian. London, 1938. P. 307; Adams G. Grammatical analysis in the Irish Bardic Schools // *Folia linguistica*. 1970. 4. P. 157.

ниуса, автор трактата утверждает, что Фениус по настоянию «школы» (scol) изобрел или отделил один язык от множества других языков (bér-la do thepiu dóib asna ilbér-laib), и только один Фениус мог его преподавать, ибо никто другой этого языка не знал. Фениус избрал одного из учеников этой школы — некоего Гойдела (Goídel), и по имени последнего язык получил свое название. Далее, . . . ro-riáglad a mbér-la-sa: a mba ferr íarum do cach bér-lu 7 a mba leithiu 7 a mba saimiu, is ed do-reped isin nGoídilc 'были даны этому языку правила, которые были лучше, чем у всякого другого языка, и были они самыми широкими и самыми тончайшими — вот что было отделено от множества для ирландского языка'. Затем сообщается, что для ирландского языка был создан особый алфавит — огам, а его звуковой состав был поделен на гласные и согласные; последние в ирландском не содержат подкласса полугласных, как в латыни: Ni-fail lethguttai and amal na-fail la Grécu acht múti nammá 'нет там в ирландском полугласных, как нет их в греческом, но есть лишь согласные' (I, 16).

Сюжет о Вавилонской башне хорошо известен из Библии. Мысль о превосходстве ирландского перед другими языками выглядит вполне автохтонной, принимая во внимание то, что ни один вернакулярный средневековый язык не противопоставлялся трем классическим священной языкам — древнееврейскому, греческому и латыни, в то время как в Auraicept на n-Eces эта тема повторяется несколько раз. Отсутствие последовательности в выделении подкласса полугласных среди согласных приводит к предвосхищению тематики следующего раздела, и при том, что это сравнение с греческим ошибочно, независимость мышления автора трактата примечательна, особенно если вспомнить, что для латинской традиции подобные дискуссии как будто не характерны.

Второй раздел посвящен классификации букв в латинском и ирландском языках. Основные идеи, лежащие в основе классификации латинских букв, не являются оригинальными и встречаются во многих латинских источниках, начиная с Квинтилиана.<sup>21</sup> Некоторую информацию можно извлечь из названий букв, хотя этот путь некоторым филологам кажется сомнительным.<sup>22</sup> В Auraicept, как и в латинской традиции, названиям букв уделялось большое внимание. В комментарии Сервия к Донату говорится: *semivocales sunt septem, quae ita proferuntur, ut inchoent ab e littera et desinant in naturalem sonum, ut ef el em en er et ix, sed x ab i inchoat. . .* (GL IV). И далее: *mutae sunt novem, quae debent inchoare a naturali sono et in vocalem e . . . desinere, ut b d g et reliquae, ex quibus tres, quoniam non disinunt in e, contumeliam patiuntur. . .* (GL IV 422, 32—4). Подобные же положения можно обнаружить в различных поздних грамматических трудах, например у Присциана (GL II,

<sup>21</sup> Ahlqvist A. The early Irish Linguist. P. 9, 41.

<sup>22</sup> Gordon A. The letter names of the Latin alphabet. Berkeley, 1973. P. 1—3.

8.15—19) и Исидора (Etym. 1, 4.4—10; 10.6—13), а также у ирландских комментаторов Доната.<sup>23</sup>

Ничто из этих рассуждений нельзя считать значительным дополнением к положению Сервия, имеющемуся в *Auraicept*: во-первых, для описания дополнительного гласного, обозначаемого отдельным термином *tuistide*, и, во-вторых, к вопросу об использовании этой доктрины в отношении ирландского.

Принципиально доктрина *Auraicept* относительно трех родов не отличается от той, что изложена у Дионисия Фракийского. Ее разделяли и ранние римские грамматиканы, такие как Квинтилиан, Харисий, Диомед, тогда как другие авторитеты, например Донат, добавляют четвертый род — «общий», а некоторые даже пятый, например, Псевдо-Аспер перечисляет пять родов «*promiscuum*». Эти идеи не нашли отражения в тексте *Auraicept*.

Раздел о «семи различиях» представляет особый интерес в *Auraicept*. Источники этой теории не очевидны. Концепция трактата вкратце такова. Подход «латиниста» противопоставляется трактовке языка местной традицией: *lasin filid* 'у филида'. Различаются семь видов или способов разграничения форм, сформулированных в виде признаков: активность, пассивность, отличительность, различие по увеличению содержания признака (*mór* 7 *móo* 7 *móo'-són* 'большой, больший, наибольший'), различие по степени уменьшения содержания признака (*bec* 7 *lugu* 7 *lugu-són* 'малый, меньший, наименьший'), различие «значения в одном лице» (*uind-se uind-si ondar* 'он видит, она видит, оно видит'), различие «значения лица» (*mé fadén tú fadén hé fadén* 'я сам, ты сам, он сам . . .').

Едва ли был прав О. Бергин,<sup>24</sup> утверждая, что автор или редактор *Auraicept* не имел для описания глагола какой-либо модели. По всей видимости, мы имеем в этом трактате первую попытку рассматривать безличный пассив (4, 3 *ondar*) как категорию, сопоставимую с другими формами третьего лица, но в то же время отличную от них.

Непосредственные источники этой концепции в латинской грамматической традиции как будто отсутствуют. Хотя, с другой стороны, нечто похожее встречается во многих латинских трактатах и, вероятно, было известно в ирландских монастырских школах. В качестве примера можно взять труды грамматика Диомеда как представителя ранней латинской грамматики и сравнить их, особенно по методу пространного представления латинского материала, с тем, как в сжатом виде преподносится материал в «Наставлении».

Противопоставление в начале раздела «ирландского» термина *secht n-etargaire* 'семь различий' и «латинского» *grád coindeilg* 'степень сравнения' не находит явных параллелей в латинских источниках, хотя последний термин хорошо известен (*gradus comparationis*). Появление числа «семь» в ирландском термине объясняется не природой или характером материала, а скорее распространенностью

<sup>23</sup> Ahlqvist A. The early Irish Linguist. P. 41.

<sup>24</sup> Bergin O. The native Irish Grammarian. P. 207.

гептад в ирландской мифопоэтической традиции (ср. семь ступеней (grád) иерархии филидов, а также различные семичленные классификации, например в правовом трактате «Críth Gablach»<sup>25</sup> и других текстах).

Слово *etargaire* при всей его неясности показывает, как одно из трех «лиц», по определению латинской грамматики (Diom. 334.20—23), может иметь три разных значения, хотя точной латинской модели нет, если не считать таковой способ описания местоимений как принадлежащих к «общему» роду (Diom. 329.12). Следует заметить, что в двух последних случаях («средний» и «общий» род) подобная терминология прилагается там, где обсуждаются генезис глагола (Diom. 337.2; 15) и имен (301.4; 9), равно как если бы эта терминология означала совершенно различные вещи. На этом примере можно наблюдать, как понятие рода у имени и особенно у местоимения смешивается с понятием лица, т. е. с категорией, относящейся к глаголу.

Следующее различие — лицо и число — относится к разряду общих мест в латинских источниках (Diom. 329.9). Примечательно, что парадигма пассива построена по латинскому образцу, который и по сей день служит моделью (ср. построение парадигм в грамматике Р. Турнейзена<sup>26</sup>).

Три последних «различия» (4, 7—4, 9) выглядят искусственными добавками, позволяющими довести число «различий» до семи. О первых упоминается у Диомеда (324.20—1) — *comparantur autem nomina quae aut qualitatem significant* — и относительно парадигм *bonus melior optimus* и *malus peior pessimus*, приводимых для иллюстрации морфологии (324.28—29). Относительно третьего («уменьшение») показательно, что Диомед и другие латинские авторы, в том числе Донат (Don. 11 374.15—375.12) и Присциан (Prisc. 88), сразу после собственно степеней сравнения приводят «димиинутивы», что считается некоторыми учеными достаточным для признания влияния латинской грамматической традиции на концепцию.<sup>27</sup>

Далее говорится о гептаде, с помощью которой ирландский язык может быть «измерен», т. е. описан или проанализирован: *Sechta frise · toimister Goídelg .i. fid 7 deach, reim 7 forbaid, alt 7 insce 7 etargaire* 'Семерка, с помощью которой ирландский язык может быть проанализирован, т. е. буква и слог, склонение и ударение, связывание, род и различие'. По духу такой подход весьма напоминает приемы латинских грамматиков, но конкретный источник установить трудно. Если обратиться к Донату, то можно обнаружить аналогичные заголовки разделов, правда, в иной последовательности: *De littera, De syllaba, casus, De tonis, De posituris, genera, comparatio*.

Подобную рубрику находим также у Исидора Севильского: *De litteris, De syllaba, casus, De accentibus, De posituris, genera*.

<sup>25</sup> Binchy D. Críth Gablach. Dublin, 1970.

<sup>26</sup> Thurneysen R. A grammar of Old Irish. Dublin, 1946. § 540.

<sup>27</sup> Ahlqvist A. The early Irish Linguist. P. 44.

Вероятно, нельзя установить, пользовался ли автор *Auraicept* одним каким-то латинским источником, или следовал духу традиции и собственным представлениям о принципах описания языка.

Шестой раздел трактата, посвященный анализу букв, начинается с обычных для латинских грамматик рассуждений о числе букв и их *accidentia*. У Доната такие рассуждения выглядят следующим образом: *unde fit, ut quidam putant, Latinas litteras non plures esse quam decem et septem, siquidem ex viginti et tribus una adspiratio- nis nota est, una duplex, duae superuacuae, duae Graecae; accidunt unicuique litterae tria: nomen, figura, potestas; quaeritur enim, quid vocetur littera, qua figura sit, quid possit. Cp. в Auraicept 6, 2: . . .co- feisser a llín 7 a n-úati, a méit 7 a lagat, a cumang 7 a n-éscumang, a nert 7 a n-aimnert* 'известны их наибольшее и наименьшее число, размер, сила и мощь'.

По-видимому, понятия о числе букв и их «силе» были заимствованы из источника, сходного с трактатом Доната, и переведены на древне-ирландский: *llín* 'число' и *cumang* 'сила', с добавлением синонимов *méit* и *nert* соответственно и антонимов *éscumang*, *aimnert*. При этом вызывает удивление то обстоятельство, что в трактате из восьми приведенных понятий обстоятельно проиллюстрировано только одно — число. Следующее далее описание огамического алфавита, естественно, не имеет латинских источников.

Описание основных принципов построения рифмы интересно тем, что оно может оказаться древнейшим из сохранившихся формальных описаний метрики: *is ed is cubaid iarum corop ed a fid cétna bes isna foclaib ind imfrecraí 7 corop innun a llín do tháebomnaib. ut est has 7 las, bras 7 gras, cenn 7 lenn, donn 7 conn. . .* 'есть одинаковые гласные, которые могут быть в соответствующих друг другу словах, число согласных также должно быть одинаковым, т. е. [как это мы имеем в] *has* 'ладонь' и *las* 'свети!', *bras* 'хвастливый' и *gras* 'покров', *donn* 'темный' и *conn* 'выпуклость'. Как известно, рифма получила распространение сначала в латинской поэзии, откуда проникла в ирландское стихосложение.

Гиберно-латинская грамматическая традиция, представленная описанными выше трудами, является продуктом далеко зашедшей латинизации ирландской культуры. Надо сказать, что латинская грамматическая традиция, как и вся христианская культура, столкнулась в Ирландии с мощной автохтонной культурной традицией, которая в результате взаимодействия с христианской придала последней (в Ирландии) специфические черты. Местная ирландская традиция предопределила повышенный интерес ирландских грамматиков к поэтическому тексту. Дело в том, что предшествующая христианизации острова «грамматическая традиция», как и та, что существовала в первые века христианства в Ирландии, имела иную направленность. Главным предметом изучения и своеобразного нормирования был поэтический текст.

Автохтонное учение о языке никогда не было изложено в иностранных трактатах. Оно, по всей видимости, существовало в устной форме и передавалось в процессе преподавания в поэтических

школах филидов. Некоторое представление о поэтико-грамматической доктрине филидов можно составить по комментариям к различным текстам, прежде всего к *Auricept na n-Éces*, по глоссариям, где приводятся образцы «этимологического» препарирования слов, и по небольшому позднему сочинению под названием *Trefocul (tre +focul)*.

Важно отметить, что древнеирландская поэтико-грамматическая традиция развила унаследованное от индоевропейских времен противопоставление поэтического и обыденного языка в виде оппозиции «язык людей» — «язык богов», несколько видоизменив ее.

В *Auricept* имеется несколько фрагментов, в которых указывается на существование нескольких специальных языков. Компилятор (комментатор) трактата последовательно соотносит ряд форм с языками трех народов, населявших Ирландию, согласно историческим преданиям, наиболее полно изложенным в *Lebor Gabála Éirenn* (Книга завоеваний Ирландии). Три народа, последовательно завоевывавшие Ирландию, — фирболги (*Fir Bolg*), Народ Богини Дану (*Tuatha Dé Dannan*) и собственно ирландцы, или сыны Миледа (*Maic Miled*). Рассуждая о выражении категории рода, комментатор приписывает языку Сынов Миледа обычную древнеирландскую систему: *is é, is sí, is ed* (глагол-связка и личное местоимение 3-го лица ед. числа «он», «она», «оно»). В языке фирболгов им соответствуют *uindse, uindsi, ondar*. К. Уоткинс, опираясь на исследования М. О'Брайена, признает эти слова искусственно введенными в текст, причем довольно поздно, поскольку в *uindse, uindsi* и *se* и *sí* являются вариантами написания древнеирландского *-siu*, присоединенными к глаголу *uindim* 'вижу'. В языке Народа Богини Дану — соответственно *moth, toth, traeth*. Если первые два ряда каким-то образом соотносятся с категорией рода и содержат указания на род в местоимениях, то в третьем ряду представлены крайне редкие слова, функционирующие в качестве *airlann*, т. е. «заглавных слов», представляющих собой некий эталон явления.

Индоевропейская оппозиция «язык богов» (маркированный) — «язык людей» (немаркированный) преобразовалась в ирландской традиции в пятичленную: *it é cóic gné bérla tóbaidi .i. bérla Féne 7 fasaige na filed 7 bérla etarscartha 7 bérla fortchide na filed tríasa n-agallit cach díb a chéle 7 íarmbérla* 'есть пять видов избранного языка: язык ирландцев, максимы поэтов, разделенный язык и «темный» язык поэтов, посредством которого они разговаривают друг с другом, и «безударный» язык'.

Эта оппозиция имеет несколько вариантов.<sup>28</sup> Несколько комментариев относительно «разделенного» и «безударного» языков. В среднеирландский период произошло смешение двух слов терминологического характера: *íarnbérla* и *íarmbérla*. Первое представляет собой композит, первая часть которого трудно этимологизируется. Возможно, она связана с \**isarno* 'железо' и соотносится с кру-

<sup>28</sup> К а л ы г и н В. П. Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1986. С. 50 и сл.



гом представлений, связанным с культовым использованием металлургии.<sup>29</sup> Первая часть второго слова — *íar(m)* является атонным предлогом со значением 'после' и обозначает в грамматических трактатах класс атонных слов (предлоги, местоимения и т. п.). Второй компонент композита, *bérla*, означает 'язык'.

К. Уоткинс справедливо полагает, что *bérla eterscartha* 'разделенный язык' соотносится с глоссаторской практикой.<sup>30</sup> Эта практика основана на семантико-этимологическом анализе, осуществлявшемся посредством рассечения слова на части и последующего отождествления каждой из частей со сходным по звучанию и приемлемым по значению словом. Возможности установления семантических эквивалентов значительно возрастают при перестановке компонентов. Подобные примеры в большом количестве представлены в глоссариях и комментариях, ср. *lamas .i. lam-foss .i. foss láme* 'рукав, т. е. рукопокой, т. е. покой руки'. Методы «этимологического» глоссирования и *bérla etarscartha* совпадают с процедурами «деформации» слов в поэтическом тексте, которые призваны защищать последний от ошибок. В действительности разного рода усечения, метатезы и т. п. способствовали правильному аллитерированию либо давали (изымали) дополнительный слог, а также играли роль маркеров поэтического языка по отношению к обыденной речи.

Древнеирландская грамматическая традиция включала два компонента: первый восходит к глубокой древности и являет собой местную переработку индоевропейского наследия, второй был воспринят вместе с христианской культурой и представляет собой своеобразную трансформацию латинской грамматической традиции прежде всего и ее ирландского извода. Древнеирландская культурная традиция оказалась весьма восприимчивой, но в то же время сохранила большие ассимилятивные потенции, что привело к любопытному сочетанию латинских и ирландских элементов, которые порой чрезвычайно трудно отделить друг от друга.

---

<sup>29</sup> Там же. С. 53.

<sup>30</sup> W a t k i n s C. Language of gods and language of men // Myth and law among the Indo-Europeans. Berkeley; Los Angeles, 1970. P. 13.

# ПЕРВЫЕ ОКСИТАНСКИЕ ГРАММАТИКИ

---

А. Б. Черняк

Окситанский — до середины XX в. более известный как провансальский<sup>1</sup> — удостоился чести стать предметом изучения уже начиная с XIII в., а вероятно, и ранее благодаря необычайному успеху своих трубадуров. Французский героический эпос, корни которого буквально теряются во мгле веков, уже в XI в. вышел за пределы собственно Франции (на поле битвы при Гастингсе в 1066 г. звучала «Песнь о Роланде»), но его популярность от Испании до Уэльса и Скандинавии привела лишь к подражаниям, переводам и переработкам (франко-итальянские версии «Песни о Роланде» и т. д.). Напротив, возникшая на рубеже XI—XII вв. лирика трубадуров (первым поэтом Окситании является Гильом Оранжский, 1071—1127), хотя она и не проникла так далеко на север, произвела на современников — в первую очередь на западноевропейское рыцарство — явно более сильное впечатление: в Германии под ее влиянием появляются миннезингеры, в Испании расцветает галисийская поэзия,<sup>2</sup> а в Италии и Каталонии уже с конца XII в. вследствие постоянных визитов трубадуров к дворам местных синьоров (после альбигойского крестового похода они приобретают характер настоящей эмиграции) умение писать стихи на окситанском становится повсеместно распространенным, и возникают собственные трубадуры: Ланфранко Чигала, Бонифаччо Кальво, Бартоломео Цорци и особенно Сордель (около 1200—1270, упомянут Данте в 6 й песне «Чистилища») в Италии, Гираут Рикьер, Церверин де Джерона и другие в Каталонии. Естественно, что там, где сочиняли стихи на окситанском, должны были собирать и изучать творчество окситанских поэтов: из 95 дошедших до нас антологий окситанской лирики — так называемых *canzoniere* (от ит. *canzone* «песня») — 52 приходятся на Италию, 19 — на Окситанию, 14 — на Францию и 10 —

---

<sup>1</sup> Главным образом благодаря итальянцам, распространившим на весь юг Франции старое название *Provincia (Narbonnensis)*, см.: В е с Р. *La langue occitane*. 3 éd. Paris, 1973 («Que sais-je?» 1059). Р. 64—67. Современный провансальский наряду с лангедокским образует южную диалектную группу, противопоставляющуюся северной (лимузинский, оверньский и виваро-альпийский), а также гасконскому и каталанскому (*ibid.*, р. 34—54).

<sup>2</sup> О ней см. краткие сведения в кн.: Н а р у м о в Б. П. Формирование романских литературных языков. Современный галисийский язык. М., 1987. С. 14—16.

на Каталонию.<sup>3</sup> Не случайно именно в Италии и Каталонии составляются первые окситанские грамматики: «Провансальский Донат» Юка Файдита и «Принципы сочинения стихов» (*Razos de trobar*) Раймона Видаля.

## 1. Юк Файдит

Сочинение Раймона Видаля написано несколько раньше «Доната», но мы начнем именно с последнего ввиду его большей лингвистической значимости.<sup>4</sup> Автором «Доната», как следует из колофона древнейшей рукописи А (он повторяется в инципитах рукописей D и L), был некий Юк Файдит (дословно «Гуго Изгнанник»), составивший его по просьбе двух итальянских синьоров (придворных императора Фридриха II) где-то в середине XIII в. «для обучения провансальскому языку и для различения между истинным и ложным в нем».<sup>5</sup> Это, стало быть, учебник, а его составитель — преподаватель окситанского языка и притом далеко не единственный в Италии:<sup>6</sup> заключая свой трактат, он говорит о завистниках, которые будут оспаривать достоинства его труда, каковым он готов публично дать ответ, ибо «никто до него не исследовал этого предмета столь глубоко и не изложил его столь тщательно во всех его частностях». За Юком Файдитом, таким образом, уже стоит скрытая от нас традиция.

Итак, чему и как учил Юк своих высокопоставленных учеников? Его, составляющий всего 3573 строки, трактат делится на две неравные части: первая (1—1522) представляет собой свободную адаптацию «Меньшего руководства» (*Ars Minor*) Доната,<sup>7</sup> к которой без какого-либо перехода или вступления присоединен словарь рифм (1533—3561), а за ним следует частично уже цитированное выше заключение (3562—3573); последнее написано на латыни, в то время как сам трактат и объяснения и заголовки списка составлены на окситанском. В тексте трактата обращает на себя внимание длинный

---

<sup>3</sup> A v a l l e D' A. S. *La letteratura medievale in lingua d'oc nella sua tradizione manoscritta*. Torino, 1961. P. 45.

<sup>4</sup> И в рукописях, где оба трактата в трех случаях оказываются вместе и даже рядом, «Донат» дважды идет первым — в B и C против L, см.: *The Donatz Proensals of Uc Faidit* / Ed. by Marshall J. H. London, 1969. P. 3—8. Далее: Donatz, при ссылке на редактора: Marshall.

<sup>5</sup> Donatz 3571—3572 (ed Marshall, p. 255). В последнее время Файдита вновь отождествляют с известным трубадуром и составителем *vidas* Юком де Сант Цирк, см.: J a n z a r i k D. *Uc de St Circ — auteur du «Donatz proensals»?* // ZRP. 1989. Bd 105 (цит. по: S w i g g e r s P. *Les premières grammairres occitanes: les «Razos de trobar» de Raimon Vidal et le «Donatz proensals» d'Uc (Faidiz)*. // ZRP, 1989. Bd 105, 1/2. S. 134—147).

<sup>6</sup> О преподавателях окситанского в Италии XIII в. см.: V i s c a r d i A. *La poesia trobadorica e l'Italia* // *Letterature comparate (Problemi ed orientamenti della letteratura italiana, v. IV)*. Milano, 1948. P. 1—40. В документах прямо упоминается некий Tuisio, doctor provençalium (*ibid.*, p. 22).

<sup>7</sup> О нем см.: Ш у б и к С. А. *Языкознание древнего Рима*. // *История лингвистических учений: Древний мир*. Л., 1980. С. 251—254.

перечень глаголов (инфинитивов) первого, второго/третьего и четвертого спряжения (775—1466), занимающий чуть меньше половины сочинения. Это обстоятельство, а также наличие латинского подстрочника (над строкой в рукописи А, в отдельной колонке справа в В) <sup>8</sup> позволяют предполагать, что помимо морфологии автор учебника стремился сделать доступной своим слушателям лексику окситанского языка: индексы в издании Джона Маршалла содержат 123 имени собственных (с. 381—383) и около двух тысяч имен нарицательных (с. 384—419). Правила чтения и фонетику он, по-видимому, объяснял сам, т. е. «прямым» способом, а синтаксис вряд ли представлял особые трудности для его итальянских учеников. Обучение, надо думать, проводилось по обычному средневековому шаблону: учитель медленно диктовал из своей книги, а ученики записывали.

В изложении частей речи и их акциденций <sup>9</sup> Юк, как и все грамматики XIII в., <sup>10</sup> копирует Доната, в отдельных случаях, в частности в определениях, привлекая и Присциана. Трактат открывается, как и у Доната, <sup>11</sup> своего рода оглавлением, роль которого выполняет перечень частей речи. Их восемь: имя (артикл, известный римским грамматикам из греческого, у Юка, как и в *Ars Minor*, отсутствует <sup>12</sup>), местоимение, глагол, наречие, причастие, союз, предлог и междометие. В разделе имени у Юка части речи не выделяются в отдельные главы, как у Доната, что подчеркивает конспективность изложения; вместо шести акциденций Доната: *qualitas, comparatio, genus, numerus, figura, casus* мы находим пять: первые две заменены на восходящую к Присциану (*Inst. gramm.* II, 22) <sup>13</sup> *species* 'вид', 'тип'. У Присциана эта акциденция выступает как словообразовательная категория, дифференцирующая свои объекты (имя, наречие) на первообразные (первичные) и производные; у Юка классификация Присциана получает совершенно неожиданную реализацию: *bos* = лат. *bonus* объявляется производным от первоначального *bontat* = лат. *bonitatem* на том основании, что «добрым человек не может быть без доброты». <sup>14</sup> Маршалл в примечании к этому месту указывает на источник этого парадоксального, на первый взгляд, утверждения

<sup>8</sup> Издатель выражает некоторое сомнение в том, что автором подстрочника был сам Юк (Marshall, p. 18—19, 65), но как тогда объяснить латынь колофона? В ряде случаев, например 305—308, 413—416, 419<sub>a</sub>, 501, латинский перевод существенно дополняет окситанский текст, образуя с ним как бы одно целое, что вряд ли можно было бы ожидать даже от очень квалифицированного переводчика.

<sup>9</sup> Об акциденциях, т. е. вторичных (словоизменительных) категориях, см.: История лингвистических учений: Древний мир. С. 192—193, 217, 225, 235, 251—254.

<sup>10</sup> Bursill-Hall G. L. *Mediaeval Donatus-Commentaries.* // HL. 1981. V. 8.

<sup>11</sup> Мы цитируем по изданию: *Grammatici Latini/ Ex recensione H. Keilii.* Lipsiae, 1864. V. IV. 355 ss. (далее GL).

<sup>12</sup> Heinemann S. *Die Lehre vom Artikel in den romanischen Sprachen // Vox romanica.* 1965. V. 25, n. 1. S. 23—43.

<sup>13</sup> См.: Marshall, p. 259 ad locum.

<sup>14</sup> Donatz, 8—11.

в «Тошике» Аристотеля, однако не объясняет, почему окситанский грамматик воспользовался весьма спорным философским аргументом для зауряднейшего грамматического правила (ниже, говоря о наречии, Юк уже не ошибается в определении отношения между *malamen* 'плохо', 'сильно' и *mal*).<sup>15</sup> Возможно, перед нами одна из попыток разграничения имени существительного и имени прилагательного (последнее, как известно, было «открыто» Абеляром);<sup>16</sup> ввиду того что аргументация Юка — со ссылкой на «древних философов» — упоминается и в окситанском «Законнике любви»,<sup>17</sup> мы вправе предполагать здесь наличие местной (тулузской?) традиции.<sup>18</sup>

Дав определение прилагательному (в дальнейшем в трактате встречается и термин *ajectius*, ср. 95, 107, 121, 134, 137), автор обходит молчанием степени сравнения, хотя в *Ars Minor* и особенно в *Ars Maior* они рассматриваются весьма подробно,<sup>19</sup> — может быть, так как его итальянские слушатели не испытывали тут никаких трудностей — и приступает к акциденции рода, где, излагая позднеантичные премудрости (Донат и Присциан выделяют от четырех до семи родов), четко фиксирует исчезновение среднего рода у имени существительного, как — правда, в другом месте — и его сохранение у прилагательных.<sup>20</sup> Затем, мельком коснувшись акциденций числа и «фигуры» (строения),<sup>21</sup> Юк принимается за падеж. Отметим обстоятельность изложения: каждый падеж автор характеризует отдельной окситанской фразой, например именительный: *lo reis es vengutz* 'король пришел', родительный: *aquest destriers es del rei* 'этот конь — короля', дательный: *mena lo destrier al rei* 'отведи коня королю' и винительный: *eu vei lo rei armat* 'я вижу короля в доспехах'.<sup>22</sup> Вероятно, окситанский грамматик вполне отдавал

<sup>15</sup> Ibid. 1472—1473.

<sup>16</sup> Термин *adiectivum* — калька гр. ἐπίθετον появляется уже у позднеантичных грамматиков, см. ThLL. Lipsiae, 1900. 1. Sp. 675, 84, но выделение его как самостоятельной части речи принадлежит Средневековью, см.: *Mittel-lateinisches Wörterbuch*. München, 1960, Bd 1. S. 185—186, s. v.; *W a e b l e r J.* Beiträge zu einer Geschichte der lateinischen Grammatik im Millelalter. Halle, 1885. S. 147 ff.; *J e e p L.* Zur Geschichte der Lehre von den Redetheilen bei den lateinischen Grammatikern. Leipzig, 1893. S. 152 ff.; *H e i n i m a n n S.* Zur Geschichte der grammatischen Terminologie im Mittelalter // ZRP. 1963. Bd 79, 1/2. S. 25 ff.

<sup>17</sup> Marschall, p. 259, со ссылкой на *Leys d'Amors* (ed. Gatién-Arnoult, v. 2, p. 30). Это тем более удивительно, что в предисловии трактатова Юком species характеризуется как «странное недоразумение» (*a curious misconception*) (Marshall, p. 67).

<sup>18</sup> О грамматических штудиях на юге Франции см.: *Paetow L. J.* The Arts Course of Medieval Universities with special reference to Grammar and Rhetoric. Illinois, 1910.

<sup>19</sup> GL, v. IV, p. 374—375.

<sup>20</sup> Donatz, 20—23, 66—67, 95—98.

<sup>21</sup> Об акциденции строения, т. е. словообразовательной дифференциации частей речи на простые и составные, см.: История лингвистических учений. Древний мир. С. 251—253 (Донат). Ее прототипом является *σχημα* у Дионисия Фракийца (там же, с. 217, 219).

<sup>22</sup> Donatz, 42.

себе отчет в том, что сколь-либо сопоставимой с латинской — как у Доната: *hic magister, huius magistri* и т. д. — именной парадигмы в его родном языке не было. Методически любопытно и объяснение, в котором внимание учеников сначала обращается на аналитические показатели: им. п. lo, род. de (не del, так как артикль может и отсутствовать, например при имени собственном), дат. -a и вин. -lo, и лишь теперь, отталкиваясь от омонимии показателей им. и вин. падежей, учитель переходит к анализу собственно флексии: -s в им., 0 в прочих падежах для ед. числа, 0 в им. при -s в прочих падежах для множ. числа. Единственный упрек, который можно предъявить автору, это игнорирование аблатива, упомянутого при перечислении падежей,<sup>23</sup> и отсутствие примеров для множ. числа (впрочем, чуть выше *numerus* тоже не иллюстрируется примерами — в отличие от обоих трактатов Доната). Но в целом трактовка Юком окситанского склонения и, в частности, использование артикля — неизвестного в то время как самостоятельная часть речи — при моделировании «препозитивной флексии»<sup>24</sup> остроумна и производит большое впечатление.<sup>25</sup>

От общей характеристики склонения автор переходит к детальному изложению флексии отдельных именных групп, попутно аккуратно перечисляя исключения. Затем он устанавливает три склонения — явно по образцу первых трех латинских, но довольно неумело, так как рефлексы лат. *pastor, senior, maior, baro* и т. д. попадают у него во второе склонение (121—125, ср. 88—94) и принимаются за несклоняемые типа *vers* 'стих'. На изучение этого класса Юк не жалеет ни времени, ни места (70 строк — со 132-й по 204-ю по изданию Маршалла — при 90 на первую часть акциденции): он приводит едва ли не все подтипы, а для некоторых дает почти исчерпывающий список входящих в них имен;<sup>26</sup> о тщательности описания можно судить уже по тому, что последовательно отмечается качество стоящих перед -s гласных: впервые появляющимся здесь терминам *larg* 'широкий', т. е. открытый, и *estreit* 'узкий', т. е. закрытый (136, 152, 153, 155 и т. д.), суждено большое будущее.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Рукопись L возмещает это упущение: *El vocatiu o tu segner reis se corme (= comme 'подобно тому, как'. — А. Ч.) lablatiu eu uau ab lo rei per lo rei ses lo rei del rei* (Marshall, p. 92 ad locum).

<sup>24</sup> Ср.: Богомолова О. И. Современный французский язык. М., 1948. С. 57: «... французское существительное имеет четкое оформление благодаря артиклю, который является своего рода препозитивной флексией».

<sup>25</sup> Маршалл и здесь высказывает сомнения в оригинальности Юка, полагая, что его окситанские примеры являются «всего лишь переводами с латинского» (Marshall, p. 67). Но *dextrarius* 'боевой конь' впервые засвидетельствовано только в средневековой латыни, причем не ранее XI в. (см.: Battisti C., Alessio G. *DEL*. V. 2, Firenze, 1951. P. 4265 s. v. *destridre*), и обе фразы с этим словом не могут восходить к античным грамматикам, так что мнение английского ученого ни на чем существенном не основано.

<sup>26</sup> Bergh A. *La déclinaison des mots à radical en s en provençal et en catalan*. Göteborg, 1937. P. 55.

<sup>27</sup> См. примеры: Battaglia S. *Grande dizionario della lingua italiana*. Torino, 1973. V. VIII. 777b s. v. *larg* 35.

Весь этот раздел выглядит как настоящее исследование, аналогий которому не найти ни в «Малом», ни в «Большом руководстве».

Местоимение рассматривается очень поверхностно: в своем перечне Юк, например, опускает множественное число личных и женский и средний род указательных и притяжательных местоимений, ничего не говорит о склонении, о вопросительных и относительных местоимениях (ср., однако, 101, где среди прочих местоимений фигурирует и *qui*) и т. д. Зато глагол охарактеризован очень подробно (220—774), хотя и здесь попадаются купюры: например, из известного определения *cum modis et formis et temporibus* 'часть речи, наделенная наклонениями, формами (имеются в виду видовые оттенки — инхоативный, фреквентативный и т. д. — А. Ч.) и временами' в трактате анализируются лишь первое и третье. Юк начинает с перечисления пяти наклонений (*modi*): индикатив, императив, оптатив (как и в латинских грамматиках, обозначает желание, например *eu volgia amar* 'я хотел бы любить', т. е. тождествен кондиционалу современных грамматик), конъюнктивы, в соответствии с античной традицией, инфинитив; каждое из них имеет (в тексте уклончиво: «должно иметь») пять времен: презенс, имперфект, перфект, плюсквамперфект и футурум. Тут же определяются спряжения (при анализе имени, как мы видели выше, склонения почти не учитываются); автор вслед за Присцианом (Донат объединял третье и четвертое спряжения в одно) выделяет для окситанского четыре спряжения: I на -ar, II на -er, IV на -ir и, несколько путано, III на -re (241—242, ср. 365, 564), — тип *plánher* < лат. *plangere*, *conðisser* < лат. *cognoscere* не выделен из второго спряжения, ср. список глаголов 1244—1348. Затем идут парадигмы первого спряжения: настоящее индикатива, где отмечаются дублетные формы для 1-го л. ед. ч., например *amí* или *am* от *amar*, с указанием, что краткая форма предпочтительнее и для 3-го л. мн. ч.: *amem* или *amon*, но при этом подчеркивается, что в отличие от предыдущей эта вариация распространяется на все времена и парадигмы; имперфект, простой перфект, сложный плюсквамперфект: *eu avia amat* и т. д., будущее (характеризуемое как одинаковое для всех спряжений); императив (приводятся формы 2-го и 3-го л. ед. и мн. ч.<sup>28</sup>); «оптатив» (=кондиционал) на -era и -ia дается сразу для всех спряжений: *volunters amera, amaria, dissera, diria, volgra, volgia* 'я охотно полюбил бы, сказал, хотел бы' и т. д.; плюсквамперфект оптатива: *bon fora qu'eu agues amat etc.* дословно 'хорошо было бы, если бы я полюбил', ср. лат. *utinam amavissem*, где предлагается очень сбивчивое объяснение аналитической конструкции с привлечением имперфекта конъюнктива (см. ниже); футурум оптатива *Deus volha qu'eu ame* 'Дай Бог мне полюбить', *utinam amem*, эквивалентный презенсу конъюнктива, перфект конъюнктива — мы незаметно перевалили в следующее наклонение — *sum eu aia amat*=*sum amaverim*,<sup>29</sup> футурум конъюнктива *sum eu*

<sup>28</sup> Латинский перевод дает и 1-е л. мн. ч., см. выше, примеч. 8.

<sup>29</sup> На первый взгляд, это окситанское *sum* кажется бессмысленным в роли показателя конъюнктива, но при ближайшем рассмотрении отдельные примеры

aurai amat = cum amavero. Таким образом, конъюнктив представлен полным набором времен, включая совпадающий с плюсквамперфектом оптатива плюсквамперфект (407—408), в то время как для оптатива мы недосчитываемся имперфекта и перфекта; Донат объединял под одной формой имперфект с презенсом, а перфект с плюсквамперфектом,<sup>30</sup> но Юк не считает для себя обязательным прибегать к подобным оговоркам. Для инфинитива он приводит только формы презенса *amat* и имперфекта *aver amat*, опуская наличествовавшие у Доната перфект/плюсквамперфект и футурум как малоупотребительные.<sup>31</sup> Перечнем парадигм пассива (императив здесь включает и 1-е л. мн. ч. — 454; инфинитив объявляется несуществующим<sup>32</sup>) завершается очерк первого спряжения.

Второе, третье и четвертое спряжения рассматриваются вместе в той же последовательности, что и первое, с той лишь разницей, что очень подробно анализируется 3-е л. перфекта (560—652): как и в случае с несклоняемыми именами (см. выше), автор перечисляет все имеющиеся в окситанском типы, попутно указывая качество гласного конечного слога. Точно так же при характеристике плюсквамперфекта индикатива акцент делается на различающихся от спряжения к спряжению формах причастия (Юк говорит только об окончаниях *-at*, *-ut*, *-it*, *-es* и т. д.); при анализе плюсквамперфекта оптатива на этот материал делается отсылка (699—712).

Прерванное списком глаголов первого (775—1243 — 473 глагола в алфавитном порядке), второго/третьего (1243—1351) и четвертого (1252—1466) спряжений, грамматическое изложение возобновляется анализом наречий. Основной акцент делается на *significatio*, т. е. на семантической классификации, но автор и здесь не стремится к исчерпывающей полноте и порой допускает ошибки: так, союз *mentre* 'в то время как' причисляется к наречиям времени (1480). Далее идет очень краткая характеристика причастий, состоящая из определения и перечня окончаний с примерами (1497—1507), и несколько более подробное описание союзов, где обращают на себя внимание отсутствующие в латинских грамматиках подгруппы 'ординативные' (в нее попали чистые наречия *d'er enan*, *d'aquí enan*

---

с *cum* < *quomodo* 'чтобы' все же обнаруживаются ср. Peire Cardenal XXXII 49: *cavaliers degr'om sebelir com jamais d'els non fos parlat* 'рыцарей следовало бы похоронить, чтобы о них прекратили говорить' (цит. по: Jensen F. *The Syntax of Mediaeval Occitan*. Tübingen, 1986 (ZRP. Beiheft 208). P. 352, § 1026, который указывает на совершенно изолированную аналогию в старофранцузской «Секвенции о святой Эввалии» IX в.: *entz enl fou la getterent, com arde tost* 'ее бросили в огонь, чтобы она сразу же сгорела'). К этим примерам можно присоединить целевое *come* в староритальном ср. у Джакомо да Лентино: *io m'aggio posto in core a Dio servire com'io potesse gire in paradiso* 'я возымел намерение служить Богу, дабы я смог попасть в рай' (Rohlf G. *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*. Torino, 1969. V. III. § 777. P. 181—182).

<sup>30</sup> GL, t. 4, 360, 28, 30; Donatz, 312.

<sup>31</sup> Donatz, 416—418.

<sup>32</sup> Но ср. ремарку в латинском подстрочнике: «*nisi amari*» (Marshall, p. 129, v. 501), т. е. имеется в виду форма *esser amatz* (*ibid.*, p. 271, ad locum), см. выше, примеч. 8.



‘отныне’ и d’aquí en reire ‘некогда’), и «ассимилятивные» (atressí ‘подобно тому, как’ и т. д.) наряду со стандартными соединительными, разделительными, «рациональными» и т. д. (1508—1522). О предлогах и междометиях, хотя и «заявленных» в начале трактата (см. выше, с. 82), не сообщается никаких сведений.

Из всего вышесказанного возникает образ весьма непоследовательного и довольно чуждаковатого грамматика, который углубляется в частности вроде несклоняемых имен или окончания 3-го л. ед. ч. перфекта и в то же время не в состоянии разграничить второе и третье склонения, равно как и второе и третье спряжения. Но Юк скорее всего и не ставил перед собой каких-либо теоретических задач: его целью было создать не школьный учебник — окситанский не преподавали в итальянских школах, — а руководство для взрослых, желавших научиться читать и даже писать, отсюда список рифм и длинный перечень глаголов, важнейшей части словаря, — окситанские стихи. Его трактат следует отнести, несмотря на название, не к типу учебников, а к жанру так называемых «правил» (regulae), с их ориентацией не на определения и грамматические объяснения, а на парадигмы и списки примеров; как и окситанский «Донат», они рассматривают части речи выборочно, ср. «Наука об имени, местоимении и глаголе» Присциана (включая также и причастие).<sup>33</sup> С этой точки зрения даже такую, казалось бы, явную несуразицу, как перекрещивающееся изложение парадигм опатива и конъюнктива (см. выше, с. 85), нужно интерпретировать как желание автора как можно быстрее установить ассоциативные связи за счет монотонной системности грамматик Доната или Присциана.

Нельзя недооценивать также тот факт, что Юк обучал окситанскому итальянцев — или, во всяком случае, носителей романской речи,<sup>34</sup> — и потому акцентировал внимание своих учеников на тех вещах, которые могли представлять для них трудность: качество гласных, склонение и т. д. Прочее, например структуру аналитических времен, они усваивали по аналогии со своими родными языками. Напротив, современного читателя в грамматике Юка интересуют в первую очередь аналитические конструкции, т. е. то специфическое, что отличает романские языки от латыни. Но так как специфически окситанского в окситанском аналитизме не так уж много, «Провансальский Донат» до известной степени разочаровывает. Об артикле мы уже говорили (см. выше, с. 84): он фигурирует лишь как показатель им./вин. ед. ч., причем формы женского рода и множественного числа даже не упоминаются. Аналогичным образом в группе замалчиваемых оказывается и сложный перфект, хотя

<sup>33</sup> О «правилах» см.: Law V. Late Latin Grammars in the Early Middle Ages. // *HL*, 1986. V. 13, n. 2/3, S. 365—380.

<sup>34</sup> Ср. обращение к читателю в латинском переводе: *Inspiciat lector. . . et consideret qualia verba debet profere (sc. proferre. — А. Ч.) in vulgari suo et quod intellectum («значение») habent, quia in vulgari provincialis linguae eundem sensum habent ista verba quem sua in suo vulgari (Marshall, p. 121—122)*. Среди учеников Юка могли быть и французы, а латинский перевод делал речь доступной и для немцев.

в тексте трактата он встречается неоднократно, ср. *ai dit*, 82, 132, 202, 232, 516, 648, 1499. Прямой необходимости в нем у Юка не было, так как в роли претерита перфекта, естественно, выступал этимологический рефлекс — простой перфект, но он вполне мог появиться в качестве дублетной формы, которые в трактате обычно приводятся, ср. окончания 1-го л. ед. и 3-го л. мн. ч. (см. выше, с. 85) или имперфект индикатива в роли имперфекта конъюнктива во фразах типа *S'eu te donava mil marcs, serias tu mos hom?* 'Если бы я дал тебе тысячу марок, стал бы ты моим вассалом?' (396—399, ср. 538—540), хотя в последнем случае автор не удерживается от замечания, что это «против правил» (398 *et es contra gramatica*). Неупоминание сложного перфекта, таким образом, является скорее случайностью. Для прочих аналитических времен синтетических дублетов не имелось, так что эта случайность повториться не могла. Но с анализом конструкции автору пришлось повозиться, главным образом из-за отсутствия такого важного понятия, как «вспомогательный глагол». Первая попытка была предпринята применительно к плюсквамперфекту опатива *agues amat* и т. д. (360 сл.), как можно заключить из ничем другим не оправдываемого присутствия парадигмы имперфекта конъюнктива *sum eu cantes, tendes* и т. д., зачем-то еще продублированной парадигмой *sum eu ames* (369—387); текст в архетипе был явно здесь испорчен (выпало несколько строк?).<sup>35</sup> Более удачным был анализ плюсквамперфекта индикатива второго—четвертого спряжений (656 сл.): он поставлен непосредственно за имперфектом индикатива (в первом спряжении он шел за перфектом), и Юк, как бы оставляя на усмотрение читателя очевидную ассоциативную связь, подробно перечисляет варианты причастия, — не называя последнее таковым! (способ описания сугубо «дескриптивный», ср. 664—666 «*aver, poder* и т. д. похожи на первое спряжение с заменой *-at* на *-ut*»). И наконец, буквально на следующей странице, при рассмотрении плюсквамперфекта опатива открыто указывается, что он образуется по образцу плюсквамперфекта индикатива «с постановкой *agues* вначале» (704—705). Аналогичным образом преподносится и пассив — «для разумения недогадливых», *ad doctrinam simplicium*, как уточняет латинский перевод,<sup>36</sup> «который легко узнать по глаголу *sum, es, est*, требующему впереди и после себя номинатива, как в *eu sui amatz* и т. д.» (*Donatz*, 419—421). А об аналитических степенях сравнения вообще ничего не говорится.

Руководство Юка Файдита имело большой успех, т. е. его активно переписывали и, как водилось в то время, попутно слегка переделывали

<sup>35</sup> См. подробный комментарий издателя (Marshall, p. 268—269 *ad locum*), который, по-видимому, несколько недооценивает трудность стоявшей перед автором задачи.

<sup>36</sup> Эта ремарка в сочетании с сугубо латинским обликом вспомогательного глагола наводит нас на мысль о примате латинского текста трактата над окситанским, т. е. Юк, как естественно было бы ожидать, первоначально вел преподавание на латинском языке и лишь позднее перешел на «прямой» метод. В рукописях, разумеется, это первоначальное соотношение (латинский текст и окситанский под- или надстрочник?) перевернуто. Ср. также другие случаи расхождения, перечисленные в примеч. 8, а также: Marshall, p. 16—24.

вали. Из пяти главных списков только А (XIII в.) сохранил оба текста; В с 1 по 774, т. е. до конца глагола, элиминировал окситанский текст (!) и лишь в разделе о наречиях, причастиях и союзах воспроизвел обе версии; в С и L от латинской сохранились лишь фрагменты, в D — ничего.<sup>37</sup> Список инфинитивов отсутствует в С, список рифм — в С и D, а полностью представлен только в А. Но имели место и добавления, как например вышеупомянутая вставка в L об аблятиве,<sup>38</sup> как бы предвосхищающая появляющуюся только в этой рукописи главу о предлогах — перечень латинских предлогов, употребляемых с аккузативом, аблятивом и с обоими падежами, и попытка показать разницу между аккузативом и аблятивом (в окситанском, как и в прочих романских языках, ставшую мифической) на нескольких окситанских примерах, т. е. в общем и целом малоудачная компиляция из соответствующих глав Доната, и вероятно, 14-й книги Присциана; завершающая эту версию трактата маленькая главка о междометиях, хотя и приводит только один тип (восклицания скорби), выглядит информативнее.<sup>39</sup> Еще более переработано сочинение Юка в рукописи С, вернее в ее не дошедшем до нас прототипе второй половины XIII в., сохранившемся лишь благодаря скверной копии конца XVI в. с многочисленными пропусками, перемещением нескольких страниц и прочими искажениями.<sup>40</sup> Заслуживают внимания объяснение различия между номинативом и аккузативом позицией глагола (42 — аккузатив требует глагола перед собой, а номинатив — позади себя); упоминание форм множественного числа для первого и третьего склонений (53—54, 68—69); определение прилагательного как имени, не содержащего законченного суждения (78 *non portan complida sententia*); описание склонения местоимений (235—263); более подробная характеристика третьего спряжения (286—287), императива первого спряжения (345—363) и императива прочих спряжений (789—807). Маршалл полагает, что автором этой версии был итальянец, работавший не позже середины XIV в. и неважно знавший окситанский язык,<sup>41</sup> но такие ошибки, как 3-е л. имперф. конъюнкт. *aves* вместо *agues*, *prendes* вместо *preses* и *tenes* вместо *tengues*, могут быть простыми описками копииста XVI в. под влиянием итальянских форм *agues*, *pendes* (аналогичным образом и в А 366 *prendre* «сереге» — явная авторская небрежность вместо *rende*, представленного рукописями D и C) и *tendes* (фигурирующего в качестве примера в А 375—380). Гораздо существеннее, на наш взгляд, фраза 229: *eu N'Uqz sui vengutz* 'я, господин Юк, пришел' (пример на личное местоимение), из которой следует, что автором

<sup>37</sup> См.: Marshall, p. 12, tabl. 1.

<sup>38</sup> См. выше, примеч. 23.

<sup>39</sup> См. издание Маршалла, приложение 3 (Marshall, p. 374—375).

<sup>40</sup> Маршалл напечатал текст С в приложении 1 со сплошной нумерацией строк, которой мы здесь воспользовались (Marshall, p. 343—370). Значение текста С понял еще Штенгель, опубликовавший его в правой колонке своего издания трактата (*Die beiden ältesten provenzalischen Grammatiken: Lo Donatz Proensals und Las Razos de Trobar/ Hgg. v. Stengel E. Marburg. 1878, 1—39*).

<sup>41</sup> Marshall, p. 45—46.

версии был сам Юк Файдит (!) (в А 215 eu Jacm [e] sui vengutz — Jacme < Iacobus, вероятно, обращено к одному из учеников Юка, Якову де Мора, упомянутому в колофоне трактата (Donatz 3570)).<sup>42</sup>

## 2. Раймон Видаль

Сочинение известного каталанского трубадура Раймона Видаля из Бесалú (местечко около Жероны) «Принципы стихосложения» (*Razos de trobar*) еще более удаляется от школьной грамматики типа руководств Доната, чем трактат Юка Файдита.<sup>43</sup> Оно открывается пространным введением (строки 1—89 из общего числа 473 по изданию Маршалла<sup>44</sup>), в котором автор сразу же представляется читателю и объявляет о цели своего труда: помочь желающим научиться понимать, какие из трубадуров умели писать стихи и могут служить примером для подражания (1—4). Перед нами почтенный, широко известный поэт, на склоне лет — вероятно, где-то около 1120 г.,<sup>45</sup> — щедро делящийся со знатоками (*homes prims* 11, 15, 17, 52, 54) и с простыми любителями своим немалым опытом.

Тем не менее произведение Видаля отнюдь не трактат о поэтике, хотя традиционное риторическое подчеркивание собственной скромности (5—19), красочная похвала поэзии (20—31), насмешки над незаслуженно расхваливаемыми сочинителями (32—44) и топос о трудности предпринимаемого автором труда (50—58) ведут нас сначала именно в этом направлении. Видаль, оказывается, интересуется одна лишь языковая сторона проблемы. Он открывает свое изложение утверждением, что «каждый, кто хочет сочинять и разбираться в стихах, должен прежде всего знать, что самым естественным и правильным говором нашего языка (вероятно, здесь имеются в виду

<sup>42</sup> О нем см.: Marshall, p. 62—63.

<sup>43</sup> См.: S w i g g e r s P. Les premières grammaires occitanes; Della Casa A. Les glossaires et les traités de grammaire du Moyen Age. // La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation. Paris, 1981. P. 35—46; L a w V. Originality in the mediaeval normative tradition. // Studies in the History of the Western Linguistics: In honour of R. H. Robins. Cambridge, 1986. P. 43—55.

<sup>44</sup> The «Razos de trobar» of Raimon Vidal and associated texts / Ed. by Marshall J. H. Oxford, 1972. P. 1—25 (далее: Razos).

<sup>45</sup> Обычная датировка «между 1190 и 1213», т. е. до сочинения его собственных главных произведений, новелл *Castia-gilos* (после 1214) и *So fo* (около 1213), см. *Razos LXVII ff.*, основывается на том, что Видаль в своих многочисленных стихотворных примерах не приводит ни одной строчки из произведений своего современника Раймона де Миравалья, в то время как в вышеупомянутых новеллах он упоминает его 11 раз. Но это обстоятельство не обязательно истолковывать в том смысле, что в момент написания «Принципов стихосложения» Видаль еще не был знаком с творчеством Миравалья: поэты неоднократно встречались, вероятно, дружили, но в один прекрасный день могли и поссориться. Кроме того, почти все цитируемые в «Принципах» трубадуры выступают не только как авторитеты касательно употребления той или иной формы, но и как объекты критики. И с точки зрения здравого смысла маловероятно, чтобы поэт выступил с трактатом о поэзии, еще не добившись признания как мастер: пример Горация и Буало показывает обратное.

Франция, Испания и Италия как одно языковое целое. — А. Ч.)<sup>46</sup> является говор Франции, Лимузена, Прованса, Оверни и Керси» (60—62). В дальнейшем выясняется, что речь идет только о двух вариантах: французском (*parladura francesca*), наиболее подходящем для романов и пасторелей, и всех прочих, объединяемых под термином «лимузинский» (*lenga lemosina*),<sup>47</sup> на котором лучше писать стихи, канцоны и сирвентезы (62—64, 73—76). Так как сочинения на лимузинском (т. е. староокситанском без гасконского и каталанского) пользуются в «странах нашего языка» (т. е. в странах романской речи — о популярности трубадуров в Италии см. выше, с. 80) наибольшим авторитетом, Видаль начинает именно с него (до французского он, впрочем, так и не доберется), предварительно отвергнув мнение тех, кто ставил под сомнение лимузинский характер языка трубадуров на основании повсеместной распространенности таких слов, как *porta*, *pan* и *vin* (77—83),<sup>48</sup> — сам факт таких дискуссий весьма показателен.

Далее следует краткое введение в «грамматику» (85 сл.): Видаль перечисляет традиционные восемь частей речи, классифицируя их на «существительные» и «прилагательные» (имя, местоимение, причастие и глагол) и «средний род» (*neutras* — наречие, союз, предлог и междометие), не изменяющиеся по числам, родам, лицам и временам. К «существительным» он относит все слова, обозначающие субстанцию, а именно существительные, личные и притяжательные местоимения и даже глаголы *eser* и *estar*, а к «прилагательным», судя по приводимому им списку примеров, отходят прилагательные, причастия действительного залога и прочие глаголы. Оба класса подразделяются на три подгруппы: мужского рода, женского рода и общего — в последний входят прилагательные обоих родов, причастия, местоимения и глаголы. Эта странная теория восходит в конечном итоге к аристотелевской классификации частей речи на имена, глаголы (включавшие и прилагательные) и союзы, несколько модернизированной открытой в XII в. дифференциацией глаголов на предикативные и непредикативные<sup>49</sup> и модной терминологией, обличающей отдаленное знакомство с идеями Абеяра.<sup>50</sup> В дальнейшем автор

<sup>46</sup> Обычно считается, что Видаль не включал в число компонентов «нашего языка» итальянский (*Razos*, p. 108 ad locum), но известный пассаж из Данте (*de vulg. eloq.*) и другие свидетельства говорят в пользу нашей интерпретации.

<sup>47</sup> Как давно установлено, Лимузен получил предпочтение по той причине, что этот край был родиной многих знаменитых трубадуров: Бернарда де Вентадора, Бертрана де Борн и т. д. (см. также: G o n f r o y G. *Les grammairiens occitano-catalans du moyen âge et dénomination de leur langue // La Licorne*. 1980. N. 4. P. 47—76).

<sup>48</sup> Парадоксальным образом Маршалл считает, что Видаль выступает здесь против крайних пуристов, искоренявших даже мнимые каталанизмы (*Razos*, p. 109, примеч. к с. 77—83). На наш взгляд, противники Видяля занимали по вопросу о литературной норме гораздо более умеренные позиции, чем он сам.

<sup>49</sup> См.: T h u r o t C. *Notices. . .*, 177, 179, 185 (цит. по: *Razos*, p. 110 ad locum).

<sup>50</sup> Маршалл (*loc. cit.*) упоминает в этой связи только *nomen substantivum* и *nomen adiectivum* Присциана. Об Абеяре см. выше, примеч. 16. Отметим, что еще в первой половине XVI в. Диего де Вильялон так говорил о языке необразо-

употребляет термин *adiectivus* в общепринятом в то время значении (140, 153, 157), что создает некоторую путаницу.

Затем Видаль подробнее характеризует категорию рода, отмечая сохранение среднего рода у прилагательных (142—145, 151—154) и изменение рода у отдельных слов типа *amor* (в окситанском женского, в «грамматике» — мужского), и переходит к склонению (155 сл.). Он называет все шесть латинских падежей, но оперирует фактически только двумя формами: «удлиняющимися», т. е. имеющими флексию: им. и зват. ед. ч., род., дат., вин. и твор. множ. ч. и «сокращающимися» — во всех прочих падежах. Это свое двухпадежное склонение он иллюстрирует примерами на им./зват., почерпнутыми из произведений трубадуров, нимало не заботясь о том, смогут ли его читатели отличить аккузатив от аблятива. Далее следует характеристика одно- и двухпадежных имен женского рода (215—234), краткий список несклоняемых (235—243) и отдельные замечания касательно склонения прилагательных, местоимения *tot*, субстантивированных инфинитивов, числительных и неравносложных существительных, и прилагательных, а также указательных и притяжательных местоимений. Далее автор переходит к наречиям, где выделяет краткую и длинную формы: *largamen*—*largamenz*, не задерживается на прочих неизменяемых, т. е. союзах, предлогах и междометиях, которые «легко понятны, так как повсюду они одинаковы» (342—343), и наконец попадает в глагол. Здесь стиль изложения меняется: грамматический трактат превращается в своего рода «Заметки»: Вождя, скромный учитель, упоминавший особенности разговорного узуса (165—168) и даже допускаявший варианты употребления (244—248), — в строгого кодификатора. Видаль рассматривает всего три вопроса: 1) парадигму презенса индикатива глагола «быть» (344—348), 2) соотношение 1-го и 3-го л. ед. ч. наст. вр. индикатива у глаголов *traire* < лат. *trahere* < *creire*, лат. *credere* и их композитов (353—408), т. е. *trac*—*traï*, *creï*—*cre* и т. д., и 3) аналогичную омонимию форм в 1—3-м л. ед. ч. претерита индикатива глаголов *traïr*, *sufrir*, *ferir* и т. д. (408—425). Автор всюду стремится устранить давно укоренившуюся омонимию, в частности в парадигме «быть» он тщательно разводит 1-е л. ед. *suï* (обычнее *so(n)*!) и 3-е л. мн. *son* и т. д. Здесь обильно цитируются знаменитые трубадуры, которые в своих канцонах порой допускали «ошибки» против устанавливаемых Видалем правил. Остальная часть трактата (он насчитывает всего 473 строки) посвящена анализу аналогичных, порой допускаемых (*leal* — *leau*, *talen* — *talan*, 436), но чаще отвергаемых дублетных форм.

Таким образом, смысл «Принципов» Видаля сводится к следующему: тот, кто хочет писать стихи (*vers*), канцоны или сирвентесы,

---

ванных греков: «. . . guardan los mesmos vocablos, salvo que no saben la gramática, sino que no adjetivan. . . Dirá el buen griego latino: *blepo* en *uanthropon* „veo un hombre“; dirá el vulgar: „*blepo* en *anthropo*“. Veis aquí los mesmos vocablos sin adjetivar» (Villalón. *Viaje de Turquía*. Coll. Águilar s. a., 324—325). *Adjetivar* здесь означает «склонять», «соблюдать правила склонения».

должен пользоваться лимузинским,<sup>51</sup> для которого характерно в первую очередь склонение, — его правила излагаются очень подробно, так как в каталанском падежная флексия давно исчезла, — а в остальном он должен изучать произведение лимузинских (в широком смысле слова) трубадуров<sup>52</sup> — происхождение трубадура было нетрудно установить из его биографии, *vida*, — не забывая о том, что кое в чем ошибаются даже самые знаменитые. Эта простая и весьма увлекательно изложенная теория,<sup>53</sup> вероятно, немало способствовала расцвету поэзии трубадуров в Каталонии,<sup>54</sup> но нельзя не признать, что в конечном итоге более правыми оказались оппоненты Видаля: именно отход от чужеземной, хотя и родственной, традиции привел к возникновению местных поэтических школ — галисийской, сицилийской, каталанской и т. д. Неизбежность этой эволюции обусловлена значительными различиями между средневековыми романскими языками (впоследствии несколько смягченными с утратой окситанским склонения) в отличие, скажем, от древнегреческих диалектов, где почти за каждым закрепился тот или иной литературный жанр, «диалектность» которого обычно сводится к некоей фонетико-лексической патине.<sup>55</sup> С другой стороны, не менее естественно, что появление новых тенденций вызывало сопротивление со стороны «профессионалов старой школы», к каковым несомненно надо причислить Раймона Видаля.

Как уже говорилось выше, трактат Видаля был весьма популярен не только в Каталонии, но и в Италии: три из четырех важнейших рукописей В, С и L — они содержат и трактат Юка Файдита — итальянского происхождения. Две последние из них восходят к переработанной версии (они напечатаны в аппендиксе № 1),<sup>56</sup> представляющей некоторый интерес, в частности, ее автор дополняет характеристику склонения имен мужского рода указанием, что именительный и звательный противопоставляются прочим падежам, «которые тоже имеют одинаковую форму, и называются эти четыре падежа (род., дат., вин., твор. — *A. Ч.*) косвенными» (*oblig*=лат. *obliquus* 135—137); более четко сформулированное «правило -s» иллюстрируется специальными примерами, в том числе и новой цитатой. Дополнительные примеры и цитаты встречаются и в других местах итальянской версии,<sup>57</sup> но, к сожалению, ее автор, неизвестный

<sup>51</sup> На этом автор еще раз настаивает в конце трактата (430—432, 443—445).

<sup>52</sup> «Пусть он спросит у тех, кто хорошо изучил язык, и пусть посмотрит, как это делали хорошие трубадуры, ибо к большому знанию не прийти иначе как через большой опыт и изощренность» (432—434).

<sup>53</sup> Ср.: *L u g e s e n A. T. Las Razos de trobar // Etudes romanes dédiées à A. Blinkenberg. Copenhagen, 1963. P. 92* (автор восторгается стилистическими достоинствами введения).

<sup>54</sup> О каталонских трубадурах см.: *Terr y A., Rafel J. Introducció a la lengua y la literatura catalanas. Barcelona, 1977. P. 86—95.*

<sup>55</sup> О греческих литературных диалектах см.: *Meillet A. Aperçu d'une histoire de la langue grecque. Paris. 1913. P. 148—150.*

<sup>56</sup> См.: *Razos, 147—159.* Текст рукописи С опубликован уже Штенгелем (см. выше, примеч. 40).

<sup>57</sup> См. V в.: *Razos, p. XXII—XXIII, tabl. V b.*

итальянский окситанист середины XIII в., работал с очень плохой рукописью «Принципов», и в результате его текст полон лакун и всяческих искажений. Все эти подробности существенны для нас по той причине, что на версии CL (в стемме Маршалла)<sup>58</sup> основывается стихотворное переложение «Принципов стихосложения» — «Наука согласования» (*Doctrina d'acort*) Терраманино из Пизы. Это любопытное окситанское подражание латинским грамматическим поэмам рубежа XII—XIII вв. *Doctrinale* Александра де Вилладеи и *Graecismus* Эберхарда де Бетюн<sup>59</sup> было написано на Сардинии в самом конце XIII в., где автор служил в пизанских владениях на севере острова (Пиза контролировала Галлюру с конца XII по XIV в., когда на острове утвердились каталанцы), и сохранилось в одной-единственной каталанской рукописи Н конца XIV в., содержащей опус Видаля и целый ряд каталанских грамматико-поэтических трактатов.<sup>60</sup> С грамматической точки зрения, сочинение пизанского окситаниста характеризуется новым набором цитат (из 43 стихотворных примеров только 3 восходят к «Принципам» Видаля<sup>61</sup>), прозаическими вставками парадигм склонения существительных, прилагательных и местоимений, независимым отношением к своему источнику (в частности, автор не принимает видалевской теории *adiectivum*, понимая под этим термином только имя прилагательное, причастие и местоимение — 63—68, ср. примеры в 93—96, где местоимения, однако, не фигурируют), а также совершенно оригинальной терминологией: *chan* и *chantar* 'песнь' вместо видалевского *romans* 'романский (народный) язык', *anar* (субстантивированный инфинитив от *anar* 'идти') 'форма' (слова), *variari*, *variament* 'склонение', *cors* = лат. *cursus* 'тип склонения', *primier* наряду с *sengular* 'единственное число', *parlar* и *parladura* как синоним *paraola* 'слово'.<sup>62</sup> В Италии, где окситанский начинал выходить из моды, написанная восьмисложником поэма Терраманино, по-видимому, не имела успеха, но в Каталонии, куда она проникла скорее всего через Альгеро, каталонскую колонию на северо-западном побережье острова, окситанская поэтическая традиция и интерес к окситанской грамматике сохранились намного дольше.

### 3. Жофре де Фуша и его «Правила стихосложения» (*Regles de trobar*)

Свидетельством этого интереса является прозаическая переработка «Принципов стихосложения», принадлежащая бенедиктинскому монаху Жофре де Фуша и написанная, как сообщает в предисловии сам автор, «по повелению благородного и высокочтимого синьора дона Хайме, милостью божией короля Сицилии, который

<sup>58</sup> Razos, p. XI—XII.

<sup>59</sup> О них см. выше.

<sup>60</sup> Razos, p. XI—XII.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. XXX—XXXI, tabl. XIII.

<sup>62</sup> См.: Index of technical terms в издании Маршалла (Razos, p. 173—179).



ревностно и с любовью упражняется в поэзии»<sup>63</sup> (речь идет о Хайме II, короле Арагона и Каталонии с 1291 по 1327 г., правившем Сицилией с 1286 по 1291 г., т. е. во время пребывания Жофре на Сицилии, где документ, датированный маем 1293 г., именует его аббатом монастыря св. Иоанна Отшельника в Палермо).<sup>64</sup> Целью автора, по его словам, было составить «что-то вроде учебника на романском языке, с помощью которого люди, не знающие „грамматики“ (последние, как указывается выше, могут прибегнуть к Видалю. — А. Ч.), но обладающие острым и ясным умом, могли бы лучше узнать и изучить науку стихосложения» (14—15). Так как Жофре был известен до тех пор главным образом как искусный администратор, это несколько странное королевское поручение несомненно говорит о желании арагонского дома поддержать высокие культурные традиции штауфенов, наследниками которых на троне Сицилии они являлись.

Возложенную на него задачу Жофре выполнил, как всегда, чрезвычайно добросовестно. Трактат начинается с перечисления и краткого анализа девяти правил стихосложения: 1) тема (*rayso* — она должна сохраняться до конца, например военная сирвента не может перейти в поношение или в любовную канцону); 2) манера (объясняется структура канцоны); 3) число (согласование имени и глагола в числе); 4) род (*linatge* — согласование имен в роде); 5) время (попытка наметить согласование времен); 6) рифма (с рассуждениями по поводу ударения); 7) падеж (очень краткое описание «правила-*s*» с отсылкой к дальнейшему изложению); 8) здесь повторяются рассуждения Видаля о необходимости блости чистоту речи и не примешивать в выбранный тобою язык — французский или провансальский — слов из соседних языков, которые не имеют в нем хождения; при этом упоминаются сицилийский и галисийский как возможные компоненты «смешения» (173), важное свидетельство растущего влияния соответствующих поэтических школ,<sup>65</sup> 9) артикль (здесь впервые в истории романской грамматики приводится и иллюстрируется примерами парадигма определенного артикля — 188—209).<sup>66</sup> За этим оригинальным маленьким катехизисом трубадурики с его причудливым набором грамматических, стилистических и стиховедческих правил следует подробное изложение падежной флексии (210—476). Оно предваряется любопытным разграничением имени существительного и имени прилагательного (218—240), опи-

---

<sup>63</sup> Мы цитируем по изданию Маршалла (Razos, p. 56—91, комментарий, 128—136).

<sup>64</sup> Ibid., p. XXIII.

<sup>65</sup> Вряд ли есть основания приписывать Жофре, как делает Маршалл (Razos, p. 129 ad locum), мнение о «пригодности для поэзии» (*suitable for poetry*) указанных языков: со стороны автора провансальской грамматики это выглядело бы весьма странно.

<sup>66</sup> На существование артикля в романских языках указывалось и ранее, см.: H e i n i m a n n S. Die Lehre vom Artikel in den romanischen Sprachen. // VR 1965. Bd 24, N 1. S. 31, Anm. 24.

раующимся не столько на Присциана, сколько на Юка Файдита,<sup>67</sup> однако с акцентом на согласовании, интерес к которому обнаруживается уже в только что рассмотренных 9 правилах (три из них касаются тех или иных видов согласования). Влияние Юка, вернее версии С «Провансальского Доната», обнаруживается и в характеристике номинатива и аккумулятива их позицией по отношению к сказуемому (Regles 274—276, ср. версия С 42),<sup>68</sup> но Жофре излагает материал гораздо подробнее и шире, включая и предикативные глаголы и не скупясь на примеры. Столь же обстоятельно освещаются и прочие падежи: для родительного приводятся дублетные формы без *de* типа *la merce Deu* 'милость Божия'; в параграфе о дательном упоминаются слитные формы предлога *a* и артикля: *a lo rey—al rey*; accusativ определяется не только постпозицией к глаголу, но и некоторыми стоящими перед ним предлогами; для аблятива предлоги (рефлексы лат. *ab, sine, in, sub, super* и т. д.) являются единственным показателем. Затем автор переходит к анализу флексии в указательных и притяжательных местоимениях (Regles 402—425), в отглагольных именах типа *amador / amaure* (в начале изложения грамматики они даже выделены в особую часть речи — Regles 214), в сравнительной степени прилагательных и в именах неравносложных. Говоря о наречиях, Жофре отмечает, что некоторые из них одновременно являются прилагательными,<sup>69</sup> например *be, fort, suau, mal, gen* и т. д. Глагол тоже излагается полнее, чем у Видаля: сначала перечисляются все наклонения (*maneyras*, как в версии С «Доната»),<sup>70</sup> объясняются их названия, а затем каждое из них рассматривается отдельно, причем для индикатива даже приводятся некоторые парадигмы. Попутно обсуждаются рекомендации Видаля, с которым Жофре далеко не всегда соглашается, а также его собственные наблюдения. В целом, хотя и не лишенный отдельных фактических неточностей, трактат Жофре де Фуша свидетельствует о самостоятельности, информированности и наблюдательности его автора.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Маршалл, полемизируя с Ли Готти (см.: *Jofre de Foixà. Vers e Regles de trobar* / Ed. E. Li Gotti. Modena, 1952. P. 17, n. 22 — остался нам недоступен), категорически отрицает наличие какого-либо влияния со стороны «Провансальского Доната» на «Правила стихосложения» Жофре, хотя последние писались в Палермо, бывшей столице Фридриха II, для придворных которого за сорок с небольшим лет до этого Юк составил свой трактат (Razos, p. LXXIV). Однако Regles 230 «*car beutatz ne bondatz ni bellesa no podon esser sino en los noms qui han sustancia*» слишком близко утверждению Юка Файдита, что «(bos) ven de bontat, que bos non pot om esser ses bontat» (Donatz, 11), чтобы это сходство могло объясняться происхождением из какого-то неизвестного нам общего источника (см. выше, с. 82).

<sup>68</sup> См. выше.

<sup>69</sup> Точнее, «именами» (*noms* — Regles 490): термина *adiectivus* автор не употребляет, хотя приводит его на с. 234, прибегая в крайних случаях к описаниям, ср. 218—240.

<sup>70</sup> Regles, 508 ss.; Donatz, С 264, cf. Razos, p. 134 ad locum.

<sup>71</sup> Razos, p. LXXIX—XCIII. О Жофре де Фуша и его сочинении см. также: Гринина Е. А. Грамматические и риторические понятия в средневековых трактатах Прованса и Каталонии. Автореф. канд. дис. . . М., 1986.

Можно только удивляться его относительно слабой популярности: «Правила стихосложения» сохранились лишь в двух каталанских рукописях XIV в., уже известных нам Н и R.

#### 4. «Законник любви»

В начале XIV в., в эпоху экономического и политического благополучия для всей Франции, в Тулузе, уже давно присоединенной к королевству, но сохранившей некоторую автономию,<sup>72</sup> возрождается интерес к поэзии трубадуров. На сей раз попытку поддержать угасающую куртуазную лирику предпринимают горожане. Они образуют «Консистирию веселой науки» (*Consistori del Gai Saber*), которая с 1324 г. организует ежегодные поэтические конкурсы, так называемые «Цветочные игры» (*Jòcs florals* — призом служили золотые изображения цветов, сначала фиалка, затем шиповник, амарант и ноготок; средства на их изготовление выдавались городским капитулом, в полном составе присутствовавшим на торжественных заседаниях).<sup>73</sup> Первым канцлером консистории стал известный тулузский юрист (в 1336 г. он был одним из двух синдиков, т. е. мэров города) Гильом Молинье. Именно на него была возложена задача составить «Законник любви» — пособие для начинающих поэтов и одновременно свод правил, в соответствии с которым консистория могла бы оценивать предлагаемые на конкурс произведения. В помощь Молинье была создана специальная комиссия, в основном из членов консистории.

Работа над первой редакцией заняла девять лет (1328—1337).<sup>74</sup> Она содержит пять частей, из которых нас интересуют только первая (фонетика) и третья (морфология и синтаксис); прочие посвящены поэтике, риторике и версификации. Уже из этого сопоставления видно, что собственно грамматике отведено в «Законнике» важное, но не главное место. Показательно, что в открывающих свод «причинах, по которым были сочинены настоящие законы любви» (I, 2—4, ed. Gatiен-Arnoult),<sup>75</sup> автор объявляет своей целью: 1) собрать воедино все, что раньше было разбросано и рассеяно; 2) открыть тайны искусства древних трубадуров и 3) обуздать порочные желания влюбленных и объяснить им, какой любовью они должны любить, — т. е. грамматика отдельно не названа. Ориентация на «добрых старых

<sup>72</sup> Lafont R., Anatole Chr. Nouvelle histoire de la littérature occitane. Paris, 1970. Т. 1. P. 224 ss.

<sup>73</sup> Ibid. P. 102—105. В начале XVI в. консистория была преобразована в «Колледж науки и искусства риторики» и перешла на французский язык (P. 229 ss). Только в 1895 г. «Академия цветочных игр» под влиянием Фредерика Мистрала вернулась к окситанскому. См. также: Jéris F. de Histoire critique des Jeux floraux (1323—1694). Toulouse, 1912 (Bibl. méridionale. II sér. 15).

<sup>74</sup> Jeanroy A. Las Leys d'Amors // Histoire littéraire de la France. Paris, 1949 (1941). Т. 48.

<sup>75</sup> Monuments de la littérature romane depuis le 14<sup>me</sup> siècle / Publ. par Gatiен-Arnoult M. Paris; Toulouse, 1849. I—III. Окситанский текст снабжен параллельным французским переводом.

трубадуров» (*bos antic trobadors* — 1—2) при ближайшем рассмотрении оказывается в чисто языковом плане обманчивой: на самом деле трубадуры Молинье знает довольно плохо и практически опирается на узус своего родного города.<sup>76</sup> Но он знаком с грамматическими теориями своего времени и помимо Присциана и Доната, которым в основном он следует, упоминает Эверхарда из Бетюна и Иоанна из Генуи, использует *Doctrinale* Александра де Вилладеи.<sup>77</sup> Из непосредственных предшественников цитируется только Раймон Видаль (II 402); не вполне ясно, был ли ему известен «Провансальский Донат» Юка Файдита.<sup>78</sup>

В изложении фонетики (I 12—93) обращает на себя внимание дифференциация гласных на полнозвучные (*plenissonans* — а, е, і, о, u) и «полузвучные» (*semissonans* — а, е, о): последние предлагается различать в рифмах посредством поставленной внизу точки (I 16—18) — этот прием впоследствии вошел в арсенал фонетической транскрипции.<sup>79</sup> Анализ исходных латинских написаний *sum* (1 ед. от «быть», ср. окс. *so(i)*), *sum* и т. д. едва не приводит автора к открытию фонетического закона лат. *y* > окс. *o*, но Молинье совершенно не интересуется диахрония: он устанавливает правила и в данном случае высказывается за живой узус (*usatges*), хотя в отдельных случаях, напр. *sumpromes*, *denunciar* и т. д., он допускает латинизацию (*segon art.*) К дифтонгам относятся только нисходящие: *au*, *eu*, *ai* и т. д., в то время как восходящие *ya*, *ye*, *ie* характеризуются как сочетание двух слогов и именуется «ложными» дифтонгами (I 20—22). Очень подробно разбираются гиагы и стыки согласных, которые следует избегать в стихах. Для заднеязычных с *g* отмечается различное звучание перед а, о, u («звучит слабо», *suavmen*) и е, і («звучит сильно», *fortmen* — I, 32). Примечательно и указание, что звонкие оглушаются в конце слова (34), равно как и перечень всех функций графемы *h* (36—38), «сильное» *g* в абсолютном начале (40) и т. д. Автор говорит также об апокопе, синкопе, синалефе, об эквивоках, синонимах и случаях изменения значения с изменением места ударения (50—56). Завершает эту часть обширный, но очень несамостоятельный трактат об ударении (56—92).

Столь же методично рассматривают Молинье и его коллеги — их присутствие в этом разделе гораздо ощутимее — части речи (II 4—

---

<sup>76</sup> J e a n r o u A. *Las Leys d'Amors*. P. 165: «En pratique sa norme, surtout dans son traité de morphologie, est nettement l'usage toulousain de son temps».

<sup>77</sup> *Ibid.* P. 166. Пояятийный указатель и указатель имен к изданию Гатьен-Арну опубликованы Жаном Англад: *Revue des langues romanes*, 1925, t. 63, p. 69—82.

<sup>78</sup> А. Жанруа в этом сомневается, см.: J e a n r o u A. *Las Leys d'Amors*, p. 171, п. 1, в то время как П. Лиениг утверждает, что Молинье использовал версию С «Доната», см.: L i e n i g P. *Die Grammatik der provenzalischen Leys d'amors verglichen mit der Sprache der Troubadours*. Th. I. *Phonetik*. Breslau, 1890. S. 13—23.

<sup>79</sup> Например, Эмиль Леви применяет его в *Provenzalisches Supplement-Wörterbuch* и *Petit dictionnaire provençal-français* для обозначения закрытых е и о; P a s e r o N. *Sulle fonti del libro primo delle «Leys d'Amors» // Studi romanzi*, 1965. V. 34. P. 125—185 (осталась нам недоступной).

430). В основном это изложенные по-окситански и на окситанском материале премудрости латинской грамматики того времени, среди которых порой и романисты могут почерпнуть немало интересного. Так, консистория впервые в истории романской грамматики вводит сложное прошедшее наравне с простым в качестве претерита перфекта: *obtuli. yeu ufri et hay ufert. amavi. yeu amiey e hay amat* (12, ср. 238 и 242). Любопытно, что некоторые ее члены пошли здесь гораздо дальше самого канцлера, характеризуя как перфектные и формы со вспомогательным «быть» типа *yeu me sou ufert* 'я предложил себя', в то время как последний относит их к настоящему и рекомендует писать *yeu me sou uferts*. Вероятно, специальное заседание было посвящено вопросу о согласовании причастия (382—384). Мнения разделились; одни настаивали на неизменяемости причастия, другие допускали согласование лишь в случае предшествования прямого дополнения, т. е. *bon obra hay fayta* или *yeu hay bon obra fayta* (в позиции и, хотя и реже, в прозе подобные «разорванные» конструкции еще бытовали),<sup>80</sup> но возобладала точка зрения тех, кто считал согласование обязательным даже при постпозиции дополнения, т. е. *yeu hay legida ma lessa, yeu hay cantada una chanso* и т. д.

Далее отметим описание аналитических степеней сравнения (54—58) и в особенности весьма примечательное утверждение, что в «романском», т. е. в окситанском, нет как такового склонения (112). Обосновывается это тем, что функцию латинской флексии в родительном и дательном выполняют служебные слова (в терминологии Молинье *habitut*, мн. ч. *habitutz* < ср.-лат. *habitus* 'отношение'),<sup>81</sup> и тем самым исчезает возможность различать склонения. Полностью верным признать это наблюдение, однако, нельзя, так как именно в окситанском, как и в старофранцузском, различие именительного и винительного удерживалось довольно долго, хотя ко времени, когда писал Молинье, оно уже отмирало;<sup>82</sup> кроме того, наш автор отрицает и существование в окситанском спряжения ввиду того, что в нем не сохранилось противопоставления долгих и кратких инфинитивов, т. е. парадигмы пассива, ср. *legere* 'читать'—*legi* 'быть читаемым'. Никаких практических выводов из постулированного отсутствия склонения не делается, и в дальнейшем служебные слова и предлоги анализируются согласно традиционной падежной схеме, хотя в разделе о предлогах еще раз подчеркивается, что романский аблатив не отличается от аккузатива (424—426). Молинье, таким образом, стоит на позициях универсальной грамматики XIII—XIV вв. (*est diver-*

<sup>80</sup> См.: Черняк А. Б. Интеркаляции в формах прошедших времен с *aver* староокситанского глагола // Структура языка и языковые изменения. М., 1985 (Лингвистические исследования 1985). С. 215—222.

<sup>81</sup> См.: Heinimann S. Die Lehre vom Artikel... S. 38. Этот термин встречается в основном у модистов: Мишеля де Марбэ, Сигерия Брабантского, в глоссе *Admirantes* и т. д.

<sup>82</sup> Jensen F. The Old Provençal Noun and Adjective Declension. Odense, 1976 (*Études romanes de l'Univ. d'Odense* 9). P. 123 (исчезновение «правила-s» в разговорном языке датируется концом XIV в.). См. также: Jeaingu A. *Las Leys d'Amors*. P. 195.

sitas solo in accidentibus); впрочем, уже Петр Гелийский, выдающийся грамматик середины XII в.,<sup>83</sup> относил падеж к общим свойствам имен.<sup>84</sup>

Не менее значимы достижения тулузских ученых и в области синтаксиса. Он не рассматривается отдельно, как у Присциана, посвятившего две последние книги своего «Курса» учению о конструкции (так называемый *Priscianus minor*), а разбивается по частям речи. Сразу же за их перечислением и определением следует изложение согласования (*regimen*<sup>85</sup> — 6—14); здесь следует отметить «феодалную» классификацию частей речи: глагол только управляет, имя и причастие управляют и управляются, предлог добровольно служит, подобно оруженосцу и дворянину, местоимение всегда должно управляться (!) и группа «дураков», которые ни управляют, ни управляются, — наречие, союз и междометие (6).<sup>86</sup> Также заслуживает внимания замечание Молинье, что романский аккузатив отличается от номинатива только позицией после глагола (8) — по всей видимости, заимствование из версии С «Доната».<sup>87</sup> В разделе служебных слов (*habitz*) очень интересны описание употребления определенного артикля (122—124), в конце раздела об имени параграфы о субстантивированных инфинитивах (172—176) и прилагательных среднего рода (176—178), а также характеристика императива (242—244) и любопытное *coniunctio temporum* (258—348), подробнейший перечень всевозможных комбинаций времен и наклонений,<sup>88</sup> предваренный исчерпывающим списком союзов и союзных слов, которые именуются «ключами наклонений и времен» (248—256). Все это иллюстрируется целым морем примеров, но лишь незначительное число их представляет собой стихотворные цитаты, в основном из трубадура конца XIII в. Ат де Монса (78), творчество которого Молинье и его коллеги почему-то хорошо знали. Таким образом, первая и третья части «Закольника любви» представляют собой весьма полную — включая словосложение, рассмотренное в параграфе об именной акциденции «фигура» (92—102),<sup>89</sup> — грамматику окситанского языка

<sup>83</sup> О нем см.: Г р о ш е в а А. В. Грамматические учения западноевропейского средневековья // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. С. 222 и сл.; *The Summa of Petrus Helias on Priscianus Minor* / Ed. J. E. Tolson. Copenhagen, 1978. P. 11, 159 ff.

<sup>84</sup> См.: Г р о ш е в а А. В. Грамматические учения. . . С. 227, 229.

<sup>85</sup> О термине *regimen* у средневековых грамматиков см.: С o v i n g t o n M. *Syntactic Theory in the High Middle Ages*. Diss. Yale, 1982. P. 12 ff.

<sup>86</sup> Наклонения тоже приводятся в определенной и мотивированной последовательности: индикатив, императив, оптатив, конъюнктив и инфинитив (242).

<sup>87</sup> См. выше, с. 89. Отсутствует в списке П. Лиенига, см. выше, примеч. 78.

<sup>88</sup> Образцом, по всей видимости, послужил трактат римского грамматика IV в. Диомеда «*De coniunctione temporum*» (*Grammatici Latini* / Ed. H. Kell. Lipsiae, 1855. V. 1. P. 388—395): лат. *iungitur* 'соединяется' у Диомеда соответствует окситанское *sajusta* (в орфографии Молинье, пишущего энклитики слитно).

<sup>89</sup> См. также раздел *species* (22—30), где перечисляются различные способы деривации, см.: J e a n г о у A. *Las Leys d'Amors*. P. 191—192. В очерке словосложения А. Жанруа находит «...une liste très riche de mots composés, dont plusieurs ne se rencontrent pas ailleurs» (*ibid.*, 194), т. е. настоящее маленькое исследование.

XIV в. в его тулузской разновидности. И, несмотря на отдельные лакуны и прямые ошибки, например *amadors* = лат. *amator*, трактуемое как *Part. Fut. amaturus* (60—62) и т. д., можно утверждать, что ничего подобного прочие «новые» языки к тому моменту не имели.

Сразу же по окончании «Законника» Молинье принял ся перелажать его стихами — в лучших традициях средневековой школы, записывавшей под диктовку профессора или лектора и потом заучивавшей записанное; пример Терраманьино, за полтора столетия до этого версифицировавшего трактат Раймона Видаля,<sup>90</sup> был ему, вероятно, неизвестен. К 1343 г. возникли «Цветы веселой науки»<sup>91</sup> (*Las Flors del Gay Saber*), написанный восьмисложником, обычным размером дидактических поэм, трактат в 7615 стихов. Собственно лингвистическая часть подверглась при этом основательному сокращению: на фонетику было отведено примерно 950 стихов (312—1274), на части речи — и того меньше (3288—3920). Места более или менее хватило только на имя; для глагола и прочего дается отсылка к «Законнику любви». Во второй прозаической редакции «Законника», начатой в 1355—1356 гг.,<sup>92</sup> первая и третья части были соединены и сокращены, например трактат о сочетании времен был сжат с 90 до 8 страниц. Она осталась незаконченной: за третьей, фонетико-морфологической, должны были следовать четвертая и пятая.<sup>93</sup> Сам факт появления второй и третьей редакций свидетельствует о том, что интерес к окситанскому языку и к окситанской грамматике даже в самом Лангедоке постепенно падал, и чтобы хоть как-то поддержать его, приходилось сокращать и упрощать. На поэтический горизонте уже вставали новые светила: любопытно, что Петрарка был проездом в Тулузе в 1329 г.<sup>94</sup> Но свою задачу труд Молинье и его товарищей безусловно выполнил: хотя и не вернув себе былого блеска, старокситанская поэзия и вместе с ней язык трубадуров просуществовали до конца XV в.,<sup>95</sup> а поэтический конкурс 3-го мая и по сей день остается одной из живописнейших достопримечательностей Тулузы.

С живейшим вниманием за деятельностью тулузской консистории следили в Каталонии. Уже в сентябре 1324 г. Раймон де Корнет, по всей видимости участвовавший в двух первых майских конкурсах (в 1333 г. он был награжден золотой фиалкой), сочиняет для каталонского инфанта Пера, сына Жауме II, краткое стихотворное переложение («Доктринал» насчитывает всего 543 стиха)<sup>96</sup> еще только

<sup>90</sup> См. выше, с. 94. О «Науке поэзии» Раймона де Корнет см. ниже.

<sup>91</sup> См.: *Las Flors del Gay Saber* / Publ. par J. Anglade. Barcelona, 1926 (Institut d'estudis catalans. Sec. fil. Memories, I, 2); Jeanroy A. *Las Leys d'Amors*. P. 213—215.

<sup>92</sup> См.: *Las Leys d'Amors* / Publ. par J. Anglade. Toulouse; Paris, 1917—1920. I—IV. (Bibliothèque méridionale, I série, p. 17—20). Т. III содержит текст третьей части, т. IV — исследование памятника.

<sup>93</sup> Jeanroy A. *Las Leys d'Amors*. P. 223.

<sup>94</sup> Ramet H. *Histoire de Toulouse*. Toulouse, 1935. P. 189.

<sup>95</sup> Сохранилась весьма объемистая позднесредневековая антология: *Les joies du gai savoir. Recueil de poésies couronnées par le Consistoire de la Gaie Science* (1324—1484) / Publ. par J. B. Noulet et A. Jeanroy. Toulouse, 1914.

<sup>96</sup> *Raimon de Cornet. Doctrinal de trobar / Deux manuscrits provençaux du XIV siècle* / Publ. par J.-B. Noulet et C. Chabaneau. Montpellier; Paris, 1888.

обсуждавшегося «Законника»: в первой части рассматриваются части речи, во второй — фонетика, поэтика, риторика и т. д. Он упоминает курьезное *Part. Fut. amadors* (97) (см. выше, с. 101), но избегает термина *habitud*, а при характеристике гласных не различает «полнозвучных» и «полузвучных». В 1341 г. другой тулузский поэт и грамматик, автор поэтико-риторического «Компендия», Жоан де Кастельноу пишет обширный комментарий к этой поэме, критикуя, исправляя и дополняя своего предшественника и как ученого, и как версификатора; «Глоссарий» тоже направляется инфанту.<sup>97</sup> Жоан постоянно ссылается на «Законник» и употребляет термин *habitud*. В вопросе о согласовании причастия сложных форм оба трубадура занимают противоположные позиции: Раймон рекомендует писать *Ye u ay seguit ta maire* (191), но *Ye u ay ma sor seguida* (194), в то время как Жоан, следуя Молинье, предпочитает и в первом случае согласование.<sup>98</sup> Впрочем, к этому моменту каталонцы уже должны были располагать и самим *opus maius*: из четырех существующих рукописей всех трех версий две, в том числе единственный список «Цветов веселой науки», находятся в Барселоне. Следующим шагом явилось создание в 1393 г. собственной консистории в Барселоне с аналогичными «Цветочными играми»; ее основателями были Луис де Аверсо, автор незаконченной каталонской переработки «Законника» *Torcimany* («Толмач»),<sup>99</sup> и Жауме Марч. На играх обнаружилось дарование ряда интересных поэтов, во главе которых стоит знаменитый Аусиас Марч (+1458).

Так на протяжении всей своей недолгой истории староокситанская грамматика оставалась служанкой поэзии. Но и в этой подчиненной роли она смогла пройти немалый путь — от «Донатов» и «Правил» до солидного трактата в двух частях и объеме почти в 300 страниц текста, выполненного по последнему слову тогдашней науки не одиночкой-энтузиастом (эмигрантом-учителем, модным поэтом или влиятельным придворным), а целым научным коллективом под эгидой настоящей академии.<sup>100</sup> Но в силу обстоятельств она не имела продолжения, уйдя в небытие вместе с той поэзией, которой служила, и грамматика более удачливых романских наций развивалась в дальнейшем — много позже — почти без ее влияния.

P. 199—215. См. о нем: *Nouvelle histoire de la littérature occitane: L a f o n t R., A n a t o l e* Chr. P. 230—232, 234—235.

<sup>97</sup> Raimon de Cornet. *Doctrinal de trobar*. P. 216—239. См. также: Castellnou. J. de Segle XIV. *Obres en prosa* / Ed. per J. M. Casas Homs. Barcelona, 1969 (I. Compendi. . . del Gai Saber (p. 75—158); II. Glosari al Doctrinal (159—204)).

<sup>98</sup> *Deux manuscrits provençaux. . .*, 225 ad locum.

<sup>99</sup> Опубликован в: Casas Homs J. M. *Torcimany de Luis de Averçó*. 2 vols. Barcelona, 1956. См. также: В о л ь ф Е. М. Развитие каталонской прозы в XIII—XIV вв. // Формирование романских литературных языков. М., 1984. С. 73—74. Грамматическая часть сильно сокращена, но все же отметим употребление термина *abitut* (179, 181).

<sup>100</sup> *L a f o n t R. Las Leys d'Amors et la mutation de la concience occitane* / *Revue des langues romanes*. 1967. V. 77, n°. 1966, 13—59 (осталась нам, к сожалению, недоступной).



А. Б. Черняк

Несравненно более популярный уже в средние века,<sup>1</sup> французский тем не менее стал изучаться несколько позже и в целом на более низком уровне, чем окситанский. Казалось бы, в Италии, где была написана первая окситанская грамматика, не говоря уже о сочинениях Терраманьино из Пизы и Жофре де Фуша,<sup>2</sup> и где очень усердно читали, переписывали и даже сочиняли по-французски, особенно на севере,<sup>3</sup> должны были проявить интерес к французской грамматике. Этого, однако, не произошло, что, впрочем, и не удивительно: ведь в средневековой Европе живые языки с их еще слабыми по сравнению с античностью литературами, как правило, не изучались.<sup>4</sup> Успех окситанского — исключение, вызванное особыми обстоятельствами.

Появление в Англии если не грамматик в полном смысле слова, то по крайней мере пособий по французскому языку тоже объясняется

<sup>1</sup> О престиже французского см.: В i s c h o f f В. The Study of the Foreign Languages in the Middle Ages // *Speculum*, 1961. 36/2. P. 209—224, особенно 210; L u s i g n a n S. Parler vulgairement. Les intellectuels et la langue française aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles. Montréal; Paris, 1986. P. 84—85.

<sup>2</sup> См. раздел «Первые окситанские грамматик».

<sup>3</sup> Французский был хорошо известен и на юге Италии благодаря норманнам, основавшим там в 1046 г. сильное княжество, впоследствии королевство. В 1265 г. Карл Анжуйский занял трон Неаполя и обеих Сицилий, и французский на полстолетия стал административным языком его государства. О связях уроженца Умбрии св. Франциска Ассизского с Францией см.: M i g l i o r i n i В. Storia della lingua italiana. 3 ed. Firenze, 1961. P. 127. Но наиболее распространен был французский на севере, в Пьемонте, Ломбардии и владениях Венеции, где с 1230 по 1350 г. он используется в качестве литературного языка, отчасти благодаря его близости местным галло-итальянским диалектам, см.: M e u e r P. De l'expansion de la langue française en Italie pendant le moyen âge // *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche*. V. IV. Roma, 1904. P. 61—104; B r u n o t F. Histoire de la langue française. Paris, 1924. T. 1. 358 ss.; R o n s a g l i a A. Le origini // *Storia letteraria dell'Italia* / Ed. Cecchi E., N. Sapegno. T. I. Le origini ed il Duecento. Milano, 1965. 224 ss. Образцы так называемой «франко-итальянской» литературы можно найти в любой антологии староитальянской литературы, см., например: *Le Origini. Testi latini, italiani, provenzali e franco-italiani*. A cura di A. Viscardi etc. Milano; Napoli, 1956. P. 1053—1249.

<sup>4</sup> См.: P e r c i v a l W. K e i t h. The Grammatical Tradition and the Rise of the Vernaculars // *Historiography of Linguistics*. Amsterdam, 1975 (Current Trends in Linguistics / Ed. by Sebeok Th. A. V. XIII). T. 1. P. 247; L u s i g n a n S. Le français et le latin aux XIII—XIV siècles: pratique des langues et la pensée linguistique // *Annales*, 1987. 42/4. P. 955—967.

вполне определенными причинами. Дело в том, что французы, пришедшие на остров в 1066 г. вместе с Вильгельмом Завоевателем, не растворились через три поколения в иноязычном окружении, как естественно было предполагать, учитывая судьбу их предшественников датчан,<sup>5</sup> а напротив, благодаря постоянному притоку населения с континента, где находились основные владения королей новой династии (их начали хоронить в Англии — в Вестминстере — лишь с 1272 г.<sup>6</sup>) смогли создать блестящую литературу, почти на два столетия отбросившую английский на уровень патуа.<sup>7</sup> Но так как пришельцы и местные уроженцы жили вперемешку, языковая деградация под влиянием английского стала ощущаться уже с середины XII в., а столетие спустя приобрела угрожающие размеры.<sup>8</sup> Тем не менее никто и не помышлял отказаться от французского, ставшего к тому времени административным языком — наряду с латынью — не только Англии, но и в завоеванной в 1170 г. Ирландии<sup>9</sup> и повсеместно распространившегося среди английского населения. Знать стала посылать своих детей учиться во Францию, и возник спрос на учебники, помогающие овладеть правильным французским языком.<sup>10</sup>

Первое по времени сочинение такого рода — написанная во второй половине XIII в. поэма Вальтера де Бибесворт «L'Arprise de la langue francoise» («Изучение французского языка»)<sup>11</sup> Она предназначена не для детей, а, как остроумно заметил В. Ротвелл,<sup>12</sup> скорее для их родителей, вернее, для матери, которая хочет сама обучать своего ребенка с самого раннего возраста французскому языку, но чувствует, что знает его недостаточно. Поэтому автор начинает с того, что в первую очередь объясняют детям, — с названий частей тела, делая упор не на расхожих словах: ventre, dos, bras, poitrine и т. д., а на

<sup>5</sup> См.: Stenton F. M. The Danes in England // History. 1920—1921. Т. 5; Brunner K. Die Englische Sprache: Ihre geschichtliche Entwicklung. Halle, 1950. Bd 1. S. 130 ff. с дальнейшей литературой. Тут можно вспомнить тех же норманнов во Франции, варягов на Руси и т. д.

<sup>6</sup> Brunot F. Histoire de la langue française. Т. 1. P. 366.

<sup>7</sup> Visiting J. Anglo-Norman Language and Literature. London, 1923; Legge D. Anglo-Norman Literature and its Background. Oxford, 1963. Существующее с 1937 г. «Anglo-Norman Text Society» выпустило уже около 50 томов. В библиотеках Союза эта великолепная серия представлена только разрозненными выпусками.

<sup>8</sup> Brunot F. Op. cit. P. 369. Об англо-нормандском см.: Visiting J. Op. cit. P. 27—33; Pope M. From Latin to Modern French with Especial Consideration of Anglo-Norman. Manchester, 1934; Бородина М. А. Еще раз об англо-нормандском // Philologica. Л., 1973. С. 82—88. Словарь англо-нормандского языка доведен уже до буквы Q, см.: Anglo-Norman Dictionary / Ed. by W. Stone, W. Rothwell, T. W. Reid. 1977—. К сожалению, в наших библиотеках он пока отсутствует.

<sup>9</sup> Rockel M; Über die Anglonormannen und ihre Sprache in Ireland. // Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. 1983. Jg. 72. Gesellschaftswissenschaftliche Reihe. 3. S. 338—339.

<sup>10</sup> О языковой ситуации в Англии см.: Lusignan S. Parler vulgairement. . . P. 91.

<sup>11</sup> См.: Owen A. Le Traité de Walter de Bibbesworth sur la langue française. Paris, 1929.

<sup>12</sup> Rothwell W. The Teaching of French in Mediaeval England // Modern Language Review, 1968. V. 63. P. 38.

более редких, малознакомых его читательницам, например v. 86 *messelere* («коренной зуб»): они сопровождаются написанными сверху английскими глоссами. Особое внимание обращается на род — в английском категория рода уже отпала, — а также на омонимы, ср. *levere* (в англо-нормандской орфографии) = 1. *lièvre*; 2. *lèvre*; 3. *livre* (фунт) и 4. *livre* (книга). От частей тела мы переходим к описанию дома, двора, поля, леса и т. д. Это произведение в 1345 рифмующихся попарно восьмисложных стихов пользовалось в свое время большим успехом: до нас дошло 14 рукописей с его текстом. Аналогичные «словники» составлялись и позже, например *Nominale sive Verbale in Gallicis cum expositione eiusdem in Anglicis* (ок. 1340);<sup>13</sup> поэма в 888 стихов с параллельным английским переводом или еще более поздний *Femina nova* (около 1415), обширная компиляция, включающая и трактат В. де Бибесворт; ее автору принадлежит, собственно говоря, только английский перевод, весьма интересный в лексикологическом отношении.<sup>14</sup>

К словникам по тематике примыкают разговорники. Из них древнейший — «Книга ремесел города Брюгге» (около 1349), сборник диалогов и учебных текстов по бытовой лексике с фламандским переводом *en regard*.<sup>15</sup> Особое внимание при этом уделяется ремеслам, откуда и название трактата. Значительную его часть составляет «алфавит» — беседы и образцы разговорной речи, открывающиеся обращением к представителю или представительнице того или иного ремесла, наделенным произвольно выбранным именем от Адама до Захарии (*Zacharie*). Фландрия издавна была связана с Францией политическими и торговыми интересами, и «Книга ремесел» является отнюдь не единственным тому свидетельством.<sup>16</sup> Несколько иного типа аналогичные пособия составляются в Англии: большинство их не имеет параллельного английского текста, и кроме того, ориентировано на путешествие во Францию, т. е. предназначалось для дворян.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Ed. W. Skeat in: *Transactions of the Philological Society*. 1903—1906. London, 1906. Supplement, 1—50.

<sup>14</sup> См.: Arnold E. J. *Les Sources de Femina Nova // Studies presented to M. K. Pope*. Manchester, 1939. P. 1—9.

<sup>15</sup> См.: Gessler J. *Le livre des Mestiers de Bruges et ses dérivés*. Bruges, 1931. P. 3—51.

<sup>16</sup> См.: *Gesprächbüchlein, romanisch und flämisch / Hgg. v. Hoffmann von Fallersleben*. Hannover, 1854 (Horae Belgicae, IX), новое издание: Gessler J. *Le Livre des Mestiers*. . . (около 1497—1500); *Vocabulaire pour apprendre Romain et flameng (1497—1500)*, см. издание в: Gessler J. *Le Livre des Mestiers*. . . Van Loeu A. *Nog fragmenten van een gesprekboekje // Revue belge de philologie et d'histoire*. 1935. V. 14. P. 1—23.

<sup>17</sup> См.: *La manière de langage qui t'enseignera bien adroit parler et escrire doulz François selon l'usage et la coutume de France (1396) / Ed. P. Meyer // Revue critique d'histoire et de littérature*. 1870. V. 2. P. 373—408, а также: Gessler J. *La Manière de Langage. Modèles de conversations composés en Angleterre à la fin du XIV siècle*. Bruxelles, Paris, 1934 (с важной вступительной статьей). P. 43—97 (около 1396 г.); *Un petit livre pour enseigner les enfanz de leur entre-parler commun François (1399) / Ed. Stengel E. // Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur*. 1879. Bd 1. S. 10—15; *Dialogues français (1415) / Ed. Meyer P. // Romania*. 1903. V. 32. P. 47—58; Södergard O. *Une Manière de*

Обе группы памятников представляют большую ценность как источник по разговорному французскому XIV—XV вв.<sup>18</sup>

Собственно грамматические сочинения стали появляться лишь с конца XIII в., но им предшествовало некое латентное состояние, когда французский язык, еще не будучи предметом специального изучения, использовался на стадии начального обучения латыни.<sup>19</sup> Как рано это вошло в школьную практику, мы не знаем, скорее всего еще с времен поздней античности, когда разница между обиходным разговорным языком и латынью стала отчетливо ощущаться. Первые французские переводы и обработки Доната дошли до нас в списках XIII—XIV вв., но они несомненно восходят к значительно более ранним образцам.<sup>20</sup> Они любопытны прежде всего своей уже вполне фиксированной грамматической терминологией, не обнаруживающей никаких отступлений от исходной латинской и потому очень близкой к современной, за исключением нескольких средневековых рефлексов: *muef* 87 et *passim*, мн. *mues*=*modus*, ср. окс. *mō*, *mōt*, *mōtz*, *mōu*<sup>21</sup> и *poote* 217=*potestas*, а также *votz* 30, 253=*vox* «слово».<sup>22</sup>

В качестве примеров фигурируют, естественно, латинские слова, тем не менее при рассмотрении падежей имени приводится романская парадигма, т. е. вместо *hic magister, huius magistri* и т. д. у Доната мы находим им. *le mestre*, род. *du mestre*, дат. *au mestre*, вин. *le mestre*, зват. *o tu mestre*, твор. *par le mestre*, о(-avec) *le mestre*, санз *le mestre*, *du mestre* (53—56). Никакой попытки грамматического

---

*Parler* (Ms. Cambridge, Bibl. de l'Université, I i. 6, 17) // *Neuphilologische Mitteilungen*. 1953. V. 54. P. 201—225 (конец XV в., с английским подстрочником). В последней четверти XV в. английский первопечатник Вильям Кэстон, живя в Брюгге, перевел «Книгу ремесел» на английский, и в таком виде она была издана в Вестминстере, см.: *Saxton W. Dialogues in French and English* / Ed. by H. Bradley. London, 1900 (Early English Text Society 79), перепечатано в: *Gessler J. Le Livre des Mestiers*. . . Около 1495 г. книга Кэстона была шпратски скопирована Винкеном де Ворде: спрос на французские разговорники, видимо, был высок.

<sup>18</sup> См., например: *Lofstedt L. À propos des formules de salutation au moyen âge* // *Neuphilologische Mitteilungen*. 1978. V. 79, n. 3. P. 193—215.

<sup>19</sup> См.: *Lusignan S. 1) Parler vulgairement*. . . (см. выше, примеч. 2) 35—40; 2) *Le français et le latin aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles*. . . (см. выше, примеч. 4). P. 961.

<sup>20</sup> *Heinimann S. L'Ars Minor de Donat traduit en ancien français* // *Cahiers Ferd. de Saussure*. 1966. V. 23. P. 51.

<sup>21</sup> *Levy E. Petit dictionnaire provençal—français*. 4 éd., Heidelberg, 1966. 249 s. v. *mo*.

<sup>22</sup> О старофранцузской грамматической терминологии см. *Städler Th. Zu den Anfängen der französischen Grammatiksprache. Textausgaben und Wortschatzstudien*. Tübingen, 1988 (ZRP, Beiheft 223), (осталась нам недоступной). *Potestas*, ср.-фр. *poesté*=*signification, valeur*, см.: *Mok Q.I.M. Un traité médiéval de syntaxe latine en français* // *Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Lein Gschiere*. Amsterdam, 1975. P. 51. Термин *muef/moeuf* широко употребляется еще в грамматиках XVIII в.; он встречается также: *Damouret J., Pichon E. Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française*. Paris, 1911—1940. Vol. V, § 1867—1891, см.: *Swiggers P. La plus ancienne grammaire du français* // *Medioevo Romano*, 1984. 9/2. P. 186, n. 2, а также 188, п. 16 с библиографией работ Анри Ивона по истории французской грамматической лексики.

анализа, как это имеет место у Юка Файдита или в «Законах любви» (*habitutz*),<sup>23</sup> разумеется, не делается, но и сам факт существования такой парадигмы — к тому же полностью аналогичной парадигме Юка — весьма примечателен. Не менее значима и передача прошедших времен латыни французскими аналитическими формами: «*Le verbe du preterit parfait senefie chose parfaite, sicomme legi «je lui» ou «ai leü» ou «o leü».*<sup>24</sup> *Le verbe du preterit plus que parfait senefie chose plus que parfaite, si comme legeram «je avoie leü»* (100—104). Отсюда, как и из анализа соответствующих пассажей Юка,<sup>25</sup> уже можно с полным основанием заключить, что в начале XIII в. или даже гораздо раньше аналитические формы прошедшего рассматривались как входящие в глагольную парадигму, т. е. как полностью грамматизированные.<sup>26</sup>

К этой же группе текстов относится сильно интерполированная французская версия Доната, содержащаяся в той же рукописи, что и опубликованный С. Хайниманном перевод.<sup>27</sup> По-своему оригинален и интересен составленный в XV в. крошечный трактат по латинскому синтаксису (всего 187 строк в издании К. И. М. Мока<sup>28</sup>). Его цель — преподать основные синтаксические понятия, такие как субъект и предикат (в средневековой терминологии *suppositum* и *appositum*), релятив и антецедент, разграничить существительное и прилагательное, охарактеризовать в самых общих чертах согласование и управление и т. д. Достигается это посредством составленных по-французски правил, сопровождаемых французскими или латинскими примерами с обязательным резюме в конце — латинским двух- или трехстишием, явно предназначенным для заучивания.<sup>29</sup> Примечательно, что лишь очень немногие из этих 33 стихотворных

<sup>23</sup> См. раздел: «Первые окситанские грамматики». С. 87—89.

<sup>24</sup> Для ст.-фр. *ai* < *habeo* грамматики приводят варианты *ei*, *oi*, *e*: N у г р Кг. *Grammaire historique de la langue française*. Т. 2. 2 éd. Paris, 1934. P. 100, § 123, 2. Форму *o*, по всей видимости, нужно связывать с поздней эволюцией *oi* любого происхождения в *o*, имевшей место в пикардском, а также восточных и южных французских говорах, см.: S c h w a n E., B e h r e n s D. *Grammatik des Altfranzösischen*. 9. Afl. Leipzig, 1911. S. 126, 132.

<sup>25</sup> См. раздел «Первые окситанские грамматики». С. 87—89.

<sup>26</sup> См. также наши работы: Интеркаляции в формах прошедших времен с *aver* староокситанского глагола // Структура языка и языковые изменения. М., 1985 (Лингвистические исследования, 1985). С. 215—222; Аналитическое прошедшее с «иметь» и эволюция старофранцузского эпического стиха // Западно-европейская средневековая словесность. М., 1985. С. 70—72; О форме аналитического прошедшего с «иметь» в старофранцузском (контактность и дистантность компонентов) // Взаимодействие лексических и синтаксических единиц. М., 1986 (Лингвистические исследования, 1986). С. 220—227.

<sup>27</sup> До недавнего времени она была неопубликованной, и представление о ней можно было составить лишь из эпизодических упоминаний у Тюрю, Хайниманна и Мока.

<sup>28</sup> См. выше, примеч. 22.

<sup>29</sup> Ср. определение безличного глагола: «*S'aucun verbe commence en son françoü par «on» ou par «il», ou quant il n'a point de certain suppos, il est impersonel. Unde versus: Si sine supposito certo fiat tibi sermo / Gallice vel verbum per «il» aut «on» ceperit ipsum / Impersonali verbo tunc te decet uti* (p. 40, l. 79 ss.).

резюме восходят к Doctrinal Александра де Вилладеи: большинство было написано специально для данного пособия. С некоторыми поправками оно вполне пригodiлось бы и для современной школы.

Использование французского в качестве вспомогательного языка обучения не могло не привести к его «грамматикализации», т. е. к осмыслению его грамматической структуры.<sup>30</sup> Немногие, но очень ценные свидетельства, собранные лишь в самое недавнее время,<sup>31</sup> не оставляют сомнения в том, что для грамматиков Средневековья, подолгу учившихся и преподававших в многочисленных школах и монастырях Парижа или Орлеана, французский язык с его аналитическими конструкциями не представлял никакой тайны. Уже в начале XII в. появляется термин «материнский язык» (*lingua materna*), а в третьей четверти этого столетия мы встречаем прямые указания на наличие во французском языке артикля (анонимный трактат *Ars medulina, Corrogationes Promethei* Александра Неккама, затем у Роджера Бэкона, Иоанна Дакийца (= Датчанина) и т. д.).<sup>32</sup> Еще более неожиданным выглядит проникновение артикля м. р. ед. ч. *li* в философскую и богословскую латынь, где он употребляется для подчеркивания, заменяя кавычки (впервые у Роланда Кремонского (1259); у Фомы Аквинского обнаружено 357 примеров этого узуса).<sup>33</sup> Наконец, Гильом де Мертеке (1282) широко применяет французские артикли для субстантивации по образцу греческого в своих латинских переводах неоплатоника Прокла.<sup>34</sup> Старофранцузское склонение с его противопоставлением именительного винительного: *li maistres lit — Je vois le maistre* — тонко анализируется Робертом Килвордби в комментарии к Присциану (около 1245); при этом учитываются не только собственно падежи, но и порядок слов.<sup>35</sup> В конце того же столетия о склонении говорят Иоанн Дакиец и Роджер Бэкон;<sup>36</sup> французский порядок слов рассматривается в глоссе *Admirantes*<sup>37</sup> и т. д. Сюда же относится и датируемый началом XIII в. анонимный латинский грамматический трактат (размером всего в 31 строчку!), который нередко называют «трактатом о французском спряжении».<sup>38</sup> На деле перед нами попытка описания «модусов обозначения» (*modi significandi*) французского глагола. Любопытно, что неизвестного предшественника модистов интересовали исключительно француз-

<sup>30</sup> L u s i g n a n S. *Le français et le latin...* P. 961—962.

<sup>31</sup> F r e d b o r g K. M. *Universal Grammar according to some 12 Century Grammarians // Studies in Mediaeval Linguistic Thought Dedicated to G. L. Bursill-Hall* (Historiographia Linguistica, VII). Amsterdam, 1980. P. 69—84, а также обе цитируемые здесь работы С. Люзиньяна.

<sup>32</sup> L u s i g n a n S. *Parler vulgairement...* P. 67, 28, 32, 74.

<sup>33</sup> *Ibid.* P. 75.

<sup>34</sup> *Ibid.* P. 76.

<sup>35</sup> *Ibid.* P. 27; *Le français et le latin...* P. 960.

<sup>36</sup> *Ibid.* P. 32, 74.

<sup>37</sup> *Ibid.* P. 34. Впервые уже у Тупо, см.: T h u r o t Ch. *Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au Moyen Âge*. Paris, 1868 (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. 1868. T. 22). P. 269.

<sup>38</sup> См.: M a r c h e l l o - N i z i a C. *Histoire de la langue française aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*. Paris, 1979. P. 38.

ские аналитические формы; случаев, когда латинская синтетическая парадигма сохраняется во французском, он не раскрывает, ср. начало трактата: «Modus indicativus uno modo construitur. Preteritum perfectum modi indicativi verbi activi duobus modis construitur, verbi gracia: amavi, jo amai et jo ai aimé».<sup>39</sup> Автор дает полный список времен действительного и «безличного» (фактически страдательного) залога в соответствии с тогдашней традицией, приписывавшей латыни имевшийся только в греческом опатив и рассматривающей инфинитивы и безличные глаголы как особые наклонения. Юк в своем «Провансальском Донате» опустил этот *modus impersonalis* «Младшего руководства»; есть и другие мелкие расхождения, обусловленные его несколько большей самостоятельностью,<sup>40</sup> но в целом трактовку времен и наклонений галлороманского глагола в обоих трактатах можно считать идентичной. Даже несколько загадочное *sum*, интродуктор конъюнктива у Юка,<sup>41</sup> присутствует в этом же качестве в старофранцузском трактате. Эти удивительные совпадения дают основания говорить о наличии общего источника, т. е. в сущности отодвигают «грамматикализацию» старофранцузского и старокоситанского — а вместе с ней и грамматизацию аналитических форм прошедшего — как минимум на одно столетие назад.

Первый французский грамматический трактат дошел до нас в одной-единственной рукописи, хранящейся сейчас в Кембридже (Trinity College R. 3.56), и это возвращает нас в Англию, с которой он несомненно связан, хотя совсем необязательно предполагать, что он был именно там написан. Три следующих по времени грамматических сочинения тоже написаны по-латыни и также англичанами, жившими во Франции. Их объединяет то, что они посвящены орфографии. Самый ранний из них, находящийся в одной из рукописей Британского Музея (Addit. 17716, f. 88—91), не имеет титула, но по счастью, сохранилась более поздняя переработка этого трактата, сделанная неким каноником М. Т. Койфюрелли,<sup>42</sup> в которой наличествует и старый эксплицит, отсутствующий в рукописи из Британского музея.<sup>43</sup> Из него явствует, что автором оригинала является некто Т. Н. Parisius studens, а название его приводится в эксплиците самого Койфюрелли: *Tractatus orthographiae gallicae*. Этот Т. Н. тоже несомненно был англичанином; свой трактат он намеревался предпослать, как следует из вступления<sup>44</sup> (оно переписано и у Койфюрелли), французским разговорам (*sermones gallicanos*), которых в рукописи Британского музея нет; на это указывает также характер примеров, переносящих нас в тематику *manières de langage*, а также то обстоя-

<sup>39</sup> Мы цитируем по: S ö d e r g å r d O. Le plus ancien traité grammatical français // *Studia neophilologica*, 1955. V. 27. P. 192—194.

<sup>40</sup> См. раздел: «Первые окситанские грамматики».

<sup>41</sup> Там же. Примеч. 29.

<sup>42</sup> Опубликовано в: S t e n g e l E. Die ältesten Anleitungsschriften zur Erlernung der französischen Sprache / *ZnfSL*. 1879. Bd I. S. 16—22.

<sup>43</sup> *Ibid.* S. 22.

<sup>44</sup> Pope M. K. «Tractatus orthographiae» of T. N., Parisii studentis // *Modern Language Review*. 1910. V. 5/2. P. 185—193, 189.

тельство, что Койфюрелли приписываются находящиеся в той же рукописи (Oxford, All Souls College, 182) «La maniere de language» и «Un petit livre pour enseigner les enfantz».<sup>45</sup> Таким образом, мы можем отодвинуть дату появления первых французских разговорников примерно на одно столетие, так как трактат Т. Н. датируется временем около 1300 г. Переработку Койфюрелли относят к самому концу XIV в. Спорна дата возникновения «Галльской орфографии»,<sup>46</sup> очень популярного в свое время пособия, присутствующего в 4 рукописях.<sup>47</sup> В грамматическом отношении все три трактата представляют весьма ограниченный интерес, но они любопытны как памятники эпохи и как свидетельства по истории французского произношения, хотя и в этом плане они не содержат ничего уникального. В трактате Койфюрелли обращает внимание термин *Romanici* применительно к жителям Пикардии, диалекту которых автор отводит немалое место в своих заметках.<sup>48</sup>

В той же оксфордской рукописи All Souls College 182 содержится и самый интересный англо-нормандский грамматический трактат, «Французский Донат» Джона Бартона (*Donait francois pour briefment entroduyr les Anglois en la droit language du Paris et de pais la d'entour fait aus despenses de Johan Barton par plusieurs bons clerks du language avandite*). Как следует из краткого вступления, заказчик, парижский студент, решил создать для своих соотечественников с помощью лучших местных специалистов французскую грамматику. Он руководствовался при этом следующими соображениями: а) стремление англичан к расширению контактов со своими соседями—французами требовало основательного изучения языка последних; б) на французском языке записаны большинство английских законов и «много других хороших вещей» и в) почти все синьоры и дамы английского королевства предпочитают писать друг другу по-французски.<sup>49</sup> Последний довод означает молчаливое признание того печального факта, что по-французски в Англии в то время («Донат» Бартона датируется самым началом XV в.) уже больше не говорили, хотя и сохраняли нежную привязанность к языку родины своих предков. . . la droit language de Paris et de pais la d'entour, la quelle lan-

<sup>45</sup> О них см. выше, примеч. 17.

<sup>46</sup> Arnold I. D. O. Thomas Sampson and the Orthographia Gallica // *Medium Aevum*. 1937. V. 6. P. 193—209.

<sup>47</sup> *Orthographia Gallica* / Hgg. v. J. Stürzinger. Heilbronn, 1884 (Altfranzösische Bibliothek, 8).

<sup>48</sup> См., издание Штенгеля (см. примеч. 17) 16, 27; 17, 5, 30, 31, 32, 35, 38, 40; 18, 13, 29; 19, 22. Один раз *Romanici* появляется и в трактате Т. Н. (издание Милдред Поп, с. 189, § 2, б), так что не исключено, что этот узус принадлежит в первую очередь ему: у Койфюрелли (21, 31) мы встречаем и современный этноним *Picardi*. Вообще текст трактата Т. Н. в рукописи Британского музея выглядит сильно сокращенным: даже беглое сравнение с текстом Койфюрелли показывает, что переписчик попросту опустил указания на диалектные варианты, которыми так изобилует издание каноника, ср.: Койфюрелли 19, 22, и трактат Т. Н. 191, § 14. Милдред Поп в своем предпосланном изданию исследовании упустила из виду это обстоятельство, так что проблема восстановления первоначального текста изданного ею трактата остается открытой.

<sup>49</sup> Stengel E. Op. cit. 25, 1—18.



guage en Engleterre on appelle: douce France.<sup>50</sup> Случайно оказавшийся в той же рукописи сборник англо-нормандских писем и прошений<sup>51</sup> может служить своего рода подтверждением свидетельства Бартона.

«Французский Донат» сохранился в одной-единственной вышеуказанной рукописи и к тому же далеко не полностью: он обрывается в конце шестого параграфа на глаголе. За вступлением, занимающим весь первый параграф, следует раздел о «буквах» (Stengel 25—26). Здесь в традиционной для «Доната» форме вопросов и ответов сначала перечисляются гласные с указанием места их артикуляции: а. . .serra sonn  en la poetrine, . . .e. . .serra sonn  en la gorge, . . . i. . .serra sonn  entre les joues, . . .o. . .serra sonn  au palat de la bouche, . . .u. . .serra sonn  entre les levres (25, 20—25). Как нетрудно убедиться, к французскому языку эта «фонетика» имеет мало отношения:<sup>52</sup> отсутствуют [y], противопоставление открытых и закрытых и т. д.; скорее всего это описание гласных тогдашней школьной латыни. Точно так же и в характеристике согласных (25, 24—26, 12) мы тщетно будем искать что-либо специфически французское: только в самом конце абзаца дается указание, что двойные согласные в середине слова, за исключением ll, звучат как простые. Несколько компенсирует нас следующий абзац, где приводятся шесть «правил», явно заимствованных из рассмотренных выше орфографических трактатов: о произношении гласных и согласных на конце слова, а также о конечном -e, на которое автор обращает особое внимание своих читателей ввиду уже упоминавшегося нами отсутствия в английском грамматического рода.

Третий раздел посвящен акциденциям (27, 1—29, 10). Здесь довольно много любопытного; в частности, при рассмотрении акциденции числа Бартон характеризует -s только как показатель множественности: ст.-фр. -s им. п. ед. ч. м. р. ушло уже в прошлое вместе со склонением.<sup>53</sup> Он упоминает и имена, оканчивающиеся на -s: temps и т. д., однако в отличие от Юка<sup>54</sup> ограничивает свой список неизменяемых всего шестью примерами. Много места по вышеуказанным причинам уделяется категории рода. В грамматическом отношении наибольший интерес представляет трактовка акциденции падежа (28, 12—32). Здесь выделяются три показателя падежа: le для именительного и винительного, du для родительного и аблятива и au для дательного. Дифференциация le (li уже повсюду исчезло) в зависимости от функции имени (подлежащее или прямое дополнение), а du в зависимости от управления (именного или глагольного) примечательна, но уже встречалась раньше у грамматиков XII—

<sup>50</sup> Ibid. 25, 12—14. Ср. у Койфюрелли: 18, 6 secundum dulce gallicum; 13 dulciter sonare debent; 51 Set dulcior est sonus.

<sup>51</sup> См.: Anglo-Norman Letters and Petitions from All Souls Ms. 182 / Ed. by M. Dominica Legge. Oxford, 1941 (ANTS 3).

<sup>52</sup> Тем не менее П. Свиггерс приводит все эти рассуждения без какого-либо комментария, см.: Swiggers P. La plus ancienne grammaire du franґais. P. 184—185.

<sup>53</sup> Barton 27, 15 ss., ср. аналогичную рекомендацию Койфюрелли (Coysfurelli 17, 40—46).

<sup>54</sup> См. раздел «Первые окситанские грамматики», 84.

XIII вв.; ново употребление термина *signe* «знак» в значении «показатель падежа». <sup>55</sup> Далее характеризуются степени сравнения, наклонения (их шесть, включая опатив и инфинитив, но без безличных глаголов), время (прошедшее с его тремя вариантами, имперфектом, перфектом и плюсквамперфектом, выделено особо) и залог (помимо действительного и страдательного еще и средний, к которому отнесены непереходные глаголы).

Следующий небольшой раздел отводится частям речи (29, 11—50). Тут говорится о склоняемых и несклоняемых частях речи; объясняется, что такое склонение; для различения несклоняемых омонимов (термин отсутствует) типа *ou* I. «или» < *aut*; 2. «куда», «где» < *ubi* приводится любопытное рассуждение о двух «манерах» слова: материальной, когда оно не выступает в контексте, т. е. существует номинально, нейтрально, неизменяемо, субстантивально и т. д. и персональной, когда проявляется его конкретное значение (*entendement*), например: *ou alez vous* «куда вы идете?». Свиггерс относит этот пассаж на счет влияния средневековой логики, <sup>56</sup> но в связи с этим можно вспомнить, что проблема лексической омонимии затрагивается уже в поэме Вальтера де Бибесворт и притом в самом начале. <sup>57</sup> Далее автор переходит к дифференциации существительного и прилагательного и при характеристике последнего прибегает к широко распространенному в средневековой грамматике приему субституции: <sup>58</sup> *Et coment entendent ils* (т. е. прилагательные. — *A. Ч.*) *leurs substantifs? Si come bon fait cognoistre, c'est a dire bonne chose fait a cognoistre*. В перечне «манер» существительного текст явно испорчен, так как из шести объявленных фигурируют только пять (29, 36—39). Следующий далее пассаж переносит нас в относительные местоимения, т. е. лакуна оказывается весьма значительной. <sup>59</sup> Завершает раздел список «манер» прилагательного и очередное указание на функции конечных *-e* и *-s*.

Пятый раздел выглядит полным (29, 51—31, 32); он целиком занят анализом местоимения. Здесь следует отметить парадигмы указательных местоимений *cist* и *cil* и попытку установить значение *i-* в дублетной форме *icel*: «...quant il y a y devant, si come *yeel*, doncques il est affirmatif de la chose avandite ou demonstratif de bien [plus] (вставка издателя. — *A. Ч.*) pres que n'est cest mot *cest*» (30, 34—36), но во всех примерах фигурирует *icel icy*. Автор попутно ставит чисто грамматические проблемы: отсутствие «знака» *le y* местоимений при наличии *de* и *au* (30, 42) <sup>60</sup> (на различие между *de* и *du*

<sup>55</sup> Свиггерс и этот момент оставляет без внимания, см.: *Swiggers P. La plus ancienne grammaire du français*. P. 185. Весьма содержательный анализ этого раздела дает С. Люзиньян, см.: *Lusignan S. Parler vulgairement*. . . P. 113—114.

<sup>56</sup> *Swiggers P. La plus ancienne grammaire du français*. P. 186.

<sup>57</sup> См. выше, с. 105.

<sup>58</sup> См. интересный анализ этого места в работе: *Chevalier J.-C. La notion du complément dans la grammaire française (1530—1750)*. Genève, 1968. P. 143.

<sup>59</sup> Ни Штенгель, ни Свиггерс почему-то не отмечают этой лакуны.

<sup>60</sup> См.: *Chevalier J.-C. La notion du complément*. . . P. 146.

внимания не обращается); позицию прямых дополнений *me, lui, nous* и т. д. перед глаголом при том, что грамматика «по природе» (*par nature*) требует, чтобы аккузатив следовал своему глаголу (30, 48—53);<sup>61</sup> позиция личного местоимения в функции подлежащего при инверсии (31, 22—27). Интересны наблюдения относительно позиции местоимения *mesme* (31, 27—32) и т. д.<sup>62</sup>

В конце шестого раздела (31, 33—33, 2) трактат обрывается, но, так как речь там уже идет о разных орфографических и фонетических замечаниях, не похоже, чтобы содержащееся в нем рассмотрение глагола сколь-нибудь существенно пострадало. Здесь заслуживают внимания анализ наречий *en* и *у*, представленных как усиленные частицы (31, 35—39);<sup>63</sup> подробное описание употребления «знаков» безличных глаголов *l'en, on, il* (31, 42—32,2); еще более интересный анализ глаголов-заместителей *être* и *faire* при ответах на вопрос и в некоторых фразеологических оборотах (32,3—30)<sup>64</sup> и наконец очерк системы времен с различием простых и сложных, образованных с помощью *avoir* и *être* + причастие прошедшего времени от спрягаемого глагола (32,38—44); к сожалению, автор избегает каких-либо терминов, довольствуясь многословными описаниями.

Здесь кончается в рукописи All Souls College «Французский Донат» Дижона Бартона, но через сорок страниц в той же рукописи идет трактат о спряжении французских глаголов, который рассматривается Штенгелем как несколько позже составленное продолжение «Доната» Бартона; он опубликован с небольшими сокращениями вслед за основным текстом.<sup>65</sup> Четыре пятых его занимает список глаголов под латинскими (изредка английскими) леммами, иногда с английским переводом, с указанием основных форм; ему предшествует довольно любопытная общая часть (33,3—34,33), с некоторыми перестановками повторяющаяся содержание шестого раздела Бартона. Обращает на себя внимание лишь странное прилагательное *entretiliz*, выступающее в роли своеобразного термина для обозначения аналитических форм прошедшего.<sup>66</sup> Помимо этой лексикологической загадки, это сочинение интересно и как свидетельство того, что и в «Донате» Бартона за шестым разделом шел скорее всего аналогичный список глаголов. Сравнение с «Провансальским Донатом» Юка Файдита<sup>67</sup> еще более подкрепляет это предположение. Таким обра-

<sup>61</sup> Ibid. P. 140.

<sup>62</sup> См. также: Swiggers P. La plus ancienne grammaire du français. P. 186—187.

<sup>63</sup> См.: Chevalier J.-C. La notion du complément. . . P. 159—160.

<sup>64</sup> См.: Swiggers P. La plus ancienne grammaire du français. P. 187—188.

<sup>65</sup> Stengel E. Op. cit., 33—40.

<sup>66</sup> 33, 6—8; Et sachez que touz les verbes francois sont parlez ou par un mot seulement ou par deux mos ou par plusieurs entretiliz; II Et se les verbes francois soient entretiliz, donques etc.; 25. . . ou ainsin entretillé je ay amé; 26—27. . . et est touz jours entretillé, si come je avoie amé; 34, 28—30 Mais touz les autres temps. . . [sont] touz jours entretiliz. . . de leurs mesmes particules et avec ce de un de ces deux verbes je ay ou je suis. В словарях Гюффруа и Тоблера-Ломмача ни прилагательное, ни глагол не представлены.

<sup>67</sup> См. выше раздел «Первые окситанские грамматикки», 82, 86.

зом, от «Французского Доната» полностью не сохранились лишь разделы о причастии, наречии, союзе, предлоге и междометии.

Трудно сказать, какое участие в составлении «Французского Доната» принимал сам Джон Бартон. Есть основания предполагать, что он не довольствовался ролью мецената. Возможно, он перевел на французский и слегка адаптировал те латинские материалы, которые поставляли ему его сотрудники. Так или иначе, в результате получилась первая французская грамматика, еще очень несовершенная в своих колебаниях от школьной латинской традиции и до глубин схоластической премудрости, но содержащая тем не менее ряд интересных наблюдений. Она безусловно имела успех в Англии, насколько можно судить по нескольким сохранившимся переработкам,<sup>68</sup> но надвинувшаяся вскоре война Алой и Белой Розы прервала почти на целое столетие дальнейший прогресс в описании и осмыслении французского языка.

---

<sup>68</sup> Это сочинение под названием «*Cy comence le Donait solounc douce francois de Paris*» (около 1410), см. о нем: Stürzinger J. *Orthographia Gallica* (см. выше, примеч. 47). V. ss.; Lusignan S. *Parler vulgairement*, 95; а также сохранившийся в двух рукописях *Liber Donati* (около 1415), Stürzinger J. *Orthographia Gallica*. III, V, VII; Lusignan S. *Parler vulgairement*. P. 86. См. еще: Davis N., Ivy G. S. Ms. Walter Rye 38 and its French Grammar // *Medium Aevum* 1962, 31/2, 110—124; Ewert A. *The Glasgow Latin—French Glossary* // *Ibid.* 1956. V. 25, 154—163.

# ИСТОКИ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Л. Э. Найдич

Истоки интереса к немецкому языку, вернее к родному наречию германских племен — алеманнов, баварцев, франков и других, — к проблемам его письменной фиксации и использования в общественно-политической и культурной сфере восходят к эпохе Карла Великого, который правил Франкским государством с 771 по 814 г. Особенности родного языка осмыслялись в его соотношении с латынью, безраздельно господствовавшей в науке, культуре, просвещении средневековой Европы.

Само слово, соответствующее современному «deutsch» 'немецкий' — германское по своему происхождению, — впервые зафиксировано в латинских текстах в форме «theodiscus». Самое раннее его упоминание встречается в 786 г.: папский нунций Георг фон Остия сообщает папе Римскому, что на англо-саксонском синоде решения были зачитаны «tam latine quam theodisce» ('как на латыни, так и на родном языке'). Этот термин появляется и используется, с одной стороны, в противопоставлении латыни, с другой — «в оппозиции оформлявшемуся языку романского населения».<sup>1</sup> Несколькими позже, в 788 г., термин «theodisca lingua» встречается в смертном приговоре баварскому герцогу Тассило; здесь сказано, что на народном собрании, где присутствовали представители разных провинций — франки, баварцы, лангобарды, саксы, — он осужден за преступление, «quod theodisca lingua harisliz dicitur» («которое на народном языке называется «harisliz» — «дезертирство»). Затем, в VIII—IX вв. слово «theodiscus» («theodisca lingua») встречается как в художественных текстах, так и в деловой прозе в значении «народный» (язык), т. е. язык, понятный простым людям<sup>2</sup> в отличие от латыни, и одновременно «язык германских племен», в основном тех, которые входили в империю Карла Великого и впоследствии образовали немецкую народность. В немецких текстах прилагательное «thiudisc», «diutisk» употребляется с X в., в том же значении, что и соответствующее

<sup>1</sup> Г у х м а н М. М., С е м е н ю к Н. Н. История немецкого литературного языка IX—XV вв. М., 1983. С. 12.

<sup>2</sup> Ср. слова того же корня в современном немецком языке: deuten 'толковать', первоначально 'делать понятным народу', deutlich 'ясный, понятный', ср. также выражение «Deutsch mit einem reden» 'говорить с кем-нибудь понятно, откровенно'.

латинское слово.<sup>3</sup> Лишь позже, в XII в., оно закрепляется за названием народа и страны — *Diutischiu liute, ci diutschemo lante* (напр., в «Песне об Анно»).

Что касается этимологии рассматриваемого слова, то его германское происхождение не вызывает сомнений (из «*þeudo*» 'народ' + суффикс -*isk*), но существует несколько гипотез его образования. Одни исследователи считают это слово искусственным — немецкой калькой с латинского слова «*vulgaris*» (*vulgus* + *aris*). Другие доказывают, что оно с самого начала существовало в немецком языке и было латинизировано.<sup>4</sup>

Внимание к родному языку, очевидно, было связано с политикой Карла Великого, который стремился к консолидации германских племен и проводил их христианизацию. Последняя требовала своего рода просветительской деятельности, в частности перевода некоторых церковных текстов («Отче наш», формула крещения, формула исповеди, «Верую») на понятный народу язык. Эти задачи способствовали интересу к народному языку при дворе Карла, куда он призвал просвещенных людей, например знаменитого англо-саксонского клирика Алкуина, а затем его ученика Храбана. Из жизнеописания Карла Великого, которое составил священник Эйнхард, известно, что Карл приказал создать антологию устной германской поэзии и начал составлять грамматику родного языка («*Inchoavit et grammaticam patrii sermonis*»). Несмотря на то что до XVI в. немецкая грамматика не была предметом специального научного исследования, вопросы, связанные с особенностями языка немецких племен, в частности в сравнении с латынью, часто волновали носителей культуры — монахов, получивших латинское образование и являвшихся своего рода билингвами. Первые свидетельства такого интереса, как полагают, в той или иной степени связаны с культурной деятельностью Храбана Мавра (784—856), знаменитого епископа Фульдского, а затем Майнцского. Так, известно рассуждение ученика Храбана Валахфрида Страбона, аббата из Райхенау (ум. в 849), о заимствованиях из одного языка в другой. Валахфрид перечисляет целый ряд слов, заимствованных немцами (*Theotisci*) из латыни (*scamel, fenestra, chelih*), и рассматривает процесс заимствования, «смещения и переноса слов», как естественный, свойственный всем языкам, ставя тем самым на одну доску классические языки (древнееврейский, греческий, латынь) и язык варваров, само обращение к которому, как он опасается, может вызвать насмешку.<sup>5</sup> Большой интерес представляет и другое, довольно пространное высказывание о родном языке, принадлежащее также ученику Храбана, первому

<sup>3</sup> Reiffenstein I. *Bezeichnungen der deutschen Gesamtsprache // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung.* (Далее: HGS). S. 1721.

<sup>4</sup> Ibid. S. 1719—1720. Об истории слова «deutsch» см. так же: H. Eggers. *Nachlese zur Frühgeschichte des Wortes «deutsch».* // *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.* 82. Bd. Sonderband E. Karg-Gasterstädt gewidmet. Halle (Saale). 1961. S. 157—173.

<sup>5</sup> S o c i n A. *Schriftsprache und Dialekte im Deutschen nach Zeugnissen alter und neuer Zeit.* Heilbronn, 1888. S. 39—41.

известному по имени немецкому поэту, автору стихотворного переложения Евангелия Отффриду. В обращенном к архиепископу Майнцскому Лиутберту предисловии к этой книге Отффрид отмечает трудности передачи звуков «варварского языка» латинскими буквами и отличия этого языка от латыни; он призывает развивать свой родной язык, сетуя на то, что просвященные люди прославляют чужой язык и не умеют даже писать на родном. Особенно знаменательно упоминание родного языка в тексте самой поэмы, где Отффрид называет его «*franciscg*» «франкский». Позже, в 1050 г., известный ученый и переводчик, монах Санктгалленского монастыря Ноткер Немецкий писал в письме епископу Гуго фон Зиттену, что переводить латинские тексты на родной язык («*ut latine scripta in nostram conatus sim vertere*») — это нечто до сих пор неслыханное. Однако, по убеждению Ноткера, на родном языке легко понять то, что непонятно на чужом.

Если в самых ранних высказываниях о родном языке он мыслился в противопоставлении латыни или живым языкам романского населения, то в эпоху развитого Средневековья (средненемецкий период) начинают осознаваться диалектные различия на территории Германии. Некоторые авторы указывают на свою диалектную принадлежность — иногда как бы извиняясь за плохое знание немецкого языка, иногда с гордостью. Например, в поэтической переработке «Метаморфоз» Овидия (1210) Альбрехт Хальберштадский, представляясь читателю (*captatio benevolentiae*), называет себя «не швабом, не баварцем, не тюрингцем, не франком, а саксонцем» («*weder Swâp noch Beier, weder Düring noch Franke, . . . wan ein Sachse*»). Характерно, что он противопоставляет южные племенные группы (швабы, баварцы) средненемецким (франки, тюрингенцы). Сходные замечания о происхождении автора и его языке содержатся и в написанной несколькими годами позже поэме Эбернанда Эрфуртского о короле Генрихе и его жене Кунигунде:

Ich bin ein Durenc von art geborn  
hêt ich die sprâche nû verkorn  
unt hête mîne zungen  
an ander wort getwungen,  
warzuo wêre mir daz guot?  
Ich wêne, er effentliche tuot,  
der sich der sprâche zucket an,  
der er niht gefuogen kann.

‘По рождению я тюрингенец, если бы я отказался от своего языка и заставил бы себя говорить на другом, для чего мне бы это было? Я думаю, тот поступает как обезьяна, кто присваивает себе язык, которым он не умеет пользоваться’. В отличие от этих авторов Николаус фон Ерошин в стихотворном переложении латинской хроники немецкого ордена (примерно 1335—1341 гг.) извиняется за недостаточное знание немецкого языка в том виде, в каком этого требует придворное обращение (его родной диалект относится к средненемецкой группе): «. . .*darzu lutzil dûtschis kan*» — ‘к тому же мало знаю немецкий’. В рассматриваемой связи часто цитируется дидактическая поэма Гуго фон Тримберга

«Скакун» («Der Renner») (около 1300 г.), где автор в шутливой форме описывает фонетические различия в диалектах немецких «земель» (Iantsprâchen): «Swâbe ir wörter spaltent, / Die Franken ein teil si valtent, / Die Beire si zezerrent, / Die Düringe si ûf sperrent» 'Швабы свои слова раскальвают, франки их частично сворачивают, баварцы их растягивают, тюрингенцы их открывают'. Трудно сказать, какие особенности произношения здесь имеются в виду; в отношении франкского речь идет, по-видимому, о стяжении дифтонгов *uo*, *iu*, *ie*, но в большинстве случаев комментарии такого рода остаются догадками.<sup>6</sup> Несомненно лишь то, что Гуго фон Тримберг четко представляет себе как диалектные различия, так и единство немецкого языка (*tiutsch*), существующего во многих региональных вариантах и все же противопоставленного как единое целое языкам других народов.<sup>7</sup> Ср. в той же поэме: «Swer tiutsch wil ebene tilten, der muoz sin herze rihten ûf mangerleie sprâche. . .» 'Кто хочет писать стихи по-немецки, тот должен направить свое сердце на разнообразные языки' и «Franzeis, Walhe und Engellant, Norweg, Ybern sind unbekant an ir sprâche tiutschen liuten» 'Французы, валлийцы и англичане, норвежцы, испанцы незнакомы по своему языку немецким людям'.

В некоторых средневековых памятниках высказывания о региональной вариативности языка носят более обобщенный характер: различается, например, язык Севера и Юга — нижненемецкий и верхненемецкий.<sup>8</sup> При этом более южная — верхненемецкая область называется «Oberland» в противоположность «Niederland» (последнее может означать «Нидерланды» или — шире — нижненемецкий Север). Так, у Бертольда Регенбургского встречаем: «. . .manig niderlender ist der sich der oberlender sprache an nimet» 'есть много северян, которые перенимают язык южан' — высказывание, свидетельствующее о более высоком статусе верхненемецкого.<sup>9</sup> В некоторых случаях названия племен имеют обобщенное значение: «саксы» — «северяне», «швабы» — «южане» и соответственно «саксонский» — «нижненемецкий», «швабский» — «верхненемецкий». Термин «hochdeutsch» в средненемецкий период отсутствовал. Интересный пример перевода слов на другой диалект без его точного указания содержится в «Книге природы» Конрада фон Мегенберга, составленной в 1340—1349 гг. — первой немецкой популярной книге по естествознанию (переложение латинского источника). Автор переводит многие слова — термины, относящиеся к области естествознания, с баварско-австрийского диалекта, на котором написано все это сочинение, на знакомый ему с детства франкский — последний он называет «anderr dâutsch» — 'другой немецкий': «der schaur haizt in anderr dâutsch der hagel» — 'der schaur 'град' назы-

<sup>6</sup> Socin A. Schriftsprache und Dialekte. . . S. 118—119; Reiffenstein I. Metasprachliche Äußerungen über das Deutsche und seine Subsysteme bis 1800 in historischer Sicht // HGS. S. 1730.

<sup>7</sup> Жирмунский В. М. История немецкого языка. М., 1965. С. 57.

<sup>8</sup> Reiffenstein I. Metasprachliche Äußerungen. . . S. 1729—1730.

<sup>9</sup> Гухман М. М., Семенов Н. Н. История немецкого литературного языка IX—XV вв. С. 129.



вается на другом немецком «*der hagel*», *der kranwitbaum haizt in meiner müeterlichen däutsch ain wechalter* — «*der kranwitbaum*» „можжевельник“ называется на моем родном немецком (т. е. франкском. — Л. Н.) «*wechalter*».

Таким образом, мы имеем много свидетельств того, что региональная вариативность языка четко осознавалась, вырабатывались определенные представления о диалектных различиях, о более или менее крупных диалектных ареалах. Наряду с этим уже в XIII—XIV вв. существовало представление и о некотором единстве немецкого языка, включая нижненемецкий (саксонский) и нидерландский, что было тесно связано с формированием немецкого литературного языка, которое проходило постепенно, путем создания нескольких сверхрегиональных вариантов. При этом «*diutschiu zunge*» ‘немецкий язык’ могло одновременно означать и ‘немецкий народ’ (ср. примеры из Нейдхарта фон Ройенталя и Вальтера фон дер Фогельвейде).<sup>10</sup> Однако само «денотативное значение названия языка „*deutsch*“ осталось, — как отмечает И. Райффенштайн, — в основном неизменным с периода высокого средневековья»,<sup>11</sup> т. е. это слово уже тогда употреблялось в значении, близком к современному.

Представления о грамматическом строе родного языка также складывались постепенно и исподволь; и способствовала их выработке практика преподавания латыни. Самыми популярными в средние века были латинские грамматики Присциана и Доната, а с XII в. в Германии для преподавания использовалось «Младшее руководство» — «*Ars minor*» Доната — книга о частях речи в форме вопросов и ответов. Поскольку на ранних этапах обучения латинской грамматике ученики плохо знали латынь, приходилось прибегать к помощи родного языка, хотя по официальным требованиям занятия в церковных и монастырских школах нужно было целиком проводить на латыни. Пояснения, очевидно, часто давались устно, но во многих случаях переводы отдельных «трудных» слов и выражений (гlossы) фиксировались прямо в тексте грамматики. Возникла необходимость создания грамматической терминологии на родном языке, вернее перевода латинских грамматических терминов. В этой связи интерес представляет относящееся к XI в., написанное по-латыни письмо магистра из Ст-Галлена Руодперта, где автор, отвечая неизвестному нам адресату, предлагает — в ответ на его просьбу — перевод латинских грамматических терминов: «*nomen — nāmo, pronomen — fūre dāz nomen, verbum — uōort*» и т. д.<sup>12</sup> Наряду с glossами, включавшимися в текст рукописи, составлялись и специальные латинско-древневерхненемецкие glossарии к грамматикам; известны, например, такие glossарии к «*Ars maior*» Доната из Ст-Галлена, относящиеся еще к VIII—X вв. Хотя проникновение родного языка в практику преподавания латыни проходило в Германии

<sup>10</sup> Socin A. *Schriftsprache und Dialekte*. . . S. 67.

<sup>11</sup> Reiffenstein I. *Bezeichnungen der deutschen Gemeinsprache*. S. 1722, cp. S. 1731.

<sup>12</sup> Müller J. *Quellenschriften und Geschichte des deutschsprachigen Unterrichtes bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts*. Gotha, 1882. S. 1.

медленнее, чем в других странах Западной Европы.<sup>13</sup> этот процесс все же был неизбежен и играл важную роль в формировании представлений о грамматике немецкого языка.<sup>14</sup> Особенно существенно то, что переводились не только грамматические термины, но и парадигмы; таким образом, создавалась возможность сравнить грамматический строй латыни и родного языка. Примерно с 1400 г. появляются рукописи, а позже печатные книги — грамматики, в которых параллельно с латинским текстом дается его полный немецкий перевод; после 1470 г. распространение таких грамматик значительно возросло.<sup>15</sup> Как и глоссы, полный перевод мог писаться между строк; например, грамматика, напечатанная в 1474 г. в Эслингене, начиналась словами: «Partes orationis quot sunt», над строкой мелким шрифтом дается буквальный перевод каждого слова: «die teil der red wie vil sein» 'сколько частей речи?'.<sup>16</sup> Иногда перевод давался прямо внутри строки, за каждым латинским словом следовало немецкое; так, в рукописи примерно 1400 г.: «Quot wievil sunt sein partes der tail orationis der red». <sup>17</sup> Широкая практика сплошного перевода латинской грамматики на родной язык в конце XV в. возникла не случайно. Именно в это время началось движение гуманистов, которые подвергли резкой критике старое схоластическое образование и стремились поднять на принципиально новый уровень культурную жизнь в Германии. Хотя языком науки, а во многом и литературы раннего гуманизма в Германии была латынь, ориентированная на античные образцы, на отношении к родному языку не могло не сказаться воздействие итальянского Ренессанса, в рамках которого культ латыни начинает постепенно расшатываться.<sup>18</sup> Первая попытка изложения латинской грамматики на немецком языке была предпринята в 1473 г. Конрадом Бюклином, который наряду с латинским текстом «Ars minor» дает сначала его дословный перевод (ußlegung), а затем пересказ и пояснение на немецком языке — последнее является новшеством и принципиально отличается от традиционных средневековых глосс.<sup>19</sup> Приводящиеся в этой рукописи примеры, особенно парадигмы склонений существительных и местоимений, позволяют провести параллели между латинским и немецким грамматическим строем.

В период 1470—1480 гг. на западе Германии появляются и другие книги, в той или иной степени затрагивающие немецкую грамматику и орфографию. Так, примерно к 1480 г. относится небольшой написан-

<sup>13</sup> Клейнер Ю. А. Латинская грамматическая традиция в Англии VII—XI вв. // История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л., 1985.

<sup>14</sup> I s i n g E. Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1970. S. 30—31.

<sup>15</sup> Ibid. P. 218.

<sup>16</sup> M ü l l e r J. Quellenschriften und Geschichte. . . S. 223.

<sup>17</sup> I b i d. S. 2.

<sup>18</sup> К а с а т к и н А. А. Культ латыни в эпоху Возрождения // Культура эпохи Возрождения. Л., 1986. С. 36—41.

<sup>19</sup> I s i n g E. 1) Die Herausbildung der Grammatik. . . S. 43; 2) Die Anfänge der volkssprachlichen Grammatik in Deutschland und Böhmen. Teil I: Quellen. Berlin, 1966.

ный на нижненемецком диалекте трактат о латинских падежах и временах под названием «Incipit tractatulus dans modū teutonisandi casus et tempora», где приводятся примеры на двух языках (для объяснения страдательного залога: Henricus scribit. . . Henrick schrift 'Генрих пишет', Henricus docetur. . . Henrick wert gelert 'Генрих учится').<sup>20</sup>

Важное значение для истории немецких грамматических учений имеет руководство по переводу, содержащее сведения по немецкой грамматике, — «Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum», изданное в 1485 г. в Антверпене, а затем неоднократно переиздававшееся. Автор его, по-видимому, принадлежал к кругу нидерландских гуманистов, во главе которых стоял Рудольф Агрикола. Отказ от схоластического подхода к обучению помогает автору раскрыть целый ряд важных закономерностей грамматической структуры немецкого языка. Сравнивая латынь и немецкий, он исходит из общепринятого для латыни набора грамматических категорий, но выявляет средства выражения этих категорий в немецком языке. Аналитические средства передачи грамматических значений (вспомогательные глаголы, артикли, предлоги) он называет «signa vulgaria» или «signa teutonica» — 'знаки народного (немецкого) языка'. Например, каждый из шести падежей существительного (включая аблатив и вокатив, которые автор выделяет исходя из латыни) имеет свои «signa teutonica»<sup>21</sup>: номинатив и аккумулятив — eyn, der, den, die либо daß, генитив — des, der, von, датив — dem, zum, zu, аблатив — mit, von, uff, in, umb, by, в то же время для вокатива характерно отсутствие артикля: der kuster lyt 'пономарь звонит' — номинатив, но o kuster lyt без артикля 'пономарь, звони!' — вокатив. При рассмотрении падежей указывается и на различия в их употреблении — собственно говоря, в управлении глаголов. Так, если в латинском предложении имеется двойной датив (например, после глагола esse), то в его немецком переводе следует употребить датив без предлога и датив с предлогом «zu»: bonum vinum est decano magne voluptati (decano и magne voluptati датив) — dem decken ist der gut win zu grossem wollust 'хорошее вино очень приятно настоятелю'. Приводится и вся парадигма склонения с соответствующими вопросительными местоимениями. Чтобы заинтересовать ученика, автор приводит занимательные примеры, построенные в форме рассказа:<sup>22</sup>

|                    |               |         |                           |
|--------------------|---------------|---------|---------------------------|
| wer verkofft do    | quis vendit   | Famulus | der knecht                |
|                    | ibi           |         |                           |
| 'Кто там продает?' |               |         | 'Слуга'                   |
| Weß knecht         | cuius famulus | Decani  | des dechens <sup>23</sup> |
| 'Чей слуга?'       |               |         | 'Настоятеля'              |
| Wem verkofft er    | cui vendit    | Ementi  | dem keiffer               |
| 'Кому он продает?' |               |         | 'Покупателю'              |

<sup>20</sup> Müller J. Quellenschriften und Geschichte. . . S. 239.

<sup>21</sup> В разных изданиях этой книги в перечислении этих «знаков» есть небольшие различия.

<sup>22</sup> Müller J. Quellenschriften und Geschichte. . . S. 22.

<sup>23</sup> Оверхненемецкая форма; ср. выше «decken».

|                             |               |             |                            |
|-----------------------------|---------------|-------------|----------------------------|
| In was zit                  | quo tempore   | Hora secund | in der zweygstend<br>stund |
| ‘В какое время?’            |               |             | ‘В два часа’               |
| Uß was macht                | qua potestate | Domini sui  | siñs herren                |
| ‘По чьему прика-<br>занию?’ |               |             | ‘Своего госпо-<br>дина’    |

При рассмотрении глагола особенно важно то, что по сути дела указано на различие сильных и слабых глаголов: «Заметь, что претерит имперфект иногда переводится («vulgarizatur») с помощью *de* (нижненемецкий претеритальный суффикс, соответствующий верхненемецкому *te*. — *Л. Н.*) на конце. Но в других [глаголах] не так». <sup>24</sup> Таким образом, книга «*Exercitium ruogum. . .*» является, по-видимому, первой попыткой систематического изложения немецкой грамматики, интересным и малоисследованным памятником истории лингвистических учений в Германии.

Следует упомянуть и относящиеся примерно к тому же времени руководства по немецкой орфографии и пунктуации — глава о знаках препинания в конце «Книги о женщинах» — «*Von etlichen frowen*» Генриха Штайнхёвеля (1479 г.) (перевод «Декамерона» Бокаччо) и замечания об орфографии и пунктуации в книге переводов Никласа фон Виле.

Немецкая лексикография имеет давние традиции. Работа по фиксации немецкой лексики была начата еще в древненемецкий период, велась в течение всего Средневековья и так же, как и рассмотренные выше первые попытки изучения немецкой грамматики, была связана с практикой преподавания латыни и чтения латинских текстов. Как уже было сказано, в латинских рукописях отдельные слова и выражения переводились на родной язык — создавались глоссы, которые записывались либо между строк (межстрочные глоссы), либо на полях (маргинальные глоссы), либо в самом тексте между словами (контекстуальные глоссы). Известны и древние латинско-немецкие глоссарии. Древнейший из них был создан в середине VIII в. во Фрейзинге и называется по первому слову «*Abrogans*» (что означает «смирный»). «*Abrogans*» представляет собой позднелатинский словарь синонимов, служивший для чтения поэзии и для занятий риторикой в позднеантичную эпоху, в котором латинскому словнику приданы древневерхненемецкие эквиваленты. Перевод синонимического словаря, содержащего поэтизмы и редко употребляющиеся слова, на родной язык, который в то время еще не сформировался в качестве литературного языка, представлял собой трудную и в большой степени невыполнимую задачу, особенно если учесть, что древневерхненемецкие эквиваленты подбирались ко всем синонимам. Выбор именно этого источника для перевода был, очевидно, обусловлен его традиционностью. <sup>25</sup> При составлении другого глоссария, известного под названием «*Deutsche Hermeneumata*» (при-

<sup>24</sup> Müller J. *Quellenschriften und Geschichte. . .* S. 24.

<sup>25</sup> De Boor H. *Die deutsche Literatur von Karl dem Großen bis zum Beginn der höfischen Dichtung.* München, 1960. S. 16.

мерно 775 г., Фульда), за основу был взят позднеантичный латинско-греческий словарь, который был переработан в латинско-немецкий. Первые словари такого рода содержали много калек с латыни, искусственных слов, которые затем не прижились в немецком языке. Часто глоссарии возникали не как переводы латинских словарей, а в результате объединения глосс. Существовали глоссарии к отдельным текстам — к Библии, к сочинениям Григория Великого, к Вергилию и другие. Они объединялись — создавались смешанные глоссарии. Латинские словники строились по тематическому или алфавитному принципу. Работа эта велась из поколения в поколение; созданные словари передавались из одного монастыря в другой. Техника составления глоссариев постепенно совершенствовалась, что давало возможность для серьезных лексикографических работ.

В конце XV в. с появлением книгопечатания вышло в свет много латинско-немецких словарей, которые имели широкое распространение и часто переиздавались. Очень популярен был, например, словарь «*Vocabularius Latino-Teutonicus*», называющийся также по первым словам «*Vocabularius ex quo*» (1467 г. и последующие переиздания), а также словарь «*Gemmula vocabulorum*» (1484 г. и позже). Важным новым этапом лексикографии было создание немецко-латинских словарей (70—80-е гг. XV в.). Целью их все ещё оставалось совершенствование знаний латыни; тем не менее знаменательным было само алфавитное расположение немецкой лексики, а также в некоторых случаях использование немецкого языка для толкования слов. Так, в словаре «*Vocabularius Teutonico-Latinus*», изданном в 1482 г., наряду с латинскими переводами слов даются их толкования на немецком языке (например, «*Vule — ein unelich weur, concubinaria*»)<sup>26</sup> Уже в первых немецко-латинских вокабуляриях широко отражены полисемия и омонимия немецких слов. Так, в одном из ранних немецко-латинских словарей, хранящемся в Государственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, — «*Vocabularius incipiens teutonicum ante latinum*» (выходные данные неизвестны) полисемия многих слов, явствующая из их латинских эквивалентов, поясняется с помощью фразеологии. Например, приводится пять значений слова «*Abgang*» «*Abgang — descensus* ('спуск'), *Abgang an einem berg oder bohel — declivus* ('склон'), *Abgang an der narung — penuria, detrimentum idem* ('нехватка еды'), *Abgang der planeten schyn — eclipsis ut patet lati* ('затмение'), *Abgang un gebbruch* ('недостаток'). Таким образом, сравнение с латинскими эквивалентами помогает выявить семантическую структуру немецких слов.

Примерно в то же время появляются немецко-латинские фразеологические словари — своего рода разговорники. Широко распространены были впервые изданный в 1475 г. в Кёльне словарь «*Sentenciarum variationes siue synonyma Stephani flisci Poete eloquentissimi*» (перевод латинско-итальянского словаря), а также «*Modus latinitatis*» (первое издание — 1487 г.), предназначенные для того,

---

<sup>26</sup> Schröter W. Die Bedeutung der älteren deutschen Lexikographen für das Neuhochdeutsche // HGS. S. 1520.

чтобы научить общаться на латыни как в повседневных ситуациях, так и в торжественных случаях. Приводятся, например, формулы приветствия на двух языках: «*Sey gegrüst. Salue. Sey gegrüst lieber Bruoder. Salue mi frater*».

Таким образом, несмотря на то что в эпоху Средневековья родной язык еще не был объектом специальных лингвистических исследований, постепенно складывались представления о его грамматической структуре и лексическом составе, о региональном варьировании и сверхрегиональной общности. Эти процессы шли параллельно с развитием языка немецкой нации, формированием немецкого литературного языка. Особенности родного языка мыслились прежде всего в отношении с латынью, грамматика которой была обязательным элементом обучения. Возможность и постоянная необходимость сравнения этих двух языков создавали благоприятные условия для выработки представлений о грамматическом строе немецкого языка. С другой стороны, ориентация на латынь имела и отрицательные последствия: немецкий язык стали описывать исходя из латыни, на его структуру накладывалась готовая сетка латинских грамматических категорий; сложилась традиция, избавиться от которой впоследствии было очень трудно. И все же были созданы предпосылки для лингвистического изучения немецкого языка.

# ЗНАНИЯ О ЯЗЫКЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

---

*Н. Б. Мечковская, А. Е. Супрун*

## 1. Культурно-языковое самоопределение славян

1.1. На заре письменной культуры народа филологическая деятельность, опирающаяся на народный язык, носит характер общекультурного и этно-языкового самоопределения и созидания. Славянские первоучители Константин Философ (Кирилл) и Мефодий, создав славянскую письменность и славянскую литургию, явились вместе с тем создателями первого литературного языка славян и первой славянской литературной традиции.

События такого ранга имеют абсолютное и непреходящее значение. Вместе с тем подъем книжно-письменной культуры всегда закономерно связан с более общими историческими движениями. Созидающая деятельность Солунских братьев, их учеников и последователей шла рука об руку с консолидацией и укреплением суверенитета ранних славянских государств: в Великой Моравии при князе Ростиславе славянская церковь добивается независимости от германского епископата; в Паннонии при князе Коцеле Мефодий основывает архиепископство; «золотой век» славянской литературы (конец IX—начало XI в.) был одним из слагаемых расцвета I Болгарского царства (до захвата Болгарии Византией в 1018 г.).

Культурный подвиг Константина и Мефодия по своему непосредственному содержанию был прежде всего филологической работой. Такой работе всегда сопутствует рефлексия над словом. В ранней славянской традиции это осмысление шло в разных планах: теолого-философском, культурно-историческом, филологическом. Ни один из них, разумеется, не может считаться посторонним для истории лингвистической традиции у славян именно потому, что в средневековой европейской культуре осмысление языка было частью христианской онтологии и гносеологии. Включенность филологического знания в господствующее христианское мировоззрение вносила в филологическую проблематику мощную философскую струю. Как известно, в Библии был поставлен ряд кардинальных и всегда актуальных для человеческого общества лингво-филологических проблем, таких, как происхождение языка и отношение языка к миру; как проблема разноязычия и понимания. Для средневекового человека дополнительная значимость этих вопросов обусловлена их постановкой именно в Св. Писании. Христианская онтология языка

утверждала могучую созидательную силу слова: согласно Библии, мир возник через слово — бог произносил слово, и это было актом творения. Легенде Ветхого Завета вторит загадочный зачин Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 1,1); ср. также *Слово* (*Λόγος*) как одно из имен Христа в Писании. Библия исходит из предопределенности смешения языков и вместе с тем стремится преодолеть языковые барьеры. Первоначально единый и совершенный (потому что от бога) язык Адама; затем смешение и рассеяние языков в наказание за людское тщеславие во время Вавилонского столпотворения (Бытие 11); наконец, «искупление языков» — чудесное «говорение языками», на Троицу дарованное Святым Духом разноязычным апостолам (Деяния 2), — таковы главные вехи библейской истории языков.

Христианство, подобно иудаизму и исламу, а отчасти под их влиянием сложилось как «религия Писания» (или Откровения).<sup>1</sup> Христианский культ сакрального текста с его обостренным вниманием к слову во многом обусловил фундаментальные черты средневековой культуры, которую иногда определяют как «культуру текста» и «комментаторскую культуру».<sup>2</sup> Вот почему для средневекового сознания «словесные науки» находились в центре умственной жизни.

Филологические вопросы не только входили в круг тем Писания, но и вставали в связи с различными «техническими» аспектами религиозной практики (перевод и толкование конфессиональных текстов; религиозная полемика и проповедь как риторические проблемы). Высокий авторитет словесных наук связан во многом с их сосредоточенностью на филологических аспектах конфессиональной деятельности.

У истоков славянской филологической традиции стоит замечательное поэтическое произведение, раскрывающее философский смысл приобщения народа к письменному слову, — «Проглас» к Евангелию Константина Философа.<sup>3</sup> Это самое крупное из оригинальных стихотворных произведений на старославянском языке. Исследователи единодушны в признании глубины его философской мысли, творческой самостоятельности и поэтического совершенства.

Важнейшие филологические идеи этого программного произведения таковы: 1) слово, сближенное в теолого-философском смысле

<sup>1</sup> А в е р и н ц е в С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 183—209.

<sup>2</sup> Р а б и н о в и ч В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. С. 269.

<sup>3</sup> Авторство Константина Философа принимается в работах И. Я. Франко, Э. Георгиева, Р. О. Якобсона, Ф. Свейковского, В. Н. Топорова, В. Велчева и др.; А. И. Соболевский, Й. Иванов, А. Вайан атрибутировали «Проглас» Константину епископу Преславскому. Памятник был обнаружен А. Ф. Гильфердингом в 1858 г. и тогда же впервые издан И. И. Срезневским. Сохранились две его редакции: сербская XIV в. и неполная (менее половины текста) русская XVI в. Наиболее известные реконструкции древнейшего вида «Прогласа» принадлежат Э. Георгиеву, Р. Нахтигалу, А. Вайану. Подробнее об истории изучения памятника см. в работе: Т о п о р о в В. Н. «Проглас» Константина Философа как образец старославянской поэзии // Славянское и балканское языковедение: История литературных языков и письменности. М., 1979.



с Христом и его учением, понимается как величайшая духовная ценность: СВѢТЪ БО ЮСТЬ ВСЕМОУ МИРОУ СЕМОУ (3),<sup>4</sup> 2) слово — мощное средство этического созидания; без слова невозможно духовное и эстетическое совершенство: СЛОВО ЖЕ КРЪМА ЧЛОВѢЧСКИЯ ДОУША, СЛОВО ЖЕ КРЪПА И СРЪДЦЕ И ОУМЪ (25—26); НИКО БЕ—СВѢТА РАДОСТЬ НЕ БЪДЕТЬ ОКОУ ВИДАШТОУ БОЖИЖ ТВАРЬ ВСЯЖ (28—29); 3) письменность увеличивает силу слова; как нельзя понять красоту не видя, так и слово не войдет в душу без книг: НЪ БЕЗ ЛѢПОТЫ НЕ ВИДИМОЮ ЮСТЬ, ТАКО И ДОУША ВСѢКА БЕЗ БОУКЪВЪ (30—31); 4) важно, чтобы слово было понятным, переведенным; слово на чужом языке — как медный звон (48—49); 5) народ без своей письменности не может быть независим: НАСИ БО ВСИ БЕС КЪНИГЪ ЯЗЫЦИ (80); 6) славяне стали обладателем своего слова, и в этом залог их духовного возвышения: СЛЫШИТЕ ОУБО, НАРОДИ СЛОВѢНЬСТИ. СЛЫШИТЕ СЛОВО; ОТ БОГА БО ПРИДЕ (23—24). Эти стихи «стали не только девизом, но и легли в основание мифологемы с долгой историей — с л о в о и с л а в я н е (как обладатели слова, смысла — в отличие от тех, кто не обладает словом, языком, ср. *немец, негелас*). К связи названия славян и слова возвращается и научная этимология, ср. Маѳер 1974».<sup>5</sup> В славянском письменном слове видит Константин путь к культурному самоопределению и самоутверждению славянства. В. Н. Топоров писал, что с «особым личным участием и заинтересованностью» дана в «Прогласе» его главная тема — тема письменного слова, книги. «Образность „Прогласа“ (метафоры, метонимии, развернутые сравнения) концентрируется именно в связи с этой темой».<sup>6</sup> Таким был поэтический зачин славянской филологической традиции. Его идеи, темы, топика служили камертоном в славянской книжности в течение веков.

1.2. Славянская письменность по времени создания (863 г.), по связи с христианизацией, по опоре на письмо классического языка вполне сопоставима с письменностями ряда новых европейских народов: восходящие к греческому армянское и готское письмо появляются в IV в.; основанное на латинском алфавите ирландское письмо возникает в VI в.; англосаксонское (в Британии) — в VII; германское (во Франкском государстве) — в VIII; провансальское — в IX; испанское, португальское, итальянское — в XII—XIII вв. Своеобразие ранней истории славянского письма составляют два взаимосвязанных момента: 1) изначальная широта социальных функций славянской письменности; 2) выдвижение концепции, защищающей правомерность использования славянского языка в важнейших сферах общественно-языковой практики, включая литургию.

<sup>4</sup> Текст «Прогласа» в реконструкции А. Вайана (1956) цитируется по перепечатке в работе В. Н. Топорова «Проглас» Константина Философа. . . (см. сноска 3); в скобках дана нумерация стихов.

<sup>5</sup> Т о п о р о в В. Н. «Проглас» Константина Философа. . . С. 42.

<sup>6</sup> Там же.

В немецких, английских, романских землях в VIII—XI вв. церковные книги, богослужение, большинство молитв были возможны только на латыни. Народные языки допускались в конфессиональную сферу редко и главным образом в вспомогательной функции. Например, каролингские церковные соборы разрешили перевод на немецкий язык молитв «Credo» и «Pater noster», а также полагающихся вопросов и ответов во время исповеди и покаяния.<sup>7</sup> В королевских канцеляриях, в области права, образования латынь господствовала безраздельно.

В отличие от Рима Византия разрешала в конфессиональной сфере родной язык верующих. Миссия Константина, в том числе его переводы канонических текстов, была санкционирована константинопольским императором Михаилом и патриархом Фотием. Возможность Писания и литургии на славянском языке открывала дорогу во все сферы, где нужна письменность. Уже в кирилло-мефодиевскую эпоху на славянском языке появляются первые юридические тексты («Закон судный людем»<sup>8</sup>); в конце IX—начале X в. составляются первые славянские жития и апологии (канон Димитрию Солунскому, написанный Мефодием; жития Кирилла и Мефодия; службы первоучителям); первые славянские стихотворные произведения («Проглас» к Евангелию и Похвала Григорию Богослову Константина Философа; «Тайная слоужьба» в Сипайских листках; азбучные молитвы-акростиhi); первые произведения славянской учености (Македонский кириллический листок). Неограниченные функциональные возможности славянского языка находят теоретическое обоснование и защиту уже в творчестве Константина Философа. В Житии Константина рассказано о диспуте в Венеции первоучителя с латинскими епископами, поборниками так называемой «триязычной догмы». Это установление, восходящее к «Этимологиям» Исидора Севильского (ок. 560—ок. 637), допускало литургию только на трех «святых» языках — древнееврейском, греческом и латинском. Доводы Константина, приведенные в Житии, по-видимому, восходят к рассуждению, которое он написал еще в Моравии. Это рассуждение знали ученики Константина и позже включили в его Житие.<sup>9</sup>

Аргументация Константина исполнена учености и искусства. Вот как он утверждал равенство народов и языков: «Не идет ли дождь шть бога равно на вса или слънце такоже не сияеть ли на вса. ни ли дыхаемъ на аерь равно вси? То како вы са не стыдите три языкъ токмо мнѣще, а прочимъ всѣмъ языкомъ и племеномъ слѣпымъ владаще быти и глоухымъ?» (с. 30).<sup>10</sup> Далее Константин перечисляет

<sup>7</sup> Ф л о р я Б. Н. Славянская письменность и европейская культура раннего средневековья // Славянские культуры и мировой культурный процесс. Минск, 1985. С. 63—64.

<sup>8</sup> Атрибутируется иногда Константину Философу, чаще — Мефодию, в болгарской литературе — преимущественно царю Борису.

<sup>9</sup> Ф л о р я Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 135.

<sup>10</sup> Цитируется по изданию Жития в кн.: Л а в р о в П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930. В скобках здесь и далее указаны страницы издания.

народы, у которых есть своя письменность и богослужение на родном языке: «Мы же многы роды знаемъ, книги оумѣюща и богу славою въздающа своимъ языкомъ каждо. *И*въ же соутъ си: Ормени, Перси, Авазъги, Иверии, Соугди. Готьои, Обри, Тоурсии, Козари, Аравлани, Егѣптани, Соури и инии мнози» (с. 30). В этой хронологически первой у славян сводке языков (к тому же с учетом двух значимых социолингвистических признаков — наличие письменности и наличие литургии) есть неточности: абхазы (*авазъги* оригинала) не имели своего письма и в богослужении использовали грузинский язык; у персов письмо было, но литургия совершалась на сирийском; по-видимому, не было христианской литургии на древнетюркском и согдейском.<sup>11</sup> Вместе с тем культурно-образовательное значение этих сведений несомненно: включенные в житие авторитетного святого, они расширяли представления славянской книжности о народах и языках. Авторитетам, на которые ссылались «триязычники» («римский папезь, феонолог Григорий, Иеронимъ, Августинъ»), Константин противопоставляет авторитеты более высокие и непререкаемые — Псалтырь, евангелистов и особенно апостола Павла. Большая выписка из 1-го Послания апостола Павла к коринфянам (14, 5—33, 38—40) в рассуждении Константина знакомила славянского читателя с одной глубокой лингво-филологической темой в христианской онтологии языка — с проблемой разноязычия и понимания. Здесь речь шла о разных видах общения и понимания: глоссолалическое «говорение языками» противопоставляется пророчествованию на понятном языке. Пророчество, внятное не только «духу», но и «уму», признается выше «говорения языками»: «... я более всех вас говорю языками; Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1-е коринфянам, 14, 18—19). Ср. в Житии: «Хвалю бога моего ѿ всѣхъ васъ паче же языки глагола. Но в цркви хощоу пать словесъ оумомъ своимъ глаголати, да ины наоучю, а не еже тмоу словесъ языкомъ» (с. 32). Позже этот мотив станет излюбленным доводом сторонников перевода Писания на новые языки; ср. в этой связи также особый авторитет Павла, «апостола языков», у славян, создавших задолго до Возрождения и Реформации литургию на родном языке.

Доводы Константина носят широкий общечеловеческий характер. В его защите славянской литургии речь не идет об исключительности славянского языка или о его причислении к трем «святым» языкам.<sup>12</sup> Пафос апологии Константина — именно в отрицании избранности каких-либо языков. К. М. Куев справедливо писал в этой связи, что идеи Константина о равноправии языков в религиозной и культур-

<sup>11</sup> Подробнее см.: Ф л о р я Б. Н. Сказания... С. 136—137.

<sup>12</sup> Ср. в исландской традиции идею о «четвертом» (исландском) языке (*lingua quarta*), на котором может быть написана церковная книга; см.: К у з ь м е н к о Ю. К. Средневековые исландские грамматические трактаты // История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л., 1985. С. 15—16.

ной жизни народов поразительно созвучны новому времени; по сути они выходят за рамки Средневековья.<sup>13</sup>

1.3. С кирилло-мефодиевской эпохой связана и другая тема в ранней филологической традиции славян: теория перевода. Помимо стихотворного «Прогласа» к Евангелию, осмысление переводческой практики отразилось в рассуждении, которое прочитывается в небольшом и плохо сохранившемся фрагменте, известном как Македонский кириллический листок (далее МКЛ).

Памятник не имеет общепризнанной атрибуции. Первые издатели МКЛ (И. И. Срезневский, И. В. Ягич, Г. И. Ильинский) считали автором рассуждения Иоанна экзарха Болгарского (IX—X вв.) или неизвестного книжника более позднего времени — XI или начала XII в. А. Вайан в 1948 г. высказал предположение, что МКЛ — это сочинение Константина Философа, первоначально написанное по-гречески, затем переведенное на славянский в качестве предисловия к евангелию и позже использованное Иоанном экзархом Болгарским в его предисловии («Прологе») к переводу Богословия Иоанна Дамаскина. Точку зрения Вайана поддержали Й. Вапица, Ф. В. Мареш, Ф. Славский, К. Трост, С. Матхаузерова, А. Минчева.<sup>14</sup> По мнению К. Троста, заметки о переводе, читающиеся в МКЛ, Константин написал для учеников и помощников как руководство в переводческой работе. А. Наумов допускал, что МКЛ — не протограф; как и «Пролог» Иоанна экзарха Болгарского, памятник зависит от несохранившегося предисловия Константина к славянскому переводу евангелия-апракос, причем текст МКЛ ближе к греческому оригиналу.<sup>15</sup> И. Добрев, предлагая новую реконструкцию текста МКЛ (с учетом дополнений А. Вайана и А. Минчевой), считает, что памятник не связан непосредственно с творчеством Константина Философа. Он создавался позже — в конце IX или начале X в. (скорее всего — в связи с заменой в Болгарии в 90-х гг. греческих богослужебных книг славян-

---

<sup>13</sup> К у е в К. М. Триязычная ересь и деятельность Кирилла и Мефодия на фоне средневековья // Славянские культуры и мировой культурный процесс. Минск, 1985. С. 73—74.

<sup>14</sup> V a i l l a n t A. La préface de l'Évangéliste vieux-slave // Revue des Études Slaves. 1948. T. 24. V a š i c a J. Dvě předmluvy Konstantina Cyrila k slovanskému překladu evangelia // Literární památky velkomoravské. Praha, 1966; M a r e š F. V. Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech // Živa teologie. Teologie věčera a dnes. 1970. Sv. 3; S ł a w s k i F. Początki piśmiennictwa starobułgarskiego // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie. 1970. Z. 17. T r o s t K. Die übersetzungstheoretischen Konzeptionen des Cyrillich-mazedonischen Blattes und des Prologos zum Bogoslovie des Exarchen Joann // Slavistische Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973. München, 1973; M a t h a u z e r o v a C. Древнерусские теории искусства слова. Praha, 1976. M и н ч е в а А. За текста на македонския кирилски лист и неговия автор // Старобългарска литература. 1981. Кн. 9.

<sup>15</sup> N a u m o w A. Najstarsze słowiańskie rozważania o sztuce tłumaczenia // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie. 1975. Z. 33.

скими) и был направлен против эллинофильского крыла в болгарской церкви в защиту славянских переводов.<sup>16</sup>

МКЛ утверждает приоритет смысла, а не формы в работе переводчика: НЪ РАЗОУМА РАДИ ПРЪЛАГАЮМЪ . . . СЪКАЗАНИЯ ВЪСЪ А НЪ ТЪЧИЖ ГЛАГОЛЬ РАДИ (20—21); НЪ БО ЮТЬ ЛЪЗЪ ВЪСЪДЪ СЪМОТРИТИ ЄЛИНЬСКА ГЛАГОЛА НЪ РАЗОУМА ИСТААГО НОУЖДА БЛЮСТИ (13—14).<sup>17</sup> Вайан показал, что противопоставление «разума» и «глагола» в МКЛ восходит к семиотическим идеям Псевдо-Дионисия Ареопагита,<sup>18</sup> что значение (содержание) слова выше, важнее выражения. Так, МКЛ знакомил славянскую книжность с наиболее глубокими семиотическими идеями эллинской философии: с идеей многоплановости и иерархичности содержания слова и текста; с противопоставлением прямого («плотского») и фигурального («вышнего»), внешнего и внутреннего значений слова. При этом выражение, форма трактуются как условный аспект слова, независимый от его содержания. Для МКЛ немотивированность плана выражения знака важна как предпосылка свободного, смыслового перевода: И СЕ НЪСТЬ СВОЮ ИЖЕ ХОШТЕТЬ БОЖЬСТВЬНЮЮ РАЗОУМЪТИ НЪ ИЖЕ ГЛАСЫ НАГЫ ВЪНИМАЮТЬ И ТА ЖЕ ДОЖИ ДО СЛОУХОУ (28—30). Защищая смысловую, а не формальную адекватность перевода, МКЛ показывает неизбежность при переводе определенных формальных несоответствий и опасность смысловых потерь. Например, приходится переводить греческое МЖЪСКО ИМА ПОТАМОС АСТИРЬ А СЛОВЪНЬСКИ ЖЕНЬСКО РЪКА ЗЪВЪЗДА (6—8). Автора беспокоит, по-видимому, не само по себе изменение грамматического рода имен, а то, что другой род помешает аллегорическому прочтению евангельских стихов, где АСТИРЬ 'звезда' в подтексте еще и 'ангел', а ПОТАМОС 'река, ветер' — еще и 'демон' (греческие соответствия — все имена м. р.).

Исключительный интерес представляет следующее рассуждение в МКЛ: ПРЪЛАГАЮМЪ А И ВЪСЪКОУМОУ АЗЫКОУ ПРЪЛАГАЮМОУ СЪЛОУЧАЮТЬ СѦ ПО МЪНОГА . . . НЪ БО НЪ ИЖЕ ГЛАГОЛЬ ВЪ ИНОМЪ АЗЫЦЪ КРАСЬНЪ ТО ВЪ ДРОУЗЪМЪ НЪКРАСЬНЪ СЫ. И ИЖЕ ВЪ ДРОУЗЪМЪ ГЪРДЬ ТО ВЪ ИНОМЪ НЪ СЫ. И ИЖЕ ВЪ ИНОМЪ СЛАВЬНЪ ТО ВЪ ДРОУЗЪМЪ НЕ СЫ (1—4). По-видимому, речь идет о межъязыковой стилистической и/или эмоционально-экспрессивной безэквивалентности, — т. е. о явлении, которое обычно считается открытием сопоставительного языкознания нового времени.

Филологическое содержание в МКЛ представлено в исключительно сжатом, как бы свернутом виде. По-видимому, многое подра-

<sup>16</sup> Д о б р е в И. Съдържа ли Македонският кирилски лист откъс от произведение на Константин Философ-Кирил за преводаческото изкуство? // Старобългарска литература. 1981. Кн. 9.

<sup>17</sup> Цит. по реконструкции текста МКЛ И. Добревым в работе, указанной выше (сн. 16). В скобках после цитаты даны номера строк в тексте (оборот листа). Многоточия в тексте принадлежат его реконструкции.

<sup>18</sup> Псевдо-Дионисий Ареопагит (V—VI вв. н. э.) — наиболее яркий представитель христианского неоплатонизма и поздней патристики.

зумевалось, многое обсуждалось, но не записывалось. Это резкое несовпадение в объемах эксплицированного знания и знания «молчаливого» или не записанного типично для ранних этапов в истории науки, и его следует учитывать при общей оценке традиции. Действительно, в филологической практике Константина и Мефодия были найдены безупречные решения многих лингвистических задач, таких как определение фонемного состава при создании азбуки; способы перевода абстрактных, терминологических, метафорических значений; способы передачи безэквивалентных грамматических значений греческого языка или особой фонетической организации конкретных текстов.<sup>19</sup> Однако принципы этих решений еще не успевали вылиться в письменные сочинения Константина Философа и Мефодия. Практика намного опережала теорию. Но при всей свернутости и неполноте сохранившихся источников несомненно, что в кирилло-мефодиевскую эпоху были сделаны первые важные шаги в развитии филологического знания у славян.

1.4. Филологические традиции Великоморавской миссии, закончившейся со смертью Мефодия в 885 г., были продолжены в новых центрах славянской книжности — в восточноболгарской школе в Преславе при царе Симеоне, в Македонии в Охриде, в Чехии Пршемысливичей (прежде всего в Сазавском монастыре). Из Болгарии кирилло-мефодиевская письменная культура распространилась на Сербию, Румынию, Русь; из Чехии ее традиции достигали Южной Польши, Хорватии, Истрии, Паннонии.<sup>20</sup> В X—XI вв. первый литературный язык славян стал, наряду с греческим и латинским, третьим международным языком Европы. С его защитой оказались связанными основные события в истории филологической традиции ареала *Slavia Orthodoxa*.<sup>21</sup>

## 2. Южные славяне

2.1. В народном сознании славян Константин Философ вернулся из Моравии в Болгарию. В Повести временных лет под годом 6406 (898) сказано: «Костянтинъ же възратився въспясть и иде учить болгарьскаго языка. . .». Так летопись осмыслила расцвет славянской книжности в Болгарии, связав его с именем первоучителя.

<sup>19</sup> Подробно см.: В е р е щ а г и н Е. М. 1) Из истории возникновения первого литературного языка славян: Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971; 2) Из истории возникновения первого литературного языка славян: Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972; 3) У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества // Вопросы языкознания. 1982. № 6.

<sup>20</sup> Т о л с т о й Н. И. Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности // Краткие сообщения Института славяноведения и балканистики АН СССР. Вып. 39. Исторические связи славянских народов. М., 1963; В е ч е р к а Р. Приносят на Кирил и Мефодий за чехословацката культура // Език и литература. 1974. Год. 29. № 5.

<sup>21</sup> См.: М е ч к о в с к а я Н. Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984.

История сохранила имена «ревнителей и строителей» родного языка в «золотой век» болгарской литературы. Это участник моравской миссии, а потом «первый епископ болгарского языка», глава Охридской литературной школы Климент — родом грек, вероятный автор Житий Кирилла и Мефодия; по некоторым данным, — создатель кириллицы; переводчик, музыкант, крупный церковный деятель. При Клименте в охридских школах училось более трех тысяч мальчиков.<sup>22</sup> Это, далее, ученик Кирилла и Мефодия, впоследствии пресвитер Константин Преславский — первый организатор книгописания и школ при Борисе и Симеоне, энциклопедически образованный богослов, составивший первое у славян учебное (толковое) евангелие, крупнейший гимнограф, автор службы Мефодию. Среди книжников Охридской школы называют имена Наума, епископа Марка, ерхиепископа Феофилакта. Со столичным Преславским центром были связаны царь Симеон (годы царствования 893—927), получивший блестящее образование в Царьграде,<sup>23</sup> грекофил и книжник — по словам современников, «полугрек» и «книголюбец». По его заказу, в частности, были переведены три знаменитые книги, известные позже по русским спискам как Изборник Святослава 1073 г., Изборник Святослава 1076 г. и Златоструй.

С Преславской школой был связан крупнейший писатель и переводчик эпохи Симеона, составитель Шестоднева Иоанн экзарх Болгарский (которого К. Ф. Калайдович считал фигурой, сопоставимой с Константином Философом<sup>24</sup>). Самое загадочное имя среди болгарских книжников IX—X вв. — черноризец Храбр, автор сочинения «О писменех». Допускали, что Храбр — это псевдоним, под которым могли выступать Климент Охридский, Иоанн экзарх, Наум, брат царя Бориса Дукс; особенно часто в этой связи называли царя Симеона.<sup>25</sup>

В Охриде и Преславе сложились две самостоятельные школы перевода в ранней болгарской книжности — каждая со своим пониманием задач перевода, со своими переводческими нормами и традициями.<sup>26</sup> Охридская школа развивала кирилло-мефодиевские традиции свободного, смыслового перевода. В Преславе верность оригиналу начинают отождествлять с верностью богословско-догматического плана; боязнь еретических уклонов побуждает переводить с максимальным приближением к оригиналу — слово в слово, с множеством калек, с сохранением всех синтаксических грецизмов (включая особенности порядка слов), со всеми возможными соответствиями в области грамматической семантики. Впоследствии теория и практика пословного, буквалистского перевода (и шире, буквалистско-символи-

<sup>22</sup> Строители и ревнители на родния език. София. 1982. С. 30.

<sup>23</sup> Кстати, в той же аристократической школе при Магнаурском дворце, в которой учился Константин Философ.

<sup>24</sup> К а л а й д о в и ч К. Ф. Иоанн, экзарх Болгарский. М., 1824.

<sup>25</sup> Строители и ревнители . . . С. 44.

<sup>26</sup> И в а н о в а - М и р ч е в а Д. К вопросу о характеристике болгарских переводческих школ от IX—X до XIV века // Старобългаристика. 1977. I. № 1.

ческой трактовки текста) и будут усвоены и углублены в Тырновской литературной школе XIII—XIV вв.

Для южнославянской филологической традиции X—XIV вв. характерно то, что все памятники и события по своей значимости и распространению выходили за границы болгарско-сербского ареала. Дело в том, что в средние века книжная культура православного славянства (ареал *Slavia Orthodoxa*) была надэтнической, общей для южных и восточных славян. В X—XV вв. достижения традиции определялись памятниками, которые были созданы в болгарских и сербских центрах и затем стали широко известны всей православной книжности. В XVI—XVII вв., когда османское иго привело к ослаблению и частичному затуханию православной книжно-письменной культуры в Болгарии и Сербии, развитие традиции оказалось связано в первую очередь с восточнославянскими землями.

Благодаря общности письменной культуры многие южнославянские произведения находили в восточнославянской книжности вторую жизнь, причем нередко более продолжительную и интенсивную, чем на родине. Так, из более 80 сохранившихся списков сочинения черноризца Храбра «О писменех» 67 списков восточнославянских, из них большая часть создана в XVII в.<sup>27</sup> Грамматическая статья «Осьмь честиц слова» (первая половина XIV в.) известна в 20 русских списках, при этом большинство списков принадлежит XVII в.<sup>28</sup> Таким образом, при характеристике южнославянской традиции X—XV вв. надо иметь в виду более широкую территориальную и хронологическую актуальность ее достижений.

2.2. Апология черноризца Храбра «О писменех» написана в конце IX или в начале X в. Сочинение доказывает преимущества глаголического письма в сравнении с записью славянской речи греческими буквами «без устроения».<sup>29</sup> Автор называет обычные славянские слова, звучание которых нельзя передать одними греческими буквами «без устроения»: «Нж како мѡжетъ са писати добръ гръчьскими писмены бѣ [т. е. богъ] или живѡтъ или зѣлѡ или црковъ или чаание или ширѡта или гдъ или ждоу или юность или жзыкъ и инаа подобнаа симъ».<sup>30</sup> Легко видеть, что слова даны в алфавитном порядке новоизобретенных букв. Это говорит о продуманности аргументации и о письменном («кабинетном») происхождении апологии.

Защищая славянское письмо, Храбр доказывает, что оно ничем не уступает греческому (и здесь он называет ряд сходных моментов

<sup>27</sup> Трѣмбовольскій Я. Л. Из истории рукописной традиции на Руси древнеболгарского памятника «О писменехъ черноризца храбра» // Вестник Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. IV. 1984. № 3.

<sup>28</sup> We i h e r E. Die älteste Handschrift grammatischen Traktats «Über die acht Redeteil» // Anzeiger für slavische Philologie. 1977. Bd 9. Teil 2. S. 369; Жуковская Л. П. Барсовский список грамматического сочинения «О восьми частях слова» // Східнослов'янські граматики XVI—XVII ст. Київ, 1982. С. 50.

<sup>29</sup> Такая запись одними греческими буквами существовала на территории I Болгарского царства, по-видимому по крайней мере с начала IX в.; обнаружены также надписи, в которых греческими буквами переданы тексты на протоболгарском (тюркском) языке. См.: Флорья Б. Н. Сказанья. . . С. 176.

<sup>30</sup> Цит. по изданию: Лавров П. А. Материалы. . . С. 162.



в истории греческого и славянского алфавитов), а в некотором отношении и превосходит греческое письмо. Например, Храбр считает доказательством совершенства глаголицы то, что ее создал один Константин, без помощников, а греческое письмо — семь человек; наконец, «ѣм же словѣнскаа писмена свѣтѣша сѣтъ и чистѣѣша свѣтъ бѣ мжѣ створилъ иа истъ, а грѣцскаа Еллини погани»,<sup>31</sup> т. е. «И потому [еще] славянские письмена более святы и более достойны почитания, ибо создал их святой муж, а греческие — язычники эллины».<sup>32</sup>

По своему замыслу и развитию темы сочинение вполне оригинально. Вместе с тем сведения Храбра из истории создания греческого письма говорят о его знакомстве с византийскими комментариями к грамматике Дионисия Фракийца, с сочинениями Феодорита Киррского и Евсевия.<sup>33</sup> Значение лингвистических идей Храбра трудно переоценить. Это, во-первых, мысль о естественности различий языков по своему звуковому строю и, следовательно, по письму. Во-вторых, в рассказе Храбра о том, как постепенно совершенствовался греческий алфавит, присутствует идея развития (на это обратил внимание еще в 1943 г. Ив. Дуйчев). Сочинение Храбра отмечено той свободой и естественностью (при ясном понимании дела), которые характерны для «золотого века» славянской письменности. Позже средневековая книжность во многом утратила эти черты — из-за постоянной оглядки на авторитеты (то ли первоучителей, то ли греков), мистического мудрствования и схоластики.

В последующие века с распространением кириллицы сочинение Храбра стало пониматься более широко: как защита и прославление славянского письма вообще. Под его влиянием в традиции *Slavia Orthodoxa* развился особый жанр филологических сочинений — сказания о событиях книжно-письменной культуры (о создании письма, о начале книгопечатания). Наиболее ранний памятник такого рода — «О преставлении святаго Кирила учителя словенскому языку»,<sup>34</sup> в котором проведены параллели между деятельностью славянского первоучителя и крестителя Руси («И бысть вторыи Константин в Руской земли Владимир»). Влияние апологии «О писменех» прослеживается, далее, в Житии Стефана Пермского, написанном Епифанием Премудрым (1397), именно в рассказе о том, как Стефан составил пермскую азбуку (глава «О азбуки пермѣтѣ»).<sup>35</sup> В глазах старинных книжников эта история имела самостоятельную ценность; по ряду списков она встречается вне Жития Стефана Пермского. Известна также контаминация сказания Храбра и Жития

<sup>31</sup> Лавров П. А. Материалы. . . С. 164.

<sup>32</sup> Перевод Б. Н. Флора. См.: Флора Б. Н. Сказания. . . С. 104.

<sup>33</sup> Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку. СПб., 1885—1895. Т. 1. С. 313—315.

<sup>34</sup> Издан И. В. Ягичем в «Рассуждениях. . .», с. 308—310.

<sup>35</sup> Епифаний Премудрый. Житие св. Стефана Пермского / Изд. Н. И. Костомарова // Памятники старинной русской литературы. СПб., IV. 1862.

Стефана Пермского (рукопись XV—XVI в. Новгородского Софийского собора).<sup>36</sup>

О чрезвычайной популярности сочинения Храбра говорит рекордное для светского произведения число сохранившихся списков — более 80 (под разными заглавиями, одно из самых частых — «Сказание како состави святый Кирил Философ азбуку по языку словенску и книги преведе от греческих на словенский язык»). Сказание Храбра открывало азбуковники и грамматические отделы в сборниках смешанного состава. Типографски азбуку впервые воспроизвел Иван Федоров в острожском издании своего Букваря (1578). Позже сказание Храбра вошло в анонимный острожский букварь 1598 г. «Сиа книжка словенска рекумая грамматика»,<sup>37</sup> в московские печатные буквари Василия Бурцева (1634, 1637).

2.3. Мысли Константина Философа о переводе, высказанные в Македонском кириллическом листке (см. 1.3), находят дальнейшее развитие в «Прологе» (предисловии) Иоанна экзарха Болгарского к его переводу Богословия Иоанна Дамаскина (начало X в.).<sup>38</sup> В «Пролог» вошли все пассажи из МКЛ, при этом явление межъязыкового грамматического несоответствия показано отчасти на иных лексических примерах. К. Трост считает, что в отличие от МКЛ в «Прологе» представлено более свободное и широкое понимание перевода (перевод как передача-интерпретация текста).<sup>39</sup> Во всяком случае «Пролог» лучше сохранился, чем МКЛ, и представляет раннюю концепцию перевода у славян в наиболее полном и развернутом виде; МКЛ реконструируется прежде всего на его основе. В «Прологе» впервые на славянском языке звучит мысль о зависимости смысла слова от контекста: «Вѣдѣти что съ глаголь назнаменуоуть, како ли съподоба и инѣми тожде могущими глагольми и авляющими съказати, прилежащемъ же къ стоухипамъ и къ письменьмъ неразумнымъ и съкладомъ и глаголомъ невѣдомымъ, не минуоуциемъ вьноушениы разоумъ, нъ вьнѣ о оустьнахъ и о слоусѣхъ имъ шоумашемъ».<sup>40</sup>

«Пролог» во многих сборниках встречается как самостоятельное рассуждение. Он был популярен и, по словам Ягича, не раз «служил напутствием для переводчиков старого времени».<sup>41</sup>

2.4. Монументальная антология «четьих» (некультовых) произведений, которая в начале X в. была переведена по заказу царя Си-

<sup>36</sup> Памятник опубликован в работе: С и м о н и П. К. Памятники старинной русской лексикографии по русским рукописям XIII—XVIII столетий. СПб., 1908.

<sup>37</sup> B a r n i c o t D. A., S i m m o n s J. S. G. Some Unrecorded Early-printed Slavonic Books in English Libraries // Oxford Slavonic Papers. 1951. V. 2.

<sup>38</sup> «Прологъ съворенъ Иоаномъ прозвутеремъ Сказархомъ българськомъ иже иесть и прѣложилъ книги сиа». Опубликовано И. В. Ягичем в «Рассуждениях...».

<sup>39</sup> T r o s t K. Die Übersetzungstheoretischen Konzeptionen Cyrillisch-mazedonischen Blattes und des Prologos zum Bogoslovie des Exarchen Joann // Slavistische Studien zu VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973. München, 1973.

<sup>40</sup> Цит. по: Я г и ч И. В. Рассуждения... С. 323.

<sup>41</sup> Я г и ч И. В. Рассуждения... С. 324.

меона (и позже вошла в историю как Изборник Святослава 1073 г.), для молодой христианской культуры Slavia Orthodoxa стала своего рода энциклопедией, отвечавшей на основные духовные запросы времени. «Съборъ отъ многъ оцѣ тълкованіа о неразумныхъ словесехъ въ еуаггелии и въ аплѣ и въ инѣхъ книгахъ въкратцѣ съложено на памдть и на готовъ отвѣтъ», как значилось в заглавии книги, включая сочинения ранней патристики по догматике, богословию, философии, христианской морали, а также различные естественнонаучные и исторические сведения. В Изборнике оказались представлены и некоторые филологические темы и жанры: словарные материалы, сведения о тропах и фигурах, старинные библиографии. Если жанровыми признаками словаря считать, во-первых, преобладание двучленных высказываний, в которых 1-й член подлжит толкованию или переводу во 2-м члене (особый частный случай представлен орфографическим словарем), и, во-вторых, расположение таких высказываний в виде перечней (списков), то начало словарного жанра в культуре Slavia Orthodoxa следует связывать с Изборником Симеона-Святослава (о чем писал еще С. К. Булич <sup>42</sup>). В частности, в Изборнике представлено в виде следующих друг за другом пространных статей значительное философское содержание. Статьям предшествуют «заглавные слова»: *Соуитъное. О естествоѣ. О собьствоѣ. О лицѣ. О различіи. О сълоучаніи. О своитънѣтъмъ. О имѣнни и нестатѣ. О количъствоѣ и о мѣремыихъ. О качьствоѣ и о тврритънѣтъмъ* (л. 222<sup>r</sup>—236<sup>a</sup> по изданию 1983 г.). Словарную форму имеют в Изборнике 1073 г. и некоторые другие материалы: глава о редких и драгоценных камнях, построенная как толкование экзотических названий; своды обозначений месяцев на четырех языках.

Структура сочинения Георгия Хировоска «О образѣх» (также в составе Изборника) благодаря краткости толкований еще в большей мере напоминает жанр словаря. По сути это и есть древнейший славянский терминологический словарь: здесь даны объяснения 27 терминов, называющих «творчѣстии образи», т. е. тропы и фигуры, популярные в византийской поэтике. Георгий Хировоск (живший, вероятно, во второй половине VI в. <sup>43</sup>) вел классы словесных наук в высшей императорской школе в Царьграде и был известен как автор руководств по орфографии, просодии и метрике, а также схолий (систематических комментариев) к эллинистическим грамматикам (Дионисия Фракийца, Феодосия Александрийского, Аполлония Дискола, Элия Геродиана). Тот текст, который был переведен в сборнике Симеона, — *Перѣ тропъ по:ητιχ* («О поэтических образах»), — это, по всей вероятности, конспект лекций Хировоска, записанный кем-то из его слушателей.

В переводе трактата заглавные термины словарных статей калькированы и растолкованы. Ср. толкование термина ПРѢВОДЪ «метафора»: «Прѣводъ же ѣсть слово от иного на ино прѣводимо.

<sup>42</sup> Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. (XIII в.—1825 г.). СПб., 1904. Т. 1. С. 161, 162.

<sup>43</sup> Культура Византии. IV—первая половина VII в. М., 1984. С. 485.

Имать же образы четири: или бо отъ съдоушьныхъ на несъдоушьнаа прѣводитса или отъ несъдоушьныхъ на съдоушьнаа. Отъ съдоушьныхъ убо на съдоушьнаа, тако же се кто цесаря пастоуха наричетъ людъмъ: пастоухъ бо истовое овъчии ѣсть, оба же ѣста съдоушьнаа, и цесарь и овъчии пастоухъ»,<sup>44</sup> т. е. 'Превод — это слово от одного на другое переносимо. Метафора имеет четыре вида: переносы от одушевленных предметов на неодушевленные, от неодушевленных на одушевленные, от неодушевленных на неодушевленные и от одушевленных на одушевленные. Например, царя пастухом называют, царь действительно является людям овечьим пастухом, оба предмета (царь и овечий пастух) одушевленные'.<sup>45</sup>

Хотя сборник Симеона представлен в значительном числе списков,<sup>46</sup> терминология трактата «О образѣхъ» не удержалась в последующей риторико — стилистической традиции (ср.: *инословие* 'аллегория', *прѣводъ* 'метафора', *поругание* 'ирония', *изобилие* 'плеоназм', *лихорѣчие* 'гипербола', *отъимение* 'метонимия' и т. д.<sup>47</sup>). Жизнеспособней оказался иной источник обозначений — заимствование греческих терминов. Такова, в частности, терминология старейшей из сохранившихся церковнославянских грамматик риторик — так называемой Риторики Макария.<sup>48</sup> Впрочем, сохранился заглавный термин перевода из Изборника — *образ*, а также термин *притѣча* ('парабола'); близок к современному обозначению термин *лицетворение*, *лицетворье* ('прозопопея, олицетворение'). Слово *поругание* (правда, не в специальном значении 'ирония', а в обычном смысле) использует в «Книге о писменех» Константин Костенечский (см. 2.5): одна из введенных им оценочных идеограмм предназначена для «поругания».<sup>49</sup> Как и в переводе из Хировоска, в церковнославянской грамматической терминологии греческий термин *εἰρωνία* нередко переведен как *вид* (в разных значениях). Таким образом, можно говорить об определенной терминологической связи «О образѣхъ» и последующих филологических сочинений и, следовательно, о содержательном влиянии памятника на традицию. Перевод «О образѣхъ» в Изборнике Симеона-Святослава знакомил славянскую книжность с рядом фундаментальных понятий из области теории художественной речи и семиологии.

<sup>44</sup> Изборник Святослава 1073 года Факсимильное издание. М., 1983. Л. 237г—238а.

<sup>45</sup> Перевод Н. И. Прокофьева. См.: Древнерусская литература. Хрестоматия. / Сост. Н. И. Прокофьев. М., 1980. С. 67.

<sup>46</sup> По недавним, однако, неисчерпывающим данным, известно 27 списков. См.: Г р я з и н а Л. П., Щ е р б а ч е в а Н. А. К текстологии Изборника 1073 г. (по рукописям Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Изборник Святослава 1073 г.: Сборник статей. М., 1977. С. 56—57.

<sup>47</sup> Подробнее см.: Г р а н с т р е м Е. Э., К о в т у н Л. С. Поэтические термины в Изборнике 1073 г. и их развитие в русской традиции (анализ трактата Георгия Хировоска) // Изборник Святослава 1073 г.: Сборник статей. М., 1977. С. 104—105.

<sup>48</sup> Die Makarj-Rhetorik / Herausgegeben von Renate Lachmann. Köln; Wien, 1980. Slavistische Forschungen. Bd 27, 1).

<sup>49</sup> Я г и ч И. В. Рассуждения... С. 427.

Жанр библиографии в Изборнике Симеона-Святослава представлен статьями «Отъ апостольскихъ оуставъ» (л. 203г—204б), «Тогожде Иоанна о вѣрочитыхъ кнѣгахъ» (л. 252а—253а), «Богословца от словесъ» (л. 253а—254а). Для средневековой книжности библиография — очень органический и характерный жанр. В книжно-письменной культуре, веками сосредоточенной на воспроизведении, распространении и толковании корпуса древних высокоавторитетных текстов, которым к тому же приписывается трансцендентное происхождение и магическое действие, — в такой культуре рано возникает необходимость в разного рода в т о р и ч н ы х жанрах письменности, которые бы могли репрезентировать канонические тексты, или быть введением к ним, или их изъяснять и комментировать, или служить ориентирами во все увеличивающейся массе циркулирующей литературы. Библиография представляет один из таких вторичных жанров средневековой книжности. Определенные виды старинных библиографий можно с основанием считать предшественниками будущего литературоведения, в первую очередь текстологии и литературной критики. Форма перечня, списка, до сих пор обычная для библиографии, однако оставленная литературоведением в целом, вполне соответствовала первым шагам в филологическом осмыслении книжной наличности.

«Рекомендательные» (говоря современным языком) библиографии Изборника стремятся очертить круг христианского чтения в византийско-славянской культуре: определить канонический состав книг Ветхого и Нового Завета, предостеречь против книг «ложных» (апокрифических), «отреченных», «странских» — их наиболее полный перечень, восходящий к индексу антиохийского патриарха Анастасия Синаита (VI в.), приводится в статье «Богословца от словесъ». В главе «Отъ апостольскихъ оуставъ» даны своего рода аннотации «вѣрочитыхъ» книг; ср. общий тон и лексику этих первых в славянской культуре «литературоведческих» суждений: «Аште бо повѣстьныа хоштеши почитати имаши цѣсарьскыа кнѣгы [т. е. ветхозаветные книги Царств]; аште ли хытростьныа и творитвьныа, то имаши пророкы, Исва и притъчника [т. е. книги пророков, книга Иова и книга притчей Соломоновых], въ нихъ же всакаа твари и оухыштрении большаж остроу оумьноуж обраштеши јако господа јадиног оудраа горѣч и соутъ».<sup>50</sup>

Библиографические традиции Изборника получили в культуре Slavia Orthodoxa дальнейшее и всестороннее развитие: кроме индексов «истинных» и «отреченных» книг составлялись описи книжных собраний, указатели порядка чтений богослужебных книг, библиографии произведений отдельных авторов, наконец, историко-литературные библиографии, высшим достижением которых стал свод «Оглавление книг, кто их сложил» Епифания Славинецкого (Москва, 60-е гг. XVII в.).

2.5. В XIV в. южнославянская книжность переживает новый расцвет, сопоставимый по своему культурно-историческому содержа-

<sup>50</sup> Изборник Святослава 1073 года. Л. 204а.

нию с Возрождением. Д. С. Лихачев назвал этот духовный подъем «восточноевропейским Предвозрождением».<sup>51</sup> Р. Пиккио указал на принципиальное сходство между ранним итальянским гуманизмом и «восточноевропейским Предвозрождением» (в его терминологии *Orthodox-Slavic Revival*), объясняя это тем, что в обоих случаях решающий импульс исходил от Византии. В Византии зародилась сама идея возрождения как «реставрации традиционных моделей духовной и языковой чистоты».<sup>52</sup> В качестве основного средства возврата к классике мыслились филологические занятия. Это привело к расцвету филологической активности: заново прочитывались первоисточники идеологического канона; вырабатывались методы филологической критики текста; велось редактирование и исправление книг, при этом количество книг выросло в несколько раз. Именно в это время в Италии и Славии появляются профессиональные ученые и учителя. Общим было и обращение к своему классическому языку: итальянские гуманисты стремились возродить классическую латынь, книжники Тырновско-Ресавской школы — старославянский язык времен первоучителей. При этом филологические проблемы сближались с этическими, орфография — с ортодоксией.<sup>53</sup>

Тырновская литературная школа связана с именем последнего болгарского патриарха Евфимия, позже угнанного вместе с тысячами болгар в турецкий плен. Расцвет Тырновской школы приходится на критические годы — в канун падения II Болгарского царства (1396 г.). Могущество Болгарского государства времен царя Ивана Асеня II (1218—1241) осталось в прошлом; нарастающая турецкая опасность, притязания Византии, феодальные усобицы, крестьянские волнения, обычное в эпоху кризиса религиозное разномыслие — все это ослабляло Болгарию, открывало дорогу османским завоевателям. В условиях государственного разлада и военных неудач Тырновская литературная школа стала главным оплотом сопротивления болгарского народа порабощению — «передовой линией обороны болгарского государства духа», по выражению Д. С. Лихачева.<sup>54</sup>

Основные направления деятельности Тырновской школы (укрепление православной обрядности и догматики, публицистика, книгописание и исправление книг, создание религиозных училищ) включали разнообразные филологические аспекты — заботы о сохранении верности св. Писания и предания, аутентичности переводов, заботы о правильности и красоте письма, выразительности и действенности убеждающего слова. Деятельность Тырновской школы предполагала

---

<sup>51</sup> Л и х а ч е в Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике: Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов. М., 1960. С. 138 и след.

<sup>52</sup> P i c c h i o R. On Russian Humanism: The Philological Revival // Slavia. Praha. 1975. Roč. 44. Seš. 2. P. 166.

<sup>53</sup> Ibid. P. 170.

<sup>54</sup> Л и х а ч е в Д. С. Передовая линия обороны болгарского государства духа // Старобългаристика. 1981. 11. Кн. 4.

определенный высокий уровень филологической культуры общества и вела к ее дальнейшему росту.

После захвата Болгарии турками часть книжников бежала в Сербию. Здесь при поддержке деспота Стефана Лазаревича (1377—1427) в основанном им Ресавском монастыре (ныне монастырь Манасия) продолжались литературно-филологические традиции Тырновской школы — в творчестве Григория Цамблака (1364—ок. 1450), будущего митрополита Киевского и Литовского; Константина Костенечского (ум. ок. 1439 г.), Андония Рафаила. Сам Стефан Лазаревич известен как автор морализирующего послания «Слово любви», задуманного в качестве образца эпистолярного жанра.<sup>55</sup>

Филологическое наследие Тырновско-Ресавской школы значительно и разнообразно. Это, во-первых, арсенал средств практической (т. е. постоянно реализуемой в литературной практике) риторики и стилистики церковнославянского языка, представленных в тырновско-ресавских памятниках. Во-вторых, это общепилологическая концепция текста Евфимия Тырновского и его школы, реконструируемая по его сочинениям (жития, похвальные слова) и по отражению в ресавской и последующей восточнославянской традициях (в творчестве митрополита Киприана, Елифания Премудрого, Пахомия Логофета). В-третьих, это орфографическая теория Константина Костенечского — единственная систематическая экспликация тырновского понимания письма, принадлежащая младшему современнику Евфимия. Указанная орфографическая теория изложена в сочинении «Книга Константина Философа и Грамматика о писменех» (заглавие дано И. В. Ягичем; далее принято сокращенное название памятника «Книга о писменех»).

Благодаря богатству содержания «Книга о писменех» имеет ключевое значение для понимания филологической традиции *Slavia Orthodoxa*. Памятник философичен и одновременно изобилует подробностями. Это позволяет понять сам стиль филологического мышления православной книжности Средневековья и вместе с тем увидеть источники и прототипы вполне конкретных рекомендаций, например в новоцерковнославянской орфографии Мелетия Смотрицкого.

Болгарский книжник Константин Костенечский учился у ученика патриарха Евфимия Андроника из Бачковского монастыря и был, по характеристике И. В. Ягича, «фанатическим приверженцем Евфимиевой реформы и образцов».<sup>56</sup> В 1410 г. Константин бежал от турок в Сербию. Стремясь внедрить нормы Тырновской школы в сербские скриптории и училища, он написал свою книгу. Это самое большое из всех известных рукописных славянских сочинений о языке (в наборном воспроизведении Ягича более ста страниц) содержит обличения «погрешающих» в письме и правила в соответствии с орфографическими установлениями Евфимия (который для Константина «вели-

<sup>55</sup> Т р и ф у н о в и ћ. Ћ. Кратак преглед југословенских књижевности средњег века. Београд, 1976. С. 111—112.

<sup>56</sup> Ј а г и ч. В. Константин Философ и његов живот Стефана Лазаревића деспота српскога // Гласник српског ученог друштва. 1875. Књ. 42. С. 231.

кий художник славянских писмен»). Кодифицированные Константином нормы в целом соответствуют реальным графико-орфографическим тенденциям тырновско-ресавской письменности, как она реконструируется исследователями (ср., например, подробный орфографический «типик», извлеченный из текстов Григория Цамблака А. И. Яцимирским<sup>57</sup>).

Для истории средневековой славянской книжности сочинение Константина ценно не только как регистрация тырновских норм, выполненная современником Евфимия, но в большей, может быть, мере — как человеческий документ, раскрывающий субъективную, психологическую сторону дела. Сочинение позволяет понять, почему внешняя, казалось бы, сторона письма так волновала книжников; почему в орфографической полемике грозят самыми страшными карами: «Потрѣба би или огонь или ина каа казнь подобна сеи вънезапу наити на пишущих и писаннаа, еже съжещи сих, паче же и нас вѣдещихх».<sup>58</sup>

Своеобразие лингвистического сознания, отразившегося в тырновской теории орфографии, имеет свои философские и собственно лингвистические истоки. Константин, как и Евфимий Тырновский, был близок к философии исихазма, развивавшего спиритуалистическое учение Плотина о «едином» и «сущем». В учении св. Григория Паламы (XIV в.), «завершителя мистико-аскетических традиций Византии»,<sup>59</sup> было найдено богословское преодоление дуализма чувственного и умопостигаемого, материи и духа. Тезис исихастов о единстве слова и сущности многое определил в филологической практике «греко-славянского» мира. С исихазмом связаны такие черты Тырновской школы, как обостренное внимание к начертательной (почерковой, графико-орфографической) стороне письма, в Славии беспрецедентное и никогда впоследствии не достигавшее такой силы; как буквализм переводов и связанное с ним пристрастие к калькам; особая изобразительность письма, которая пронизывала все уровни текста (от метафоричности и символизма стиля «плетения словес» до образного осмысления рисунка букв), и связанное с этим «стремление создавать из письменного произведения своеобразную икону, произведение для поклонения, превращать литературное произведение в молитвенный текст».<sup>60</sup> Д. С. Лихачев писал о своеобразной «филологичности» тырновского литературного стиля,<sup>61</sup> заключавшейся в постоянном анализирующем внимании авторов к слову (значимое соположение однокоренных слов и даже грамматических форм одного

<sup>57</sup> Я ц и м и р с к и й А. И. Григорий Цамблук: Очерк его жизни, административной и книжной деятельности. СПб., 1904. С. 389—402.

<sup>58</sup> Цит. по публикации И. В. Ягича в «Рассуждениях...», с. 396. Далее страницы указываются в скобках после цитаты.

<sup>59</sup> А в е р и н ц е в С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 300.

<sup>60</sup> Л и х а ч е в Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России... С. 113—114.

<sup>61</sup> Л и х а ч е в Д. С. «Преодоление слова» в стиле «плетения словес» и историко-литературное значение этого явления // Тырновска книжовна школа. 2. Ученици и последователи на Евтимий Тырновски. София, 1980. С. 14 и след.



слова, например *чюднаа бывша и бываютъ*; эффекты паронимазии и поэтической этимологии; синонимическая амплификация и вместе с тем противопоставление синонимов). Естественно, что в атмосфере такого повышенно чуткого отношения к внешней стороне текста орфография понималась как дело первостепенной важности. Если Григорий Палама сравнивал мир с литературным сочинением «. . . и вся вселенная — сочинение Самоипостасного Слова»<sup>62</sup>), то у Константина Костенечского постоянны уподобления письма человеку. Об утрате букв он пишет как о смерти людей («троя писмена погыбшаа»); в другом месте сравнивает утрату букв с потерей «удов тела»: «Якоже би кто чловѣка съвлъкъ одежде и три уды большее тѣла его отиель» (с. 395). В знаках письма он видит отражение мира людей: согласные он сравнивает с мужчинами, гласные с женщинами, паерок со сторожем или свидетелем, надстрочные знаки с одежаниями и т. д.

Лингвистические истоки концепции письма Тырновской школы связаны с особенностями древнейших семиотических представлений о взаимоотношении звука и смысла. Если современное языкознание исходит из асимметрии плана выражения и плана содержания в языке и, таким образом, считает фонему (и букву) незначимыми единицами, то для Константина элементарная единица текста оказывается непосредственным местилещем значения! В его трактовке между двумя полярными уровнями — буквой и значением слова или даже буквой и смыслом текста — нет тех промежуточных уровней (морфемно-словообразовательного, лексического, а если иметь в виду текст, то и микро- и макросинтаксического, логико-композиционного и проч.), которые видит здесь современная семиотика. С другой стороны, религиозное сознание исихастов не искало рационального объяснения связи духа и буквы, удовлетворяясь верой. При общей наивности лингво-семиотических представлений, под влиянием мистических теорий о единстве слова и сущности ранняя славянская книжность приписывала орфографии значимость, которой она реально не обладает: «правильное» написание рассматривалось как условие религиозно-идеологической ортодоксальности.

Константин прямо связывает «уклонение» в ересь с неверным написанием слов. При этом он семантизирует буквенные знаки: отождествляет смешение букв (например, *т* и *ѳ*, *ѳ* и *ѳ*, *ѳ* и *ѳ*, *ѳ* и *ѳ*) и смешение тех далеких смыслов, которые могут быть связаны с разным написанием. Например, в написании *единороднѣи* вместо *единородныхъ* он видит не просто смешение букв *ѳ* и *ѳ*, но сразу ересь: «. . . единѣм симъ писменем . . . являеши несториеву ересь в двѣ лица бога съкуца» (с. 401), поскольку *единородныхъ* — ед. ч., а *единороднѣи* — мн. ч. Об утрате фиты Константин говорит: «. . . юже растлיתי паметию не тѣию растлише, но погубише съ нею главнаа утврждения писаниюм» (с. 404), поскольку *ѳ* есть во многих важных словах, в том числе в греческом *θεος* 'бог'. Переведа пословно написания *тимѳоеи* 'чѣтыи бога' и *ѳимѳоеи* 'яростей бога' (или *от матеа* 'от суетна')

<sup>62</sup> Цит. по кн.: Л и х а ч е в Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Л., 1973. С. 97.

вместо *от Матѳеѧ* 'от Матфея'), он объясняет возникающие различия смыслов не просто неверным употреблением букв, но готов видеть соответствующие значения в самих буквах. Это первобытное удивление человека, впервые заметившего резкий характерный сдвиг при изменении лишь одного звука, усугублял характерный для религий Писания фетишизм по отношению к форме сакрального текста вплоть до мельчайших (и реально семиотически нерелевантных) подробностей начертаний знаков.

В правописании Константин видит самую важную сторону книжного дела. Так, отмечая лексические неточности и ошибки в переводах с греческого, он считает их меньшим злом, нежели орфографические «погрешения»: книга «с глаголами растленными» — как вино с водой или бисер с оловом, но «троя писмена съкрушенна» — «как съсуд уязвленъ . . . аще и цѣло се, и проливаете не въ потрѣбу; того ради зде веще уязвление прѣвааго» (с. 421). По верности правописания (а не по достоинствам устной речи) он судит об «умѣтелстве» книжника: «Аще и ѿ [30] и м̄ [40] днии с кымъ близъ ми суцу бесѣдую, и написание его не видѣвъ, не вѣмъ в конѣцъ умѣтелство его. Единый же питакъ руку его узрѣвъ, абие вѣса егова вѣмъ» (*питакъ* — обиходное письмо, греч. *πιττάκιον* — письмо, записка, грамота; Ягич, Рассуждения. . ., с. 436).

Таким образом, для орфографической концепции Константина Костенечского характерно отношение к графике и орфографии как к самой важной стороне книжного дела, вплоть до приписывания орфографической правильности сакрального значения. С указанной общей и определяющей чертой орфографической концепции Константина связаны более частные: 1) стремление к семантизации знаков письма; 2) стремление к усложнению кода письма; 3) следование иноязычным орфографическим образцам.

Стремление к семантизации знаков письма наиболее ярко отразилось в семантической специализации аллографов *o* и *o* в кириллице: рекомендовалось *o* употреблять в формах мн. ч., причем и в корнях и в окончаниях (*бѣоги, двѣорѣхъ, коснашиа, вѣмѣнихомь*), а также, в словах, производных от *многъ*.<sup>63</sup> Это правило, впервые сформулированное Константином, сложилось под влиянием семантики греческих названий аллографов *o* и *o* ('*o* малое' и '*o* большое'), а также отчасти под влиянием участия *o* и *o* в противопоставлении именных форм ед. и мн. ч. в греческом языке. Противопоставление *o/o* как показателей множественности-единственности сохранялось в продолжение всей истории церковнославянской письменности: и реально в памятниках, особенно при сходстве окончаний,<sup>64</sup> и в орфографических руководствах. Стремление семантически обосновать выбор аллографов или графем касается и других букв кириллицы. Древнейшей идеограммой, общепринятой в церковнославянских текстах, было написание «святых» слов под титулом с пропуском ряда букв. В своих

<sup>63</sup> Я ц и м и р с к и й А. И. Григорий Цамблак. . . С. 390—391.

<sup>64</sup> К а р с к и й Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979. С. 201.

истоках эта традиция несомненно связана с верой в магию письменных знаков. Правило о титле есть и у Константина; в восточнославянских руководствах оно одно из самых частых.

Усложнение кода церковнославянского письма в Тырновской школе сказалось в восстановлении забытых или забываемых букв кириллицы (прежде всего ж, ѿ, ѳ), в увеличении числа надстрочных знаков, знаков препинания и некоторых близких к ним идеографических знаков эмоционально-оценочного характера (ср. знаки «пору-гания» и похвалы; разные кавычки — для «правильных» цитат и для цитирования еретиков у Константина Костенечского). Это стремление усложнить код письма оставалось отличительной чертой всей церковнославянской филологической традиции вплоть до XVIII в. Ни одно рассуждение о славянской азбуке, ни одна старинная грамматика не допускают и мысли об исключении каких-либо знаков. В этом одна из отличительных особенностей старинного понимания письма: в азбуке видели средство передачи не только звуков речи, но и непосредственно различных смыслов и важных для «греко-славянского» мира ассоциаций. Буквы, лишние в фонологическом плане, были нужны для обозначения цифр; для сохранения близости облика греческих слов и их славянских транслитераций; наконец, как знаки преемственности между греческим и славянским письмом.

В Тырновской школе вообще значительно усилилась ориентация на греческую орфографию. Культивировались написания осознаваемых греческих заимствований с возможной близостью к оригиналу: с различием этимологических ф и ѿ, с употреблением ξ, ψ, υ. Под греческим влиянием сложилось различие в дистрибуции аллографов *и* и *і*. До реформы Евфимия *і* десятиричное было только необязательным сокращением *и* и восьмиричного в конце слов и особенно под конец строки, причем из двух соседних *и* сокращалось второе. В греческом письме дистрибуция η и ι (прототипов кириллических *и* и *і*) сложилась так: буквенные сочетания ιη, ια, ιε, ιο были весьма частыми, а сочетание ηι почти не встречалось. Поэтому и в тырновских нормах было узаконено употребление *і* перед гласными, в том числе перед *и*.<sup>65</sup> Как известно, этому правилу суждена была долгая жизнь: в русском письме — до реформы 1918 г.

Следование греческой орфографии в «Книге о писменех» находит теоретическое обоснование. Константин не раз рассуждает о преемственности славянского письма по отношению к греческому и еврейскому. По мысли Константина, для славянского письма эта связь так же важна, как для человека важно знать своих родителей. Он советует соблюдать точность в письме «паче ли грѣкъ» именно потому, что письмо и учение славяне получили при посредстве греков. В своей книге он даже меняет алфавитный порядок кириллицы — вначале даны те 24 буквы, которые совпадают с греческим алфавитом, затем специфические славянские буквы. Константин не раз говорит также, что собирается написать руководство по славянскому письму, во всем равняясь на «Эротемату» Мануила Мосхо-

<sup>65</sup> Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967. С. 127, 132.

пула (сочинение по орфографии в вопросно-ответной форме самого известного византийского грамматика и математика, 1265—1316 гг.). Оценивая зависимость Константина от греческих образцов, И. В. Ягич писал, что Константин был «по воспитанию и образованию скорее грек, чем славянин; его уступчивость авторитету греков не знала пределов».<sup>66</sup>

Как многие старинные филологические сочинения, книга Константина значительно шире своей прямой темы. Она содержит философские пассажи, толкования молитв и стихир, обличения еретиков, критику «неправославных» бытовых черт (например, так называемого «кровоядения») и т. п. В ряде глав Константин пишет о школьной практике обучения грамоте, в том числе об интересных для истории культуры обрядовых установлениях (начертание креста и произнесение слов *кръсте, помогаи* в начале обучения; крестообразная запись молитвы после усвоения азбуки и т. д.). Здесь же Константин приходит по сути к звуковому методу обучения грамоте. По мысли Константина, названия букв не нужны при обучении чтению; вначале мальчик должен «възглаголати тѣчию глаголати, писменем же имена оставляти» (с. 435). В азбуке он не приводит кириллических названий гласных букв (*азъ, естъ, ижеи* и т. д.), но называет их в соответствии со звучанием *а, е, и, ю* и т. д., сохраняя, правда, некоторые из традиционных обозначений — *иже, ять* (с. 400). К сожалению, дидактические находки Константина были забыты, и звуковой метод еще дважды открывали заново: в первой половине XVI в. — сподвижник Мюнцера Валентин Иккельзамер, в 30-х гг. XIX в. — Жозеф Жакото.

Сочинение Константина Костенечского надолго определило понимание орфографии в православной книжности. Разумеется, дело здесь не обязательно в прямом воздействии именно «Книги о писменех», но в многовековой и глубокой общности филологической культуры южного и восточного славянства. Вместе с тем есть основания говорить и о непосредственном влиянии «Книги о писменех».

Полный текст сочинения Константина дошел в единственном Карловицком списке метрополичьей библиотеки в Сремских Карловицах), напечатанном Ягичем. Однако известны его сокращенные редакции. Наиболее ранняя из них (конца XV или начала XVI в.) — «Сиа словеса въкратцѣ избранна от книги Константина Философа Костенчскааго бывшего учителя сръбскаго въ дни благочестивааго Стефана Деспота Господина сръбlichem и имать образъ сицевъ к писателюемъ» — была открыта и издана по двум спискам В. И. Григоровичем,<sup>67</sup> а затем с новыми разночтениями — И. В. Ягичем.<sup>68</sup> «Сиа словеса въкратцѣ. . .» утратили полемическую страстность оригинала; почти все рассуждения на конфессиональные темы были опущены, зато иллюстраций к правилам стало значительно больше. Ягич знал четыре южнославянских и три русских списка этой редакции;

<sup>66</sup> Ягич И. В. Рассуждения. . . С. 372.

<sup>67</sup> Григорович В. И. Статьи, касающиеся древнего славянского языка. Казань, 1852. С. 36—52.

<sup>68</sup> Ягич И. В. Рассуждения. . . С. 535—553.

Б. Ангелов указывает 17 списков.<sup>69</sup> Кроме того, Ягич в «Рассуждениях» публикует еще три извлечения из «Сиа словеса въкратцѣ. . .». Это, во-первых, известная в списках XV и XVII вв. компиляция «О тои силѣ книжной речем здѣ въкратцѣ о силах гласу», трактующая о знаках ударения («силах»), титле, разновидности кавычек и т. п. Во-вторых, свод правил о выборе букв, с примерами трудных написаний на каждую букву по алфавиту «Речем же здѣ и о буквах сирѣч о словах азбуцѣ, како писати их в коемждо складе и како верху их каяжд сила различно полагається» и фрагмент «О съставлении слов азбучных на разпространение словенскаго языка», в котором говорится о «сложных» буквах (ы, ю, ѿ'). Зависимость от «Книги о писменех» присутствует в старинных букварях. Т. А. Быкова установила, что все буквари, начиная с Острожской азбуки Ивана Федорова (1578), сохраняют те восемь молитв, которые приводит и толкует Константин. К его методическим приемам восходит традиция славянских букварей давать перечни букв в прямом и обратном порядке.<sup>70</sup> Главное же то, что вплоть до XVIII в. в православной книжности сохраняла актуальность основная мысль «Книги о писменех» Константина Костенечского — мысль о религиозно-идеологической значимости «правильных» написаний.<sup>71</sup>

2.6. С эпохой славянского «предвозрождения» связан и первый сохранившийся на славянском языке собственно грамматический трактат — статья «Осьмь честии слова». По данным И. В. Ягича, это перевод с греческого, выполненный в Сербии в начале или первой половине XIV в.<sup>72</sup> Высказывалось мнение, что о теории восьми частей речи славяне знали задолго до XIV в.<sup>73</sup> Дело в том, что в Житии Константина-Кирилла говорится о его переводе в Херсонесе грамматики: «. . . и дошедъ до Корсоунѣ, наоучисѣ тоу жидовьствѣ бесѣдѣ и книгамъ, осьмь чѣстии грамотикѣа преложъ, и ѿтъ тогѣ разоумъ болѣи въспрѣимъ».<sup>74</sup> По-видимому, речь идет о переводе практического руководства по еврейскому языку.<sup>75</sup> Между тем известно, что семитские грамматики обычно делились на три части.<sup>76</sup> Очевидно, что слова про «осьмь чѣстїи» — это привычное в греко-славянском мире

<sup>69</sup> Ангелов Б. С. Из старата българска, руска и сръбска литература. София, 1967. Кн. 2. С. 200—204.

<sup>70</sup> Быкова Т. А. Место «Букваря» Ивана Федорова среди других начальных учебников // Известия АН СССР. ОЛЯ. 1955. Т. 14. № 5. С. 471, 473.

<sup>71</sup> Подробнее см.: Мечковская Н. Б. Архаическое и новое в лингвистическом сознании одной эпохи: (К характеристике восточнославянских грамматик XVI—XVII вв.) // Учен. зап. Тартуского университета, вып. 710. Исследования по истории славянского языкознания. Slavica Tartuensia, I. Тарту, 1984.

<sup>72</sup> Ягич И. В. Рассуждения. . . С. 364—365.

<sup>73</sup> Jakobson R. Ivan Fedorov's Primer of 1574/Facsimiled with comment by R. Jakobson. Cambridge (Mass.), 1955. P. 16; Супрун А. Е. Славянская филологическая мысль XI—XII вв. как часть культуры древней Славии // Славянские культуры и мировой культурный процесс. Минск, 1985. С. 76—77.

<sup>74</sup> Цит. по: Лавров П. А. Материалы. . . С. 191.

<sup>75</sup> Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. М., 1984. С. 62—63.

<sup>76</sup> Флоря Б. Н. Сказания. . . С. 115.

обозначение грамматики. Даже если считать приведенный пассаж поздней вставкой, все же он позволяет думать, что о восьми частях речи в славянской книжности знали до XIV в.

Памятник был открыт К. Ф. Калайдовичем; он же блестяще осуществил его первое научное издание и комментирование.<sup>77</sup> Правда, Калайдович атрибутировал статью Иоанну экзарху Болгарскому. Ошибочность этого мнения позже показали А. В. Горский и К. И. Невоструев; <sup>78</sup> с ними согласился И. В. Ягич, напечатавший в «Рассуждениях» сербский (Хилендарского монастыря) и восточнославянский (Румянцевского музея) списки статьи. Кто из славянских книжников перевел статью, остается неизвестным. Неизвестен и ее греческий первоисточник. Церковнославянская традиция приписывала оригинал видному византийскому богослову, философу, поэту, отцу церкви Иоанну Дамаскину (ок. 650—до 754), впоследствии канонизированному в православии. Однако среди известных 150 сочинений Иоанна Дамаскина грамматики не обнаружено.<sup>79</sup>

Для общеевропейской традиции содержание статьи не ново: Горский и Невоструев указали, что сведения статьи встречаются еще в грамматике Дионисия Фракийца и комментариях Георгия Хировоска к грамматике Феодосия. И. В. Ягич связывал статью с сочинениями Мануила Мосхопула.<sup>80</sup> М. Вейнгарт, считая «Осьмь честию слова» компиляцией, ее основной источник видел в грамматике Георгия Хировоска.<sup>81</sup>

По данным Л. П. Жуковской, известно около 20 восточнославянских списков статьи, но, как замечает исследовательница, «в хранилищах их должны быть сотни».<sup>82</sup> Древнейший из сохранившихся списков — середины XIV в., сербский, рашского письма — опубликовал Э. Вайер с разночтениями по десяти спискам.<sup>83</sup> У восточных славян статья известна по меньшей мере с начала XV в.: древнейший из сохранившихся восточнославянских списков содержит запись точной даты и места написания своего оригинала — 1414 г., Москва.<sup>84</sup> Большинство списков приходится на XVII в.

Статья известна в двух редакциях: в ранней из названных восьми частей речи (*име, рѣчь* 'глагол', *причестие, различие* 'член', *мѣстоимене, прѣдлог, нарѣчие, сьоузь*) характеризуются первые четыре;

<sup>77</sup> К а л а й д о в и ч К. Ф. Иоанн, экзарх Болгарский. М., 1824.

<sup>78</sup> Г о р с к и й А. В., Н е в о с т р у е в К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отд. 2. Писания святых отцев. Ч. 2. Писания догматические и духовно-нравственные. М., 1859. С. 311.

<sup>79</sup> Там же. С.311; А р х а н г е л ь с к и й А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности: (Обзорение рукописного материала) // ЖМНП. 1888. август. С. 255; W e i h e r E. Die älteste Handschrift des grammatischen Traktats «Über die acht Redeteil» // Anzeiger für slavische Philologie. 1977. Bd 9. Teil 2. S. 368.

<sup>80</sup> Я г и ч И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. С. 23.

<sup>81</sup> W e i n g a r t M. Dobrovského Institutiones. Bratislava, 1923. S. 10.

<sup>82</sup> Ж у к о в с к а я Л. П. Барсовский список грамматического сочинения «О восьми частях слова» // Східнослов'янські граматики XVI—XVII ст. Київ, 1982. С. 50.

<sup>83</sup> W e i h e r E. Die älteste Handschrift. . . S. 392—417.

<sup>84</sup> Ж у к о в с к а я Л. П. Барсовский список. . . С. 29.

в поздней редакции добавлены описания остальных частей речи. Понятие о «различии», которое позже войдет во все церковнославянские грамматики, исключая грамматику (в 1-м и 3-м изданиях), вызвано стремлением найти в славянском языке соответствие греческому артиклю (*ἄρθρον*). Как известно, в старославянском и церковно-славянских языках члена не было, однако универсализм средневековой грамматики требовал указать в своем языке те же категории, которые имелись в классическом языке. Трактовка славянских указательно-относительных местоимений *И, ИИ, Ю* в качестве члена («различия») была по-своему продуманным решением. Для истории традиции интересен, однако, не только факт внесения в грамматическое описание чуждой категории, но и то, что уже в первой грамматической статье указывалось на несходство славянского и греческого «различия»: «И убо различиа в еллинском языкѣ многа суть, в словѣньском же множае сих их же рѣхом не вмѣщаются».<sup>85</sup>

После определения каждой части речи указываются ее основные грамматические категории, которые названы *последующа*: *роды, падежи (и падения), числа, изложение* 'наклонение', *залогъ, врѣмена, лица*. Как «последующие» рассматриваются также словообразовательные и формообразовательные подклассы слов (*виды, начертаниа, образы, супружества* 'спряжения'). В соответствии с перечнями «последующих» систематизирован языковой материал: даны образцы склонения существительных трех родов (*чловѣкъ, жена, существо*), примеры глагольных времен, наклонений, залогов, лиц, причастий. Однако в целом объем языкового материала статьи невелик. Очевидно, ее назначение было не столько в том, чтобы учить склонять и спрягать, сколько в теоретическом осмыслении языка. Статья содержала целостную, достаточно общую и вместе с тем четкую картину грамматического устройства языка. До первопечатных восточнославянских грамматик статья не была превзойдена. Сочинения Максима Грека уступают ей и в глубине трактовки грамматических категорий, и в разветвленности классификаций. Печатные грамматики отнюдь не опровергали, а только уточняли и разъясняли этот общий чертеж.

Статья «Осьмь честиі слова» замечательна тем, что впервые открывала славянскому читателю те абстрактные и обобщенные значения, которые содержатся в грамматических формах. О том, какими представлялись эти значения, как их удавалось формулировать, можно судить по нескольким определениям статьи: «Рѣчь же есть честь слову непадаючи, сказателна лицу и врѣмени, дѣйствию же и страсти и обѣма въкупѣ, от коего лица дѣйствиеть се или страждеть и въ кое врѣме» (с. 331); «Есть же и другое изложение, еже зоветь се необавно не бо можеть изъязвити само о себѣ лица ли врѣмене или залога ни же иное кое послѣдующих рѣчи. Сего ради есть егда и име нарицаеть се» (с. 332), и т. п.

---

<sup>85</sup> Цит. по изданию И. В. Ягича в «Рассуждениях», с. 342. Далее страницы указываются после цитаты в скобках.

Отдельные пассажи статьи носят обобщенно-философский характер. Таково начало статьи, где речь идет о «душе» и «плоти» в языке (т. е. об идеальном и материальном); таково философское определение времени, восходящее, по-видимому, к Мосхопулу,<sup>86</sup> на основе которого объясняются глагольные времена: «Врѣме же есть съпротезаемо мира съставление, въ немже всако мѣрить се движенье, ли звѣзды, ли животь, ли что таковыхъ» (с. 333), т. е. «время есть протяженное составление [заполнение] мира, в котором измеряется всякое движение — звезд ли, животных или другого подобного».

Теоретическая устремленность статьи, ее внимание к грамматической семантике, ее компактность и логичность — все это объясняет, почему в православной книжности статья имела значимость основополагающего языковедческого сочинения. Исключительно высокий авторитет статьи связан еще и с ее прежней атрибуцией Иоанну Дамаскину. Для православия в средние века Иоанн Дамаскин — это то же, что Фома Аквинский для католического Запада или Ибн Сина для мусульманского Востока. Иоанн Дамаскин был завершителем православной патристики. Отношение к статье как к «святоотеческому» сочинению крупнейшего авторитета православия делало ее церковнославянским грамматическим каноном. Ссылка на статью служила непререкаемым доводом в споре; отступление от ее грамматической схемы трактовалось как ересь или «латинство».

Известны ее многочисленные переработки, в том числе катехизические (вопросно-ответные); известны и некоторые другие грамматические статьи, одним из источников которых был трактат «Осьмь честию слова», но которые вместе с тем не сводимы к нему. Р. О. Якобсон называет «Осьмь честию слова» в качестве одного из бесспорных источников букваря Ивана Федорова 1574 г.<sup>87</sup> В 1586 г. статья была подготовлена к изданию просветителями Острожского учебного кружка и напечатана в Вильне, при этом в послесловии, написанном на «простой мове» (литературный язык белорусского и украинского населения Великого княжества Литовского), сказано: «. . . граматыка словеньска языка с газофилакыи славного града Острога. . .». Дж. Рауэ называет это редкое издание в списке первых печатных европейских грамматик; при этом он считает памятник грамматикой церковнославянского языка, написанной на белорусском языке (Bielo-Russian), чему основанием послужили слово *кграматыка* и «проста мова» послесловия.<sup>88</sup> По жанру «Осьмь честию слова» — это все-таки еще не грамматика, а статья, но несомненно, что она явилась предпосылкой и предшественницей первых грамматик в ареале Slavia Orthodoxa.

---

<sup>86</sup> М а т х а у з е р о в а С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976. С. 22.

<sup>87</sup> J a k o b s o n R. Ivan Fedorov's Primer. . . P. 16—18.

<sup>88</sup> R o w e J. H. Sixteenth and Seventeenth Centuries Grammars // Studies in the History of Linguistics. Traditions and Paradigms. Bloomington; London, 1974. P. 372.



### 3. Западные славяне

3.0. После изгнания учеников Кирилла и Мефодия из Моравии и Паннонии у западных славян распространяется латинская литургия. Однако славянская традиция не уходила быстро и бесследно. Славянская служба, по-видимому, сохранялась какое-то время в отдаленных областях Моравии и Паннонии; она активизировалась в Чехии Пршемысливичей, куда бежала часть учеников Кирилла и Мефодия;<sup>89</sup> под моравским и чешским влиянием славянская литургия могла быть известна в Польше (Краковская земля, прежде чем стать владением великопольской династии Пястов, некоторое время входила в состав Моравского, а затем Чешского государства).<sup>90</sup> Следы старославянской литургии присутствуют в чешской и польской церковной терминологии, в старейших церковных песнях (в чешской «*Hospodine, pomiluj nu*», польской «*Bogurodzica*»), в церковнославянском элементе старейших чешских глосс к латинским текстам.

И все же с победой латинской литургии книжно-письменная культура западных славян на несколько веков становится латиноязычной. Латынь приобщила Чехию и Польшу к латинской письменной культуре средних веков, позже — к идеалам западноевропейского гуманизма и Возрождения. Вместе с тем латынь рано поставила перед западными славянами проблему, которой до XVII в. не знали в *Slavia Orthodoxa*, — проблему сосуществования латыни и народного языка в качестве языков просвещения и культуры. В силу генетической близости церковнославянского и народных славянских языков у православных славян церковнославянский язык длительное время воспринимался как этнически «свой» книжно-письменный язык, при этом различия между церковнославянским и народным языком осознавались как различия между стилями одного языка. Такое сосуществование языков типично для диглоссии.<sup>91</sup> В ареале *Slavia Latina* соотношение латыни и народного языка всегда было двуязычием, но не диглоссией. Для латинско-чешского и латинско-польского двуязычия характерны внутренняя противоречивость и принципиальная неустойчивость. С одной стороны, приобщиться к латыни нельзя было без помощи народных языков, при этом, однако, «вводя» в латынь, народный язык «открывал» в себе те же семантические категории, что и в латыни и, таким образом, наращивал свой смысловой и выразительный потенциал, вырастая из помощника в соперника.

<sup>89</sup> Chaloupcecký V. Slovánská bohoslužba v Čechách // *Věstník Československé akademie věd*. 1950. N 4; В е ч е р к а Р. Приносьт на Кирил и Методий за чехословашката култура // *Език и литература*. 1974. год. 29. № 5.

<sup>90</sup> Л е р - С п л а в и н с к и й Т. Польский язык // М., 1954. С. 45; Н а в р á н е к В. Otázka existence církevní slovaštiny v Polsku // *Slavia*. 1956. N 2; М и л е в с к и Т. Język staro-cerkiewno-słowiański w średniowiecznej Polsce // *Prace językoznawcze*. 1965. N 15; R o s p o n d S. Problem liturgii słowiańskiej w południowej Polsce // *Silesia antiqua*. 1968. T. 10.

<sup>91</sup> О понятии «диглоссия» и «двуязычие» применительно к восточнославянским языковым ситуациям см.: У с п е н с к и й Б. А. Языковая ситуация в Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.

С другой стороны, каждый шаг по пути демократизации просвещения и культуры (в русле Возрождения или Реформации) приводил к расширению сфер использования и объема культурной коммуникации на народном языке, что усиливало его позиции, способствовало его литературной обработке и совершенствованию. При этом, однако, кодификация и культивирование народного языка происходили в большой зависимости от латинских грамматических и стилистико-риторических авторитетов и традиций. Латынь, таким образом, сохраняла значение образцового языка; для народного языка она была и соперником, и наставником.

Для судеб народного языка исключительно важны процессы этнической консолидации и история государственных объединений. После распада Великоморавской державы (895 г.) чешские и моравские земли объединились в раннефеодальном Чешском государстве Пршемысливичей (с центром в Праге); восточные словацкие земли были захвачены венграми. Все последующие века, вплоть до Габсбургского завоевания в 1526 г. и особенно поражения Чешского восстания 1618—1620 гг., растет политическая самостоятельность Чехии. По оценкам историков, феодальная раздробленность не достигала в Чехии таких масштабов, как в других европейских странах, и длилась сравнительно недолго.<sup>92</sup> Это способствовало консолидации народных сил и упрочению независимости. При Болеславе II (конец X в.) в Праге создается чешское епископство. С 1086 г. Чехия становится королевством. При Пршемысле II (1253—1278) Чехия добивается независимости от германского императора. Чешский король Карл I (1348—1378) сам становится императором так называемой Священной Римской империи (под именем Карла IV). При нем Чехия достигает наибольшего могущества и расцвета. Карл основал 9 университетов, в том числе Пражский — первый университет в Центральной Европе. В Праге им заложен также Эмаузский монастырь (Emauzu или Na Slovanech), впоследствии знаменитый «славянский» культурный центр (в противоположность «латинскому» университету). Приглашенные Карлом хорваты-бенедиктинцы возродили здесь славянскую литургию. В богатейшей монастырской библиотеке хранились привезенные из Хорватии церковнославянские книги на глаголице; хорватской глаголицей здесь записывались и старочешские тексты.

Государственное объединение польских земель в отличие от Чехии долгое время оставалось незавершенным. Первое Польское раннефеодальное государство великопольской династии Пястов (вторая половина X в.) объединяло почти все польские земли, однако в XI в. Мазовия, Поморье и Силезия отделились. В 1000 г. в Гнезно было учреждено польское епископство, независимое от немецкой церкви. В 1025 г. Польша стала королевством. Но в XII в. Польша вновь распалась на уделы. Объединение Великой и Малой Польши происходит в середине XIV в., однако Восточное Поморье с Гданьском воссоединяются с Польшей только в 1466 г. В Кракове, древней столице

<sup>92</sup> История средних веков / Под ред. Н. Ф. Колесниченко. М., 1980. С. 287.

Польского королевства, в 1364 г. был заложен университет. Этническая консолидация, развитие государственной самостоятельности, культуры и просвещения укрепляли позиции народных языков, обостряли их культурную конфронтацию латыни.

И в Чехии, и в Польше языковая ситуация осложнялась еще одним компонентом — немецким языком. Немецкая экспансия была постоянной. Политические связи принимали различные формы (например, вассалитет чешских князей и королей по отношению к германским императорам до середины XIII в.; главенство Чехии в «Священной Римской империи» при Карле I и его сыне, в 1346—1378 гг.; вассальная зависимость польского Западного Поморья от германского императора с начала XII в.; союз Мазовецкого князя с Тевтонским орденом против пруссов и т. д.), контакты бывали мирные и военные, однако в целом политический перевес был на стороне немцев. Много немцев оказалось в среде католического духовенства, особенно монашества. Монастыри призывали из Германии на свои земли рыцарей и крестьян. Чешские и польские феодалы также заселяли пустующие земли немецкими колонистами. Появляются духовно-рыцарские и нищенствующие ордена, которые также состояли преимущественно из немцев. Королевские власти покровительствовали немецким купцам и ремесленникам, в результате в чешских и польских городах господствует немецкий патрициат.

С упрочением государственной самостоятельности Чехии и Польши, с развитием этнического самосознания чехов и поляков нарастало их сопротивление немецкой экспансии; при этом национальную окраску приобретали и социальные противоречия (особенно в Чехии). В первых апологиях народного языка ему противопоставлялась не латынь, а именно немецкий язык.

В силу типологического сходства языковых ситуаций филологическая активность в Чехии и Польше развивалась в сходных направлениях, хотя и с известной разновременностью и с разной интенсивностью. Филологическая забота о народном языке начиналась глоссами в латинских текстах; собрания глосс (глоссарии) подготавливали первые латинско-чешские и латинско-польские словари, терминологические и общие;<sup>93</sup> затем, на фоне растущего использования письма в сфере письменной культуры, появляются трактаты, при-

<sup>93</sup> Эта типологически первая фаза в становлении филологической традиции представлена также в южнославянских ареалах *Slavia Latina*. Старейшие хорватские (кайварские) глоссы XI—XII в. читаются в латинском кодексе *Radovana Biblija*; глоссы обычны в загребских латинских рукописях и школьных руководствах. Старейшие из сохранившихся в Загребе латинско-славянских словарей относятся к XII, XIV, XV вв. Южнославянская лексика входит в крупные многоязычные словари. Один из них — большой ботанический арабско-греческо-латинско-славянский словарь, хранящийся в Венеции, — связывали с именем венецианского медика Бенедикта Риния и датировали 1415 г. (Я г и ч И. В. История славянской филологии. С. 13). Позже словарь стали атрибутировать медику из Задара Никола Роккабонелле (*Roccabonella*); он составлен в 1449 г.; отдел *sclavonice* представлен здесь хорватской лексикой (*Leksikografija // Enciklopedija Jugoslaije*. Zagreb, 1962. 5. S. 503—513). От конца XV в. сохранился рукописный арабско-персидско-греческо-славянский словарь, составленный (судя по славянскому материалу) сербом или боснийцем.

званные упорядочить орфографию; далее, руководства по практической риторике (образцы деловых бумаг, писем); наконец, рассуждения, утверждающие достоинство и культурные возможности народного языка. Эти первые четыре века (XII—XV) письменной традиции на народном языке и первые опыты филологической защиты народного языка готовили почву для собственно грамматических сочинений о народном языке. Они появляются в следующем, XVI веке: в 1533 г. — «Grammatyka česka v dvojí strane. Orthographia przedkem. Etymologia potom» Вацлава Филомата, Бенеша Оптата, Петра Гзеля (г. Намешт); в 1568 г. — «Polonicae grammatices institutio» Петра Статориуса-Стоеньского (Краков). Наряду с защитой народного языка и в Чехии, и особенно в Польше XIII—XV вв. значительное развитие получили штудии над латинскими и греческими источниками.

### 3.1. Чехия

**3.1.1. Лексикография.** Старейшие чешские глоссы, так называемые Ягичевы глоссы, — это 122 лексических пояснения, на рубеже XI—XII вв. внесенные в латинский текст Евангелий от Матфея и от Марка. Вот два из них: в стихе Мф 7, 14 «*Quam angusta porta et arba uia quae ducit in uitam*» 'Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь' к выделенным здесь латинским словам даны пояснения соответственно *tezna* и *zestoci*. И. В. Ягич, первый издатель и исследователь памятника, указал на смешанный южнославянско-чешский состав глосс и видел в этом отзвук кирилло-мефодиевского начала литургии у чехов.<sup>94</sup>

Чешские глоссы в латинских рукописях многочисленны, сравнительно хорошо изучены, многие изданы.<sup>95</sup> Жанровый состав глоссируемых латинских текстов самый пестрый: псалтырь, книги библейских пророков (Иеремии, Даниила, Захарии); сочинения отцов церкви (Иеронима, Бонавентуры, св. Бенедикта, папы св. Григория); сборники церковных гимнов, молитвенники; многочисленные проповеди, в том числе латинские проповеди Яна Гуса, настоятеля Градштского монастыря Матея (1436); сочинения римских классиков: «Энеида» Вергилия, тексты Овидия, Плавта (глоссы первой половины XV в.); сборники латинских афоризмов; средневековые латинские сатирические сочинения (например, глоссы начала XV в. в стихотворном шуточном руководстве к обжорству и пьянству; глоссы в сборнике латинских сатир). Глоссы должны были облегчить понимание латинского текста, нередко — и его осмысленное воспроизведение. Регулярные подстрочные глоссы функционально сближались с частичным переводом, обычно тоже подстрочным. Известны тексты с маргиналь-

<sup>94</sup> J a g i ć V. Kirchenslavisch-böhmische Glossen saec. X—XII // Denkschriften Akad. Wien, Philos.-hist. Kl. 1903. 50.

<sup>95</sup> Сведения о памятниках, содержащих глоссы, об издании глосс и соответствующая библиография систематизированы в сводном томе к Старочешскому словарю. См.: Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha, 1968.

ными глоссами, подстрочным переводом и комментарием (например, Пасхальная песнь Седелиуса, начало XV в.). Такие переводы, выраставшие из глосс, выполнялись не для замены латинского текста чешским, а для полного уяснения смысла оригинала и, шире, для овладения латынью.

Встречаются глоссы, образующие определенное тематическое единство, например чешские названия домашних инструментов в латинском сборнике XIII в. (так называемые «Венские глоссы»). Подобные тематические подборки глосс были одним из переходов от глосс к глоссариям. Таково происхождение более десяти старинных ботанических словариков. Древнейший из них, 1300 г., сохранился в рукописи Оломоуцкого городского архива. Другой латинско-чешский ботанический словарь 1402 г. содержится в латинской рукописи «Этимологий» Исидора Севильского; здесь сгруппированы названия растений и чешских глосс к ним. Аналогично происхождение терминологических словариков в нескольких латинских гербариях. Помимо ботанических и лекарских словариков встречаются своды латинско-чешских соответствий из других тематических областей: юридические термины; словарик абстрактных понятий; названия грехов и грешников; подборка из 50 наименований, связанных с колесным транспортом («Instrumenta currus», конец XIV в.).

Непосредственно к лексикографии подводили также чешские глоссы в латинских словарях и переводы словарей. Таковы чешские глоссы в знаменитой латинской энциклопедии X в. «Mater verborum». Правда, как доказал А. Патера, из 1300 глосс только четверть принадлежит действительно XIII в.<sup>96</sup> Однако и с этим ограничением глоссы в «Mater verborum» представляют собой выдающееся явление в чешской средневековой лексикографии.

В XIV в. появляются экзегетические словари-комментарии к латинским библейским текстам — так называемые *mamotrektu* (от лат. *mammotrectus* — ‘кормилица, кормящая грудь’). От XV в. сохранились 16 словарей этого вида и несколько фрагментов. В таких словарях объяснения того, что могло быть непонятно в библейских книгах, следовало в том же порядке, в каком встречались трудные места в самих текстах. Позже распространяется алфавитный порядок. Один из известных памятников такого рода — это «Krumlovský výklad», латинско-чешский библейский словарь первой половины XV в. Некоторые латинско-чешские экзегетические словари создавались на основе известных латинских словарей-комментариев, таких как алфавитный свод толкований переводчика Вульгаты бл. Иеро-

---

<sup>96</sup> Остальные глоссы значительно более позднего времени. Не исключено, что среди них есть и «подложные», «изобретенные» слова. И. И. Срезневский, высоко оценивая языковое «чутье», ум и знания неизвестного «поддельщика» (он видел в нем исследователя ранга Добровского), все же допускал и такой вопрос: «Не списаны ли они [чешские глоссы] с какого-нибудь утраченного или скрывающегося древнего памятника?». См.: Патера А. О. Чешские глоссы в «Mater verborum»; Рукопись XIII века в библиотеке Чешского музея в Праге // Сборник ОРЯС. 1878, т. 19. № 2; Срезневский И. И. Чешские глоссы в «Mater verborum». Дополнительные замечания // Там же.

нима к еврейским именам в Библии (рубеж IV—V вв.); как «Expositiones vocabulorum de evangeliiis»; как старейший латинский маммотрект Мархесинуса (Marchesinus de Regio), известный не только в чешских рукописях первой половине XV в., но и напечатанный в Моравии в 1476 г.<sup>97</sup>

Вырастая из глосс к латинским текстам, средневековая чешская лексикография сохраняла связь с латинскими источниками и оставалась двуязычной. Выдающиеся памятники отличаются не столько независимостью от латинской традиции, сколько привлечением огромного чешского лексического материала. Такими памятниками являются знаменитые словари Кларета.

Магистр Кларет, он же доктор медицины Бартоломей из Хлумца (ум. 1379), составил три больших стихотворных лексикона, которые сейчас принято называть «Vokabulář gramatický», «Bohemář» и «Glosář».<sup>98</sup> Латинскими источниками словарей Кларета могли быть такие популярные средневековые энциклопедии, как «Liber de natura rerum» (1228—1244) Томá де Кантипре (Thomas Cantipratensis) и «De proprietatibus rerum» Бартоломея де Гланвилля (Bartholomaeus Anglicus), парижского профессора середины XIII в.<sup>99</sup>

Словари создавались в Праге в середине XIV в. и предназначались для учеников школ и студентов факультета «свободных наук» (этот факультет должен был пройти каждый, кто хотел изучать право, медицину или теологию). Словари Кларета, в которых латинские термины получали чешские соответствия, служили терминологическим введением во все университетские науки. По масштабности и смелости терминовтворчество Кларета не имеет аналогов в средневековой Европе. Этот опыт ч е х и з а ц и и (počeštění)<sup>100</sup> словаря науки говорит о высоком этно-языковом сознании народа и его готовности к демократизации культуры.

В поисках чешских соответствий Кларет активизировал все лексические возможности чешского языка; в его терминологии высок удельный вес лексических новообразований, а также словообразовательных и семантических калек. Волею судеб чешского литературного языка специальная терминология Кларета в основном оказалась забыта, однако не бесследно: многие из его терминов служили прото-

<sup>97</sup> R u b a В. К latinsko-českým mamotrektům // Listy filologické. 1940. 67.

<sup>98</sup> Словари известны в ряде списков. Наиболее авторитетное издание осуществлено В. Флайшхансом в 1926—1928 гг. См.: F l a j š h a n s V. Klaret a jeho družina. Sv. 1. Slovníky veršované. Praha, 1926. Sv. 2. Texty glosované. Praha, 1928. Фрагменты из словарей Кларета по этому изданию напечатаны в антологии: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, 1957 (s. 765—769), и в пособии: Čítanka ze slovanské jazykovědy v českých zemích. 1982. Brno. 1. S. 45—47. Лексикологический комментарий к словарям Кларета см. в работах: M i c h á l e k Е. 1) К jihoslovanským prvkům v Klaretově Glosaři. Slavia. 1981. Roč. 50. Seš. 2; 2) К nejasným výrazům v kapitole De nautis Klaretova Glosáře. Slavia. 1983. Roc. 52. Ses. 1.

<sup>99</sup> V e č e r k a R. Slovanská jazykověda u nás od počátku do osvícenství (od poloviny 9. stol. do poloviny 18. stol.) // Čítanka ze slovanské jazykovědy. . . S. 6.

<sup>100</sup> Dějiny české literatury. Praha, 1959. Sv. 1. S. 128.

типами более поздних обозначений. Ср. некоторые латинские и чешские параллели из «*Vokabulár gramatický*» и их современные чешские соответствия: *vocalis* — *hlas* — *samohlaska*; *dyphtongus* — *dwoyhlas* — *dwojhlaska*; *verbum* — *slovo* — *sloveso*; *substantivum* — *podstale* — *podstatné jméno*; *genus* — *vrod* — *rod*; *locutivum* — *mluvenye* — *mluva* и т. п. В чешской исторической лексикологии словаря Кларета считают первым из древнейших источников современной чешской лингвистической терминологии.<sup>101</sup>

Как и большинство средневековых энциклопедий, словари Кларета построены по тематическому (идеографическому) принципу. Словарных статей как таковых нет; есть связный латинский текст, в котором перечисляется все окружающее, при этом к латинским обозначением добавлены (в пре- или постпозиции) чешские переводы. Ср. начало раздела «*De fabrilibus*» 'О ремеслах': «*Tandem fabrilia digne refero documenta*» 'Наконец следует ввести обозначения ремесел'. Далее перечисляются без особой системы названия профессий, например: *faber* 'мастер, чеканщик', *kowarz*; *nozierz cultellator* 'резчик'; *meczierz gladiator* 'оружейник'; *rozlatnyk aureator* 'золотых дел мастер' и т. п. В одной строке с названиями профессий могли быть названия инструментов (*cooss* 'оселок', *bruss*, *serra* 'пила', *pila*, *forseps* 'клещи' *klestye* и т. д., причем выбор конкретно слова зависел не только от связи ремесла и инструмента, но и от того, как слово вписывалось в размер строки. Сама же стихотворная форма словарей была обычным в средневековой школе мнемотехническим приемом.

Самый большой из лексиконов Кларета — «*Glosář*» (2688 стихов, около 7 тыс. латинско-чешских соответствий) — разделен на 52 тематические главы, сгруппированные в 8 отделов: 1) О боге, мире и атмосфере; 2) О птицах; 3) О воде и водных тварях; 4) О высших и низших животных; 5) О растениях; 6) О людях, их физических и психических свойствах; 7) О жизни мирской и духовной; 8) О ремеслах. «*Bohemář*», предназначенный для первых ступеней обучения, композиционно повторял «*Glosář*» (те же 8 тематических разделов), но был меньше (981 стих) и проще, избегал подробностей и неологизмов.

Словари Кларета явились вершиной чешской средневековой лексикографии. Они упрочивали латинское начало, традицию двуязычных словарей и вместе с тем раскрывали культурные возможности чешской лексики. Словари Кларета определили жанры и основные направления чешской лексикографии в XV в. На их основе создавались терминологические латинско-чешские словари по отдельным отраслям знаний — по медицине, ботанике, зоологии, астрономии, грамматике — рукописные «*Medicaminarius*», «*Physiologarius*», «*Astronomiarius*», «*Nomenclator*», «*Onomasticon*», «*Bohemarius minor*», словарные материалы в Воднянском кодексе 1410 г. и т. п. С другой стороны, влияние Кларета присутствует и в крупных сводных латинско-чешских словарях. Таковы, в частности, два ру-

<sup>101</sup> P o r a k J. Starší česká lingvistická terminologie // Acta Universitatis Carolinae Philologica, 3—4, 14. Slavica Pragensia, 17. 1975. S. 136.

кописных Остршихомских словаря середины XV в., уже алфавитных, содержащих по 8200 словарных статей (один из них издан в 1951 г.). Многие из статей словаря включают немецкие параллели.<sup>102</sup>

В XV в. продолжают создаваться латинско-чешские словари путем дополнения латинского лексикона чешским материалом: это «Lucianus», так называемые «Anonymus», «Velešínův», и некоторые другие памятники; распространяются латинско-чешские синонимические словари.<sup>103</sup>

В первой половине XV в. появляется первый еврейско-чешский словарь. Новым явлением в чешской лексикографии XV в. становятся также многоязычные словари, прежде всего латинско-немецко-чешские. Один из них (на 65 листах) был составлен в 1454 г. Яном Голубаржем для короля Владислава. Крупнейший из трехязычных словарей (1470 г.) занимал 415 листов. В университетской библиотеке в Праге хранится первый в Чехии четырехязычный словарь — еврейско-немецко-латинско-чешский (XV в.).

Рукописная дву- и трехязычная чешская лексикография подготовила появление печатных словарей именно в этом жанре: в Новом Пльзене в 1511 г. был напечатан латинско-чешский словарь «Vocabularius cuius nome Lactifer», составленный Яном Босаком из Воднян (Jan Wodňansky Aquentis, ум. 1534 г.). Как и в большинстве средневековых словарей, здесь принято тематическое распределение лексики; словарь и назван в старинном духе: Lactifer, т. е. 'кормящая молоком', подобно знаменитым «Mater verborum» или «mammotrectus».

В 1513 г. в Вене был напечатан анонимный «Dictionarius trium linguarum latine, teutonice, bohemicе potiora vocabula continens» объемом около 1500 слов, распределенных по темам. Его чешская лексика связана с центральными чешскими говорами.<sup>104</sup> В популярной у гуманистов многоязычной лексикографии этот словарь начинает линию словарей с чешским материалом. Кто бы ни был его автор, несомненно, что такой словарь опирался на значительную традицию лексикографического описания чешского языка, сложившуюся к началу XVI в.

**3.1.2. Концепция литературного языка на рубеже XIV—XV вв.** В сильной и независимой Чехии XIII—XV вв. с каждым десятилетием ширилась письменная коммуникация на народном языке. Появляется духовная и светская поэзия на чешском, с середины XIV в. — также и проза, вначале повествовательная, позже — и ученая (например, философские сочинения Томаша Штитного). Чешский язык распространяется в культурном обиходе мещанства, дворянства, королевского двора, отчасти университетов; он стано-

<sup>102</sup> R y b a В. K rukopisným latinsko-českým slovníkům ostrřihomskym // Listy filologické. 1951. Roč. 75.

<sup>103</sup> Č e r n ý F r. Fragmenta Bočkova // Časopis Musea království Českého. 1899. Roč. 73; Č e r n ý F r. Slovník Wiesenberský // Časopis Matice Moravské. Brno, 1911. Roč. 35; Flajšhans V. Anonymus a Vokabuláf // Listy filologické. 1938. 65.

<sup>104</sup> S t a n k i e w i c z E. Grammars and Dictionaries of the Slavic languages from the Middle Ages up to 1850. An Annotated Bibliography. Mouton, 1984. P. 16.



вится языком администрации, права, суда, с конца XIV в. — языком переписки. Все шире используется чешский язык в сфере религии. Во второй половине XIV в. на чешский переводится полная Библия; в Славии это был первый перевод Библии на народный язык. О широком распространении Чешской Библии говорит то, что от XV в. сохранилось 25 полных чешских библейских текстов и около 100 рукописей с отдельными частями Библии.<sup>105</sup> Постепенно формировался общенародный литературный язык на народной основе. Формирование чешского литературного языка, будучи одним из слагаемых общего исторического процесса в чешских землях, происходило в тесной взаимосвязи, с одной стороны, с процессами дальнейшей этнической консолидации чехов, а с другой — с движением гуситов, по своей сути движением реформационным. В христианстве, по-видимому, любое значительное движение сталкивается с теми или иными филологическими проблемами именно потому, что в религиях Писания (к которым принадлежит христианство) определенным филологическим вопросам приписывается принципиальное теологическое значение. Филологические принципы гуситов, а позже Реформации (требование библии на родном языке и ее доступности мирянам; ревизия переводов библии с учетом первоисточников) не только максимально активизировали самосознание народа, но и прямо созидали народный литературный язык и/или утверждали его в наиболее важных сферах культуры.

О языковой программе гуситов судят по филологическим пассажам в ряде проповедей и других сочинений самого Яна Гуса. Здесь впервые в Европе, задолго до италийской «Академии отрубей» (*Accademia della Crusca*) с ее планами очистить, «просеять» язык, как просеивают муку, отделяя отруби,<sup>106</sup> были показаны пути «возделывания», культивирования совершенного языка народа. Прежде всего Гус стремится приблизить литературный язык к языку народа в полном согласии с тем энтузиазмом, с каким он пропагандировал среди простого народа. Демократизацию языка Гус связывает с отказом от обветшалых языковых форм и слов, в том числе с устранением архаизмов в Писании. Вместе с тем в фонетике Гус консервативнее, он с неодобрением пишет о некоторых произносительных новшествах разговорной речи. Далее, Гус выступает как один из первых ревнителей национальной чистоты чешского языка. Вслед за Кларетом и Штитным Гус идет по пути «чехизации» книжного чешского словаря. Он предлагает писать *přístí* вместо *advent* 'грядущий, следующий'; *bděnie* вместо *vigilie* 'бодрствование'; *sřek* вместо *sillaba* 'слог'; *hlavizna* вместо *kapitola* 'глава, раздел' и т. д.<sup>107</sup> Особенно решительно Гус выступает против немецких заимствований. В Толковании на десять заповедей он укоряет тех чехов, которые говорят наполовину по-немецки. Он напоминает современникам, что еще Карл, чешский король, требовал, чтобы детей учили родному языку

<sup>105</sup> Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha, 1964. S. 106.

<sup>106</sup> Б у д а г о в Р. А. Человек и его язык. М., 1974. С. 49—50.

<sup>107</sup> Vývoj českého jazyka... S. 107.

и чтобы говорили *radní dom*, а не по-немецки *Rathaus*, и далее Гус осуждает такое словоупотребление: «*hantuch* ‘полотенце’ *za ubrusce*, *šorc* ‘фартук’, *za zástěrku*. . ., *hauzsknecht* ‘батрак’ *za domovní pacholek*, *forman* ‘возчик’ *za vozataj*».<sup>108</sup> Для чехов, которые столетиями жили в условиях «национальной самообороны», это Гусово неприятие германизмов станет традиционным и в дальнейшем разовьется в весьма ощутимый языковой пуризм.

Яну Гусу принадлежит первое в чешской традиции сочинение по теории перевода — «*O překladu bible*». Оно читается в некоторых списках Чешской Библии как приложение. Автор говорит о естественной изменчивости письменного предания и в этой связи — о необходимости ревизии перевода; речь идет также о правописании и о различиях в произношении близких по звучанию слов. По мнению исследователей, это рассуждение связано с участием Гуса в подготовке второй (предреформационной) редакции Чешской Библии.<sup>109</sup>

В целом языковая программа и литературная практика гуситов оказали определяющее воздействие на формирование языковых идеалов в чешской культуре. Последующая традиция сохранила гуситское направление в защите и совершенствовании языка: стремление к его демократичности и вместе с тем умеренный консерватизм в фонетике и морфологии; отношение к языку как к символу независимости народа; заботу о его чистоте; стремление обходиться без заимствований. Важно и то, что языковые идеалы гуситов сформировали в чешской культуре стойкий интерес к нормативно-стилистическим проблемам языка, к тем его аспектам, которые сейчас называют «культура речи». Не случайно, что уже в первых грамматиках чешских гуманистов — Намештской грамматике 1533 г. и грамматике Яна Благослава (1571) — стилистическая дифференциация языковых средств оказалась ведущей темой.<sup>110</sup>

**3.1.3. Реформа графики.** Общепризнанный культурный подъем, наступивший в Чехии с середины XIV в., бурная предреформационная полемика, расцвет и одновременно демократизация письменной культуры, гуситское просветительство — все это определило интенсивность, с какой на рубеже XIV—XV вв. шел процесс формирования литературного чешского языка. Между тем письмо (на которое обычно направлено первое внимание нормализаторов) в чешском языке оставалось слабо упорядоченным. Чешские звуки, для которых в латинском алфавите нет букв, передавались с помощью комбинаций букв — двух, иногда трех (так называемый *pravopis spřežkovy*). Например, [č] обозначалось с помощью *cz*, *chz*, *tcc*, *tss*; [ž] — *sz*, *zz*; [š] — *cs*, *ss*; [ř] — *rz*; [ā] — *aa* и т. д. Употреблялись и надстрочные знаки — гачек, точка, черта. На практике существовало множество вариантов в передаче некоторых фонем и (еще большее) в за-

<sup>108</sup> Цит. по: *Vývoj českého jazyka*. . . S. 108.

<sup>109</sup> *Výbor z české literatury doby husitské*. Svazek druhý. Praha, 1964. S. 523.

<sup>110</sup> К у а с VI. První česká mluvnice a její místo ve vývoju spisovné češtiny // Slovo a slovesnost. 1951/52. 13. N 3—4; S k a l i č k a VI. Starší střední doba česke lingvistiky // Práce z dějin slavistiky. Praha, 1975. 2.

писях слов. Например, звуки [č] и [š] записывались 20 различными способами.<sup>111</sup>

Реформа чешской графики была предложена в латинском трактате 1406 г. «Orthographia Bohemica» (заглавие дано Ф. Палацким). Традиционно это сочинение атрибутируют Яну Гусу; впрочем, в последнее время его авторство считается не вполне доказанным, хотя оно и правдоподобно.<sup>112</sup> Сохранилась учебная азбука начала XV в., так называемая «Abeceda», в которой чешский алфавит дан уже в реформированном виде. В отличие от «Orthographia Bohemica», относительно «Abeceda» точно известно, что ее составил Ян Гус.<sup>113</sup> Памятник содержит алфавит и мнемотехнический текст, близкий к азбучному акростиху.

Графическая система, предложенная в «Orthographia Bohemica», исключительно пронципательна и в фонологическом отношении логична. В ее основе лежит открытие пропорционального ряда оппозиций свистящих и шипящих: [s]—[š], [z]—[ž], [c]—[č], а также чистого и шипящего [r] и [rž]. Увиденная естественная близость звуков в каждой паре позволила обозначить их одной буквой, но для каждого второго звука автор предлагал использовать дополнительно надстрочный знак — точку (которую позже заменил гачек). С помощью этой же диакритики предлагалось различать твердые и мягкие [t] и [t'], [d] и [d'], [n] и [n'] (мягкие — с диакритикой). Лингвистическая стройность такой графики заключалась еще и в том, что все согласные звуки, обозначавшиеся с точкой, были маркированными членами оппозиций и в свое время возникли в результате смягчения тех звуков, которые стали немаркированными членами в паре. Долгие гласные в этой графике предполагалось различать также с помощью диакритики — черточкой над долгой гласной.

Трактат «Orthographia Bohemica» интересен не только верной общей картиной чешской фонологии, но и многими деталями, которые говорят о лингвистической эрудиции и тонкой фонетической наблюдательности автора. Например, он рассуждает о том, что латинский алфавит недостаточен не только для чехов, но и для греков, евреев, немцев, и называет еврейские и немецкие звуки, которые трудно передать латиницей. Автор знает, что раньше чехи произносили *gus*, *guby*, а сейчас *hus*, *huby*; знает, в каких позициях лат. *g* твердый звук, а в каких — мягкий; знает, что *f* — редкий в чешском звук, он встречается главным образом в заимствованиях; что *g* в чешском может быть слоговым; что в латыни *u* пишется только в греческих заимствованиях, а в чешском *u* и *i* надо различать обязательно, при этом ука-

<sup>111</sup> Кузьменко Ю. К. Появление письменности в средневековой Европе // История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л., 1985. С. 28-29.

<sup>112</sup> Výbor z české literatury doby Husitské. . . S. 519; Večerka R. Slovanská jazykověda. . . S. 8. В антологии «Výbor. . .» трактат напечатан в чешском переводе Б. Рыбы; в пособии «Čítanka ze slovanské jazykovědy v českých zemích. I» (Brno, 1982) приводится латинский текст (по изданию в работе: Schröfer J. Hussens Traktat «Orthographia Bohemica». Wiesbaden, 1968) и новый чешский перевод Я. Нехутовой.

<sup>113</sup> Výbor z české literatury doby Husitské. . . S. 519.

зывает артикуляционные и дистрибутивные различия между *i* и *u*, а также позиции, в которых *i* становится согласным *j*. Невозможно перечислить все лингвистические находки трактата. Жизнеспособность предложенной в нем графической реформы, его фонологизм, в том числе учет дистрибуции звуков, его широкие межъязыковые сопоставления, его органический историзм в понимании языковых явлений — все это делает «*Orthographia Bohemica*» замечательным памятником лингвистической мысли общеевропейского значения. Теоретическая устремленность и широта лингвистического кругозора трактата оказали большое влияние на чешские гуманистические грамматики.<sup>114</sup> Его практические решения учитывались в проектах реформ польского письма (Я. Паркоша, Ст. Заборовского); позже они были использованы в графике южных славян, основанной на латинице; в графике лужицких, балтийских и эстонского языков; в международной фонетической транскрипции. Однако в чем-то реформа чешского письма, предложенная в «*Orthographia Bohemica*», оказалась как бы преждевременной. В XV в. она не привела к нормализации чешского письма. Весь XV в. сохранялся *pravopis spřežkovu*; диакритика использовалась, но достаточно бессистемно; графико-орфографический разнобой был обычным для любого текста. Нормализация чешской графики происходит позже — в XVI в., с распространением книгопечатания и развитием гуманистической образованности<sup>115</sup> — на основе тех ясных графико-орфографических соответствий, которые были сформулированы в «*Orthographia Bohemica*» 1406 г.

**3.1.4. Первый опыт риторики.** Расцвет письменной культуры в Чехии времен Яна Гуса отмечен и появлением в середине XV в. первого чешского руководства по практической риторике «*Ars dictandi*». Его автор, письмоводитель и нотариус пражского Нового Места Прокоп (1390—1482), по-видимому, был связан также с университетским преподаванием. В своем руководстве он опирался, с одной стороны, на традиции римских риторик (прежде всего на популярный в университетах трактат «*De oratore*» Цицерона<sup>116</sup>), а с другой — кодифицировал письменную практику государственных и церковных властей, суда и судебной корреспонденции, городской канцелярии, официальной и частной переписки.

В «*Ars dictandi*» Прокопа приводятся образцы (формуляры) различных юридических документов; полные официальные обращения к различным духовным и светским лицам; образцы писем. Руководство написано в основном на чешском языке, однако некоторые образцы письменной речи даны и по-чешски, и по-латыни — в соответствии с реальным двуязычием Чехии XIV—XV вв. На латинском языке повторены или резюмированы также некоторые рекомендации (иногда — в традиционных мнемонических формулах). Стили-

<sup>114</sup> Večerka R. První česká gramatika v historických a srovnávacích souvislostech slovanských // *Práce z dějin slavistiky*, 10. Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Praha, 1985.

<sup>115</sup> P o r á k J. Humanistická čeština. Hlásokloví a pravopis // *Acta Universitatis Carolinae. Philologica Monographia*. Praha, 1983. 75.

<sup>116</sup> Výbor z české literatury doby Husitské... S. 524.

стико-риторическая терминология дана на обоих языках; чешские эквиваленты призваны и пояснить латинские термины, и при случае заменить их. Ср., например, обозначения пяти композиционных частей, обязательных, согласно «Ars dictandi», в образцовом письме: «Pozdravenie — salutatio — pozdrav, přístup — exordium — oblahod, líčení — narratio — rozprav, prosba — peticio — pros, odplata — conclusio — oplat».<sup>117</sup>

Как известно, античные и послеантичные руководства по риторике выходили далеко за пределы собственно филологической проблематики, обсуждая, с одной стороны, сами предметы речей, а с другой — темы, которые сейчас принадлежат психологии, этике, логике, философии, теории коммуникации. «Ars dictandi» пражского нотариуса продолжает традиции такого широкого понимания риторики. К образцам документов, писем, обращений автор добавил свои объяснения, советы, ссылки на авторитетные тексты и исторические прецеденты. В итоге книга становилась универсальным справочником, полезным в самых различных ситуациях, когда люди берутся за перо. Так, в отборе и очередности адресатов, в формулах титулов «Ars dictandi» отражала сложившуюся расстановку социальных сил, иерархию церковных и светских авторитетов. Кодифицируя этикетные словесные формулы, «Ars dictandi» служила вместе с тем политическим справочником, ориентиром в социальной стратификации общества. Перечисляя разновидности дружеских и недружеских писем, риторика учила своих читателей разбираться в модально-эмоциональных тонах общения. Советуя, как отвечать на недружественные письма, как скрывать свое истинное отношение к адресату, свое понимание тех или иных обстоятельств или как вызывать оппонента на большую откровенность, автор риторики выступает как психолог, наставник в житейской мудрости, посредник.

Вместе с тем «Ars dictandi» Прокопа явилась важной вехой в развитии филологической культуры в Чехии. Сугубо практическая направленность риторики, ее слитность с житейскими заботами пишущего содействовали внедрению филологических идей «Ars dictandi» в чешскую культуру. Важнейшая из них — нормирующая идея «должного», «правильного», «надлежащего» выбора языковых средств в соответствии с социальной иерархией предметов — по сути создает самое «литературность» языка.

«Ars dictandi» Прокопа внедряла также такую стилистическую категорию античности, как учение о трех родах или стилях речи. Эта популярная в европейской риторике оппозиция родов речи (*χαρακτῆρες, πλάσματα*, genera dicendi) восходит к анонимному римскому сочинению I в. до н. э. «Риторика к Герению».<sup>118</sup> Аналогичное тройст-

<sup>117</sup> Цит. по публикации фрагмента Риторики в антологии «Vybor z česke literatury doby Husitske. . .», С. 525. В полном объеме (более 40 листов) памятник издан в 1900 г. Ф. Марешом (см.: M a r e š Fr. Prokopa písafce novoměstského Ars dictandi // Rozpravy České akademie ed a umění. 1900. Tř. 1. Roč. 8. — Памятник известен в нескольких списках, в том числе рубежа XV—XVI вв.

<sup>118</sup> Ср.: «Существуют три вида, или как мы говорим, манеры, в которые укладывается всякая правильно построенная речь; одну манеру мы называем

венное противопоставление литературных жанров утверждал в «Поэтическом искусстве» Гораций. Охватывая все возможные ситуации, разделяя объекты мира на высокие, средние и низкие, риторика обнаруживает и усугубляет соответствующую трехчленную классификацию синонимических средств языка (высокий, средний и низкий стили) и приписывает определенную стратегию выбора стилей в рамках единого языка.

В «Ars dictandi» Прокопа стилистическое ранжирование начинается с иерархии адресатов: «Памятуй, что в посланиях ты должен ясно понимать, кто есть высший, кто средний и кто низший, чтобы знал, каких особ вверху, каких посредине, а каких в конце посадить» (с. 526). Соответствующая градация обращений такова: к архиепископу — *Najduostojnějšému v Kristu otcí pánu a panu Kondrátovi, arcibiskupu kostela pražského. . .*; к епископу — *Duostojnému v Kristu otcí panu Kunšovi, biskupu litomyšlskému*; к аббату — *Velebnému v Kristu otcí B., opatu kláštera nepomučského* (с. 526).

Известно, что благоприятная атмосфера для совершенствования литературного языка создается не только общими декларациями в его защиту, но и повседневным вниманием к бесчисленным подробностям речевого употребления. Вслед за Яном Гусом «Ars dictandi» Прокопа дает первые уроки такого внимания к чешскому языку, например, когда автор предупреждает, что оборот *z božie milosti* или *z božieho daru*, обычный в подписях иерархов, неуместен при обращении к ним в посланиях; или когда объясняет, почему, обращаясь к папу (*papoši*), следует писать *urozenému Janovi* или *slovutnému Janovi*, но не *urozenému panu Janovi*.

Таким образом, «Ars dictandi» Прокопа знакомила чехов с риторико-стилистическими категориями античности и вместе с тем стала первой в Европе практической риторикой народного литературного языка. В этом непреходящее значение памятника в истории европейского языкознания.

**3.1.5. Занятия греческим и латинским языками.** В средневековых европейских университетах греческий язык и латынь изучались повсеместно благодаря их посреднической функции языков широкого международного общения в различных престижных социальных сферах. С развитием гуманистической образованности греческий и латынь приобрели общественный статус «классических» и «культурных» языков, входивших в круг известной ступени «общего образования». Вместе с тем греческий и латынь по-своему конкурировали. В первые века нашей эры в качестве надэтнического языка культуры и образования греческий был распространен в Европе шире, чем латынь (которая была прежде всего языком права, суда и армии). Позже в средневековой Западной Европе экспансия латыни сузила сферы использования греческого языка, однако он никогда не был вполне вытеснен (что обусловлено развитием средневековой теологии, философии и логики в направлении синтеза христианства и эллини-

---

величественной, другую средней, а третью — сниженной) (Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. С. 273—274).

стической философии). Показателен в этой связи факт создания греческой грамматики английским философом Роджером Бэконом (XIII в.). В гуманистических кругах знание греческого языка не было, конечно, таким обычным, как знание латыни, но зато обладало особым престижем как свидетельство высшей гуманистической образованности.

В чешских землях гуманистическая образованность с ее стремлением возродить классическую латынь, с ее пониманием античности как общечеловеческого, внационального культурного идеала не получила такого развития, как в Италии или Польше, — именно потому, что в Чехии XIV в. ширились процессы этнической консолидации и национального самоопределения. В Пражском университете первые гуманисты появились еще при Карле I. Здесь читались Вергилий и Гомер, однако зарождавшееся гуситское движение ослабляло интерес к языческой древности.

Если в Италии увлечение древнегреческой словесностью выливалось в первые критические издания греческих классиков, в гуманистические грамматики греческого языка, то в Чехии заметно стремление сделать греческую классику достоянием чешской культуры. Так, в Чехии в 1488 г. был напечатан первый в Европе перевод басен Эзопа на народный язык (чешский перевод с латинского издания 1474 г. в Милане<sup>119</sup>). Эта книга несколько раз переиздавалась в XVI в. Наиболее крупный знаток греческого языка в Карловом университете в XV в. Вацлав Писецкий подготовил чешский перевод «Увещания» Исократа (перевод издан в 1512 г., после смерти Писецкого). В пространном предисловии к переводу проводится лингвистическое сравнение греческого, латыни, чешского и немецкого языков, при этом греческий и чешский ставятся автором выше латыни и немецкого.<sup>120</sup>

Занятия латинским языком и словесностью имели в Чехии более древние и прочные традиции. Начиная с XII в. в чешских школах читались Вергилий, Гораций, Овидий, во всяком случае то, что не носило слишком явной печати язычества.<sup>121</sup> К концу XIV в. восходит чешский перевод с комментариями «Книги о четырех главных добродетелях» Сенеки.<sup>122</sup>

С распространением гуманистической образованности на рубеже XV—XVI вв. чтение и комментирование классиков значительно расширяется и приобретает новый филологический смысл: стремление к классической чистоте языка, к реконструкции первоизданного содержания текста. Стилистико-риторическим эталоном становятся

---

<sup>119</sup> Winter Z. Život a učení na partikulárních školách v čechah v XV. a XVI. století. Kulturně-historický obraz. Praha, 1901. S. 528; B o š n j a k M. Slavenska inkunabulistica. Zagreb, 1970. S. 32, 105, 150.

<sup>120</sup> Skalička V. История изучения языкознания в Пражском университете с начала до 1918 года // Slovanská filologie na Universitě Karlově. Praha, 1968. S. 39.

<sup>121</sup> Winter Z. Život a učení . . . S. 525.

<sup>122</sup> Staročeský slovník: Úvodní stati, soupis pramenů a zkratk // Praha, 1968. S. 106—107.

сочинения Цицерона, шире читаются Вергилий, «Метаморфозы» Овидия, драмы Теренция; почти сразу после создания в Чехии становятся известны сочинения Эразма Роттердамского.

В эпоху схоластики в Чехии, как и в других европейских странах, латынь изучалась по грамматикам Доната и Присциана. Однако самым популярным (хотя и не самым элементарным) руководством была грамматика «Doctrinale» Александра Вилладейского (1199), изложенная в гекзаметре. Сохранились чешские списки «Doctrinale» (1477 и 1499 гг.); в 1514 г. чешский гуманист Рацек Дубравский (Doubravský) подготовил первое чешское издание грамматики Александра с чешскими глоссами и критическим комментарием; в 1530 и 1535 гг. вышли ее новые издания.<sup>123</sup>

Старейшие из сохранившихся фрагментов Доната с чешскими глоссами относятся к первой половине XV в.<sup>124</sup> Полностью «Ars minor» сохранился в рукописи 1476 г. пражского учителя и архитектора Матея Рейсека (Macej Rejsek).<sup>125</sup> Эта рукопись содержит также большой трактат об орфографии, падежах и просодии. Два издания Доната имелись в числе инкунабул Королевской библиотеки. От XIV и XV вв. доходят отрывки различных учебных текстов по латинской грамматике и лексике: списки латинско-чешских лексико-грамматических соответствий; латинские синонимические ряды, дифференцированные с помощью чешской лексики; подборки латинских глаголов, главным образом отложительных, с чешскими параллелями. Лингвистическое и дидактическое внимание таких фрагментов направлено в первую очередь на латынь; чешский язык здесь использовался в роли метаязыка и посредника при овладении латынью. Однако фактическим содержанием таких штудий оказывалось сопоставление двух языков, при этом не только чешский открывал латынь для автохтонного сознания, но и латынь помогала высветить категории чешской грамматики. Абсолютная лингвистическая новизна таких сопоставлений состояла в подборке и грамматической систематизации именно чешского языкового материала.

Стремление гуманистов реставрировать классическую «золотую» латынь времен Цицерона, Катутлла, Горация изменило нормативно-стилистическую ориентацию в занятиях латынью и отношение к грамматическим авторитетам. Средневековая латынь стала расцениваться как «кухонная». В Карловом университете магистр Ржегорж Пражский (вторая половина XV в.) первым начал учить образцовой латыни путем чтения и комментирования Вергилия. Значительно вырос авторитет поздних римских грамматик Доната и Присциана; одновременно падает престиж «Doctrinale» Александра. Возникают переработки «Doctrinale» в гуманистическом духе, например в конце XV в. — Якоба Фимфелинга (Vimpheling); в начале XVI в. число таких переделок стремительно растет. По оценке истории чешского просвещения, отказ от средневековой грамматики Александра в уни-

<sup>123</sup> Winter Z. Život a učení... S. 519—520.

<sup>124</sup> Menčík F. Český zlomek «Donata» // Listy filologické. 1891. 18.

<sup>125</sup> Winter Z. Život a učení... S. 519.



верситетах ощущался как «школьная революция».<sup>126</sup> Однако направления в занятиях латынью не раз менялись: усиление церковно-схоластического начала вело к возврату к прежней латыни и «Doctrinale». Грамматическая мысль мужала в критике средневековых руководств, в штудиях по реконструкции «истинного», «первозданного» Доната, наконец в первых опытах новых (гуманистических) грамматик латыни. В 1491 г. в Брно издается «новый», прокомментированный и очищенный от поздних наслоений «Донат». В 1504 г. в Оломоуце выходит первая гуманистическая латинская грамматика для чехов Марка Рустинимикуса «*Marci Rustinimici ad Moravorum pueritiam paedagogus grammatices*». Издаются также хрестоматии классических текстов, сборники нравоучений и латинских афоризмов.

Вместе с тем под воздействием гуситских национально-религиозных идей внимание чешских гуманистов очень рано обращается к народному языку. В XV в. это внимание реализуется в чешских переводах классических текстов; в поисках категориальных и терминологических соответствий латинской грамматике; в идеях филологической защиты и совершенствования чешского языка, наиболее отчетливо прозвучавших в творчестве видного чешского гуманиста Корнеля из Вшегрд (Kornel ze Všehrd). Гуситское движение и ранний чешский гуманизм подготовили крупные грамматические и лексикографические достижения чешской традиции XVI в. — Намештскую грамматику 1533 г., грамматику Яна Благослава 1568 г.; многоязычные словари 1513, 1537, 1546 гг., включавшие многотысячные массивы чешской лексики.

## 3.2 Польша

**3.2.1. Лексикография.** В польской письменной культуре XIII—XV вв. общественное внимание к языку и забота о нем были заметнее всего в словарном деле. Памятники рукописной польской лексикографии довольно многочисленны. Это тысячи глосс, более сотни небольших словариков, несколько крупных словарных сводов. А. Брюкнер в одной из своих первых работ по средневековой польской лексикографии опубликовал сразу 29 латинско-польских словариков.<sup>127</sup> Многие десятки латинских рукописей с польскими глоссами изучены И. Лопацинским, Л. Малиновским, З. Целиховским, Б. Эрзепким, А. Брюкнером и другими авторами.<sup>128</sup> Памятники

<sup>126</sup> Winter Z. Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409—1622). V Praze, 1897. S. 24.

<sup>127</sup> Brückner A. Średniowieczne słownictwo polskie // Prace Filologiczne. 1899. T. 5.

<sup>128</sup> Лопациński Н. Kilka zabytków języka staropolskiego // Prace filologiczne. 1893. T. 4. 1899, t. 5; Малиновски Л. Glosy polskie w kilku rękopisach lacińskich wieku XV w Bibliotekach Kapitulnej i Uniwersyteckiej w Pradze // Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. 1895, t. 7 (22); Целиховски З. Polskie glosy botaniczne w Mogunckim Zielniku z r. 1484 // Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii

рукописной лексикографии привлекали внимание прежде всего как источник по исторической лексикологии и отчасти фонетике.

В зависимости от материала и назначения словарной работы в польской лексикографии XIII—XV вв. можно различить несколько направлений: 1) глоссирование латинских текстов Писания, поэмы и проповедей; сведение глосс в глоссарии к церковным текстам (так называемые «маммотректы»); 2) латинско-польские словари, составленные на основе латинских толковых словарей; 3) глоссирование различных светских латинских текстов; 4) терминологические (тематические) латинско-польские словари.

**3.2.1.1.** Наиболее ранние глоссы к латинским богослужебным текстам делались на латыни, позже появляются глоссы на польском языке. В Польше, как и в Чехии, подборки толкований к Писанию назывались *mammotrekty* (или *mammotrepty*). Жанру маммотректов принадлежат самые крупные памятники средневековой польской лексикографии. Древнейший из сохранившихся маммотректов составлен в 1426—1428 гг. Здесь в алфавитном порядке приводится 19 латинских слов и словосочетаний из Писания и их польские соответствия. В отличие от этого словарика большинство более поздних маммотректов в расположении материала следует не алфавиту, а глоссируемому тексту.

Самый крупный польский маммотрект (так называемый Краковский, содержащий около 7 тысяч толкований) был составлен в 1471 г. студентами Ягеллонского университета, записавшими объяснения профессоров к тексту библии.<sup>129</sup> Этот словарный свод известен в двух редакциях, различающихся очередностью глоссируемых книг Писания. Его источник А. Брюкнер считал старейший латинский маммотрект Мархесинуса (*Marchesinus de Regio*) 1300 г. и аналогичные чешские своды.<sup>130</sup> Маммотректы представлены также среди польских инкунабул, что говорит о социальной значимости жанра. Один такой памятник конца XV в. (без года и места издания) описан Брюкнером.<sup>131</sup>

Польские глоссы в латинских текстах проповедей служили для польских казнодеев ориентирами в латинских образцах церковного красноречия. Они помогали отыскать определенное место, выделяли ключевые слова и наиболее яркие и сложные для уяснения обороты

Umiejętności. 1904; Т. 1; Е r z e p k i В. *Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego*. 1908. Т. 34, B r ü c k n e r А. *Przyczynki do słownictwa polskiego // Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności*. 1904. Т. 23 (38); B r ü c k n e r А. *Przyczynki do dziejów języka polskiego [1] // Rozprawy i Sprawozdania Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności*. 1910. Т. 2 (47); 1911. Т. 4 (49); 1916. Т. 8 (53); 1916. Т. 9 (54); 1917. Т. 10 (55).

<sup>129</sup> Памятник издан Я. Лосем, см.: L o ś J. *Mammotrekt z r. 1471 // Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności*. 1912. Т. 5.

<sup>130</sup> B r ü c k n e r А. *Zabytki średniowieczne // Pamiętnik literacki*, 1913. Roc. 12, zes. I; см. также: K y a s V l. *Za českou předlohou staropolského mamotrektu // Slavia*. 1958. 27. Seš. 2.

<sup>131</sup> B r ü c k n e r А. *Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej. II // Rozprawy i Sprawozdania Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności*. 1901. Т. 33.

речи. По мнению З. Клеменевича, польские глоссы в латинских проповедях могут косвенно свидетельствовать о существовании в XIV—XV вв. церковной проповеди на польском языке.<sup>132</sup> Ранним и вместе с тем крупным глоссированным памятником проповеднической литературы являются Гнезненские проповеди (*Kazania gnieźnieńskie*), относящиеся к концу XIV в. Гнезненский сборник содержит около ста латинских и десяти польских проповедей; польские тексты представляют собой переработку латинских образцов, отчасти содержащихся в этом же сборнике. Латинские тексты сопровождают более шестисот польских глосс.<sup>133</sup>

Глоссы в проповедях различны по размеру — от перевода слова до целых высказываний и стихов; ср. некоторые примеры: *animo continenti* [(ablativus) воздержанной жизни] *czistoscy*; *in adulta aetate* [в зрелом возрасте] *staroscy*; *fuit vas solidum et ita solidum, quod nullo lapide tribulacionis potuit frangi* [сосуд был настолько крепким, что никакой камень не мог его раздробить] *bil gest tako twardy, yscy on nigednm kamenem ne moson gest slomicz byl*.<sup>134</sup>

Известно, что схоластическая проповедь нередко строилась как развертывание одного стиха из Писания или как доказательство определенного тезиса, рассуждение о теологическом смысле имени, толкование определенного символа и т. д. Глоссы в латинских проповедях могли служить именно такой отправной точкой новой самостоятельной проповеди. Глоссирование, являясь словарной в своих истоках работой, получало еще и другое назначение: служить руководством по гомилетике.

**3.2.1.2.** Значительное место в ранней польской лексикографии занимают словари, создававшиеся на основе латинских словарных сводов, — собраний греко-латинских глосс, сборников толкований греческих, латинских и древнееврейских трудностей, латинских энциклопедий, в том числе и знаменитой «*Mater verborum*», этимологических и идеографических лексиконов европейского Средневековья. Латинские словари приходили в Польшу из Италии, Германии, Чехии. В широком потоке разнообразной рукописной книжности словари представляли собой один из ведущих жанров. Их назначение было существенно шире задач современной лексикографии, поскольку в словарном виде часто излагались основы наук. Дело в том, что списочная, словарная форма представления знаний характерна, вообще говоря, для относительно ранних ступеней познания определенного предмета. Открывшееся знание еще как бы не может быть представлено в виде дискурса, классификации или хронологической последовательности и поэтому дается перечнем, списком. Поэтому словарно-списочные жанры были привычны и популярны в средневековой книжности, в том числе и польской. Словари стали одним из ос-

<sup>132</sup> K l e m e n s i e w i c z Z. Historia języka polskiego. Część 1. Doba staropolska. Warszawa, 1961. S. 146.

<sup>133</sup> *Kazania gnieźnieńskie*: Podobizna, transliteracja, transkrypcja / Wyd. Stefan Vrtel-Wierczyński. Poznań, 1953.

<sup>134</sup> Цит. по кн.: K l e m e n s i e w i c z Z. Historia języka polskiego. Część 1. S. 146.

новых каналов, по которым Польша включалась в умственные движения Средневековья.

В древнейших польских словарях (т. е. переписанных или составленных на территории Польши) все толкования давались на латыни. Значительно позже в них появляются польские соответствия, глоссы или толкования. Один из ранних памятников такого рода — Тридентский словарь (*Wokabularz Trydencki*) 1416—1424 гг., содержащий около 450 словарных статей; некоторые из них имеют польские дополнения.<sup>135</sup> Другой известный памятник такого рода базируется на составленном в Германии лексиконе «*Vocabulista*» Бертольда из Айзенаха. В 1437 г. словарь был переписан в Польше. В начале рукописи, до обширного латинского толкового словаря, приводится стихотворное собрание трудных латинских оборотов из Лукиана с польскими объяснениями; на полях самого латинского словаря польский переписчик уместил латинско-польский алфавитный словарь, а в конце привел тематические подборки латинско-польских соответствий: названия утвари, одежды, а также юридические термины. По характеру некоторых польских толкований А. Брюкнер заключил, что в этой компиляции объединено несколько более ранних польских лексикографических источников.<sup>136</sup>

Еще один из характерных памятников жанра — это словарь, написанный около 1455 г. рукой Юлиана из Крухова.<sup>137</sup> Его протограф, по данным Брюкнера, мог быть создан в первой половине XV в. Памятник представляет собой свод различных словарных материалов. Помимо латинского толкового словаря, он содержит алфавитный латинско-польский словарь до буквы Е, затем некоторые латинские юридические термины; далее несколько тематических групп слов из области естествознания; опять подборки юридических терминов; глоссы с толкованиями из Псалтыри; затем подборка латинских глаголов в сочетании с местоимениями и с польскими переводами; далее под рубрикой «*Privilegii vocabula*» (т. е. особые, исключительные слова) следует ряд рифмующихся польских слов (*pyrzyzna — jarzyzna, tłoka — włoka* и т. п.); затем опять небольшой алфавитный латинско-польский словарь от А до V.<sup>138</sup> По замечанию Брюкнера, в этом словаре представлены как бы образчики (*próbki*) словарных источников и принципов, демонстрирующие пути средневековой польской лексикографии.<sup>139</sup>

Латинские словари с польскими глоссами и дополнениями многочисленны и вместе с тем имеют между собой много общего в словнике

<sup>135</sup> Памятник издавался в Риме в 1960 г. (фототипически) и в Лондоне в 1963 г. См.: Grzegorzyczyk P. *Index lexicorum Poloniae: Bibliografia słowników polskich*. Warszawa, 1967. S. 29; Urbanczyk S. *Wokabularz trydencki // Język polski*. 1962. Roc. 42. N 1. S. 15—29.

<sup>136</sup> Brückner A. *Średniowieczne słownictwo polskie* . . . S. 16.

<sup>137</sup> Памятник издан Брюкнером (*Archiv für slavische Philologie*. 1892. N 14. S. 484—496).

<sup>138</sup> См. подробно: Brückner A. *Średniowieczne słownictwo polskie* . . . S. 16—17; Loś J. *Przegląd językowych zabytków staropolskich*. Kraków, 1915. S. 141.

<sup>139</sup> Brückner A. *Średniowieczne słownictwo* . . . S. 17.

и толкованиях. Я. Лось указывал, например, на целое семейство словарей середины XV в. *Granariuszów* (лат. *granaria, —orum* — 'житница'), на представленность в ряде списков некоторых других словарей.<sup>140</sup> Это говорит о единстве традиции и интенсивности обращения словарей в польской книжности XV в.: словари многократно переписывались, дополнялись, включались в новые своды. Однако подбор польских соответствий еще не носит последовательного характера: до конца первой трети XVI в. это все еще латинские словари с польскими глоссами, а не настоящие двуязычные словари. Первыми памятниками нового жанра явились первопечатные польские словари — «*Diccionarius . . . variarum rerum, tum pueris, tum adultis utilissimus, cum Germanica atque Polonica interpretatione*» (Cracoviae, 1526) Иоганна Мурмелиуса; «*Diccionarius trium linguarum: Latinae, Teutonicae et Polonicae, potiora vocabula continens*» (Cracoviae, 1528) Франциска Мымера (Mumerus);<sup>141</sup> рукописный латинско-польский словарь Бартоломея из Быдгощи 1532 г.<sup>142</sup>

3.2.1.3. Из всех видов словарно-лексикологических занятий в средневековой польской письменности глоссирование латинских текстов было самым обычным и частым делом. Если создание словарей связано с определенными центрами книжной культуры, то глоссы встречаются в памятниках самой различной географии. Есть глоссы краковские, великопольские, вроцлавские, сандомирские, львовские. Глоссы встречаются в любых жанрах письменности, и церковной и светской. Систематически глоссируются разнообразнейшие латинские тексты делового характера: счета, реестры, юридические формуляры, указы, статуты, привилеи, акты епископских кафедр и консисторий. Как правило, глоссами снабжаются латинские обозначения различных видов имущества, совокупностей имущества, названия платежей, повинностей, полномочий, должностей. Позже эти глоссы стали основой для латинско-польских идеографических словарей, в первую очередь терминов права. Сохранилось несколько латинских словарей XIV—XV вв. с польскими глоссами; среди них есть словари немецкого и чешского происхождения, общие и тематические словари, рукописные и первопечатные.<sup>143</sup>

Для характера лексических норм формировавшегося литературного польского языка особое значение имели глоссы в латинских художественных текстах. Эти глоссы подбирались в ходе школьного и университетского изучения античной классики (в первую очередь Овидия, реже Вергилия, Лукриана, Персия, Ювенала, в меньшей мере Горация), а также ряда поздних латинских авторов. Интерпрета-

<sup>140</sup> L o ś J. Przegląd . . . S. 142—143.

<sup>141</sup> G r z e g o r c z y k P. Index. . . S. 30.

<sup>142</sup> B a r t o m i e j z B y d g o s z c z y. Słownik tacińsko-polski. Podług rękopisu z r. 1532 oprac. i wydał Bolesław Erzepki. Cz. 1—2 // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 1898. T. 24; 1898. T. 25; 1900. T. 27.

<sup>143</sup> C e l i c h o w s k i Z. Polskie glosy botaniczne w Mogunckim Zielniku z r. 1484 // Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności. 1904. T. 1. E r z e p k i B. Przyczyńki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do tacińsko-niemieckiego słownika, drukowanego w roku 1490 // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 1908. T. 34.

ция латинских пассажей предполагала прежде всего латинский лексико-стилистический комментарий, однако нередко за ними следовали подборки польских соответствий и синонимов; обычны были в этих опытах неологизмы, словообразовательные и семантические кальки. Ср., например, некоторые глоссы 1436 г. Станислава из Шадка в латинском сборнике басен неизвестного автора: *demencia* 'безумие' — *szaloność*; *imagine* (abl., sing.) 'образ', 'воображение', 'представление' — *wyobraźnościa*; *consequens* 'идущий следом' — *naśladowający po nim*; *vilescimus* (1 p., pl. от *vilescere* 'падать в цене, приесться, опошляться') — *pogańbieni bywamy*; *duobus dimicantibus tauris* (abl., pl.) 'два сражающихся быка' — *gdy dwa biłasta się byki*.<sup>144</sup>

3.2.1.4. Глоссирование текстов направлено в первую очередь на адаптацию текста и только в связи с текстом — на поиски народных соответствий латинским словам и выражениям. Тем не менее глоссы рано стали осознаваться как самостоятельная лексикографическая ценность, независимая от текста. Поэтому глоссы (прежде всего специальные и тематические) довольно рано сводятся в небольшие словарики терминологического характера. Древнейшую такую подборку XIII или начала XIV в. напечатал Брюкнер.<sup>145</sup> Большинство польских тематических словарей сохраняет дву- или (реже) трехязычный характер, при этом все они имеют отчетливо прикладную направленность. От рубежа XIV—XV вв. известен латинско-немецко-польский медицинский словарь (одновременно — лечебник и рецептурный справочник) «*Antidotarius*» (лат. *antidotum* 'противоядие').<sup>146</sup> Особенно многочисленны тематические словарики, относящиеся к XV в., — латинско-польские и реже немецко-польские ботанические, фармакологические, медицинские, ремесленные, хозяйственные; названия животных, месяцев, погодных явлений и просто неведомых вещей. Некоторые из словариков восходят к аналогичным чешским источникам. В XV в. появляются первые, еще рукописные словари юридических терминов: латинско-польский словарь магдебургского права, включавший около 90 терминов.<sup>147</sup> На юридические словари, по-видимому, был большой спрос: они сохранились во многих списках; словарь магдебургского права входит в число первых печатных польских словарей — это «*Farrago actionum civilium iuris Maydeburgensis*» (Cracoviae, 1531; 8-е изд., 1607) Яна Сервуса из Тухольчика.

Словари, будучи популярным жанром в польской книжности XV в., оказались удобной формой для риторических руководств — сборников этикетных формул и складных ответов, словарей сентенций

<sup>144</sup> K l e m e n s i e w i c z Z. Historia języka polskiego. Cześć 1 . . . S. 146.

<sup>145</sup> B r ü c k n e r A. Über die älteren Texte de Polnischen // Archiv für slavische Philologie. 1887. Bd 10. S. 414—415.

<sup>146</sup> L o ś J. Przegląd . . . S. 152.

<sup>147</sup> C e l i c h o w s k i Z. Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego z w. XV. Poznań, 1875.

и афоризмов.<sup>148</sup> Для упражнений школьников в искусстве речи создавались латинско-польские словари-разговорники с образцовыми диалогами, выдержанными в вежливо-обиходном ключе. Ср. некоторые иллюстрации из риторического разговорника конца XV в. «Formulae colloquiorum»: «Nolo te longius comitem esse — nie chcę cię, izby mię dalej prowadził; Felix tibi sit huius diei exortus — niechę będzie szczęśliwy ten dzień» и т. д.<sup>149</sup>

В истории развития интереса к польскому языку важной вехой является первый польско-латинский словарь, объемом около 400 статей. Его создание (в 20-е гг. XV в.) связано с именем Александра Пястовича Мазовецкого, тридентского ректора и епископа, племянника Ягеллы.<sup>150</sup>

В целом функции старинной польской лексикографии были значительно шире собственно словарного дела. С одной стороны, словари служили сугубо практическим целям: толковали и филологически охраняли сакральные тексты; были справочниками по медицине, ботанике, законодательству и другим специальным областям деятельности человека. С другой стороны, словари, будучи ведущим филологическим жанром польской книжности XV в., содержали в себе элементы новых аспектов филологической деятельности: грамматические наблюдения (например, в грамматически упорядоченных подборках глагольных словосочетаний); элементы версификации (в стихотворных словарях, в подборках рифмующихся слов), риторики (в сборниках афоризмов, в словарях-разговорниках).

Как и в Чехии, лексикография Польши XIII—XV вв. оставалась двуязычной. Однако при этом отношение к народному языку не было одинаковым. Если в чешской традиции отчетливо прослеживается стремление создавать чешскую лексику науки, образования, церкви и таким образом поднять статус чешского языка до уровня латыни, с тем чтобы в конечном счете именно чешский язык, а не латинский стал основным языком культуры народа, то в средневековой Польше лексикография была прежде всего инструментом овладения латинской книжно-письменной культурой.

**3.2.2. Орфография. Защита народного языка.** Польская письменность XIII—XV вв. была в основном латиноязычной. Древнейшие записи на народном языке — это отдельные вкрапления в латинские тексты: польские топонимы и антропонимы, названия сословий, учреждений, должностей, платежей, повинностей. Записи на народном языке, кроме того, были средством адаптации латинских текстов:

---

<sup>148</sup> Один такой словарь «Vocabula rethoricalia» 1428—29 гг., великопольского происхождения, напечатал Л. Малиновский, см.: M a l i n o w s k i L. Zabytki języka polskiego w rękopisu N 2503 Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie // Prace filologiczne. 1885. T. 1. S. 486—496. А. Брюкнер сообщает сведения о трех латинско-польских словарях-разговорниках первой половины XV в.; см.: B r ü c k n e r A. Polnische Sprichwörter im XV. Jahrhundert // Archiv für slavische Philologie. 1893. Bd 15, H. 3. S. 475.

<sup>149</sup> Цит. по: Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Część 1. . . . 147. Памятник издан Я. Пшиборовским в изд.: Prace Filologiczne. 1889—1891. T. 3. S. 176—180.

<sup>150</sup> Historia nauki polskiej. Wrocław etc., 1970. T. 1. S. 86.

на польском записывались глоссы, толкования; со временем на польский стали переводиться или по-польски излагаться некоторые тексты религиозного содержания, например Светокжизские проповеди (конец XIII в.). Брюкнер был уверен в раннем существовании учительных (толковых) евангелий на народном языке (с XIV в.). Историки литературного польского языка фиксируют как важные вехи этой вступительной фазы истории такие, например, факты: в 1410 г. плоцкий епископ, обращаясь к воинам перед битвой с крестоносцами, говорил по-польски; в 1418 г. Владислав Ягайлло в присутствии духовных и светских сановников приказал прочитать пасквиль Фалкенберга в переводе на польский язык; в 1420 г. обвинительное заключение по делу краковского епископа Войцеха было сформулировано по-польски; в 1431 г. в Кракове диспут с чешскими теологами велся почти только по-польски; в 1449 г. был переведен на польский язык Вислицкий статут; во второй половине XV в. были записаны по-польски формулы присяг войта, судебных заседателей, консулов, городских мастеров; были приняты также некоторые установления, обязывавшие ксендзов понимать язык паствы (это касалось священников-немцев).<sup>151</sup> Подобные факты говорят прежде всего о почти полном господстве латыни и вместе с тем — о начале вступления польского языка в сферы официальной общественно-культурной жизни, о первых попытках его защиты.

Поскольку польские записи вплетались во многие латинские тексты или были их пропедевтическим сопровождением, то понятно, что поступательное развитие книжно-письменной культуры средневековой Польши активизировало и латинское, и польское начало.

Этническая и государственная консолидация польского народа, развитие его материальной и духовной культуры и при этом расширение письменной коммуникации на польском языке — все это создавало предпосылки для изменения социолингвистического статуса польского языка. Возрастание его значимости нашло свое отражение в анонимном предисловии к орфографическому трактату Якоба Паркоша (ок. 1440 г.). Здесь впервые говорится о том, что польский язык может и должен стать основным языком польской культуры. Впервые польский язык выступает как самостоятельный объект лингвистического внимания; осознается необходимость его определенной нормализации. В итоге польское письмо оказалось той сферой, где соединились первые попытки нормирования народного языка и первый опыт наблюдения над его фонетикой.

Развитие польской письменности XIII—XV вв. шло в постоянных поисках графических средств для выражения богатого польского консонантизма и своеобразного вокализма. В польском языке фонем было почти в два раза больше, чем букв в латинском алфавите. Латыни хватало одного знака для единственной аффрикаты — [с], в польском же надо было различать шесть аффрикат. Латынь вообще не знала ши-

---

<sup>151</sup> Ma y e n o w a M. Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej. Warszawa, 1955. S. 5—6; K l e m e n s i e w i c z Z. Historia języka polskiego. Część 2. Doba średniopolska. Warszawa, 1965. S. 74—75.



пящих, а в польском различались четыре пары шипящих и шепелявых: [š]—[š'], [ż]—[ż'], [č]—[č'], [dź]—[dź'] (в современной польской графике соответственно sz—ś, ż—ź, cz—ć, dź—dź').

Польские писцы во многом подражали немецким и чешским рукописям, однако это не могло привести к нормализации польского письма, потому что, во-первых, и в немецком, и в чешском письме до распространения книгопечатания также царил графико-орфографический разноречивый, а, во-вторых, некоторые трудности носили специфически польский характер: например, шепелявых согласных и носовых гласных не было даже в соседнем и близкородственном чешском языке. Широкие графико-орфографические колебания наблюдаются не только в разных польских текстах, написанных в разное время и в разных магистратах или скрипториях, — колебания обычны и в пределах одного текста. Например, в Проповеди на день всех святых (*Kazanie na dzień Wszech Świętych, XV w.*) звук [s] передается четырьмя способами: s, ss, cz, sch; звук [š'] — пятью: s, sy, ssy, sch, sz и т. д. Естественно, что и фонетическая нагрузка буквы или сочетания букв также варьировалась: сочетание sch могло передавать звуки [š], [s], [š'], [z]; диграф sz мог читаться как [š], [ż], [s], [š'], [z]; cz — как [č], [č'], [c], [dź], [d'ż'] и т. д.<sup>152</sup>

Первую попытку нормализовать польское правописание предпринял Якоб Паркош (*Parkosz*, или *Parkoszwicz*, или *Jacobus Parcossii de Żorawice*) в орфографическом трактате написанном около 1440 г.<sup>153</sup> Паркош был краковским каноником, доктором права и профессором; он трижды избирался ректором Краковской академии.

Основная часть трактата Паркоша — это пространное рассуждение на латыни о том, как произносятся те или иные звуки польского языка и как их следует передавать на письме. Затем дан сокращенный стихотворный свод этих правил — «*Obiecado*» (т. е. азбука) с подборкой орфографических примеров в алфавитном порядке. Кстати, это первый стихотворный текст на польском языке; в нем 34 попарно рифмованных восьмисложных стиха. Вот его начало (в современной графике): «*Kto chce pisać doskonałe Język polski i [też] prawie. Umiej obiecado moje, Którym tak napisał tobie. Aby pisał tak krótkie a Aa sowito, gdzie się wzdłuża*». <sup>154</sup>

Паркош предложил систему одно-однозначных соответствий букв и звуков (фонем). В условиях орфографического хаоса польской письменности середины XV в. ценной была сама идея такого соответствия как пути к нормированному письму. При этом Паркош проявил замечательную фонетическую наблюдательность: он увидел оппозицию кратких и долгих гласных (долгие он предлагал запи-

<sup>152</sup> Подробно см.: *Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Część 1. S. 99—101.*

<sup>153</sup> Сочинение Паркоша трижды издавалось: в 1830 г. Е. С. Бандтке, в 1907 г. Я. Лосем, в 1985 г. М. Кудалой. См.: *Jakuba Parkosza Traktat o ortografii polskiej. Opracował Marian Kucala. Warszawa, 1985. Rec. in: Język polski, 1985, r. 65, N 5.*

<sup>154</sup> Транскрипция Вл. Кураскевича; см.: *Kuraszkiewicz Wl. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1972. S. 211.*

сывать удваивая соответствующие буквы). Он указал почти все оппозиции согласных по твердости—мягкости, не заметив только различия между [dz] и [d'z']; оба звука, а также [d'z'] он обозначил одним сочетанием dz. А. Брюкнер, а вслед за ним Я. Лось считали, что в польском языке середины XV в. гласные не различались по долготе и что Паркош ввел эту оппозицию под влиянием отчасти латинских орфографических руководств, отчасти — чешской орфографии Я. Гуса, объединив оппозицию закрытых и открытых гласных с различием долгих и кратких.<sup>155</sup> Однако современные историки польского языка нашли новые подтверждения правоты Паркоша.<sup>156</sup>

О лингвистической проницательности Паркоша говорит то, как он выявляет репертуар гласных фонем: всюду он приводит то, что теперь называют «минимальными парами» (*biil*, т. е. прош. вр. от *bić* 'бить' и *bil* 'стебель'; *kooth* (совр. польск. *kót* 'пяточная кость у животных') и *koth* 'кот'), иными словами, Паркош приводит именно те факты, которые доказывают фонологическую релевантность звуковых различий.

Что касается графической стороны проекта, то здесь решения Паркоша оказались слишком искусственными, чтобы найти последователей. Например, он предложил некоторые твердые согласные — [b], [p] — обозначить соответствующими буквами угловатого начертания в отличие от обычных округлых букв для [b'], [p']. С. Урбанчик видел здесь влияние музыкальной нотации, в частности обозначений движений тона (диез, бемоль, бекар).<sup>157</sup> С другой стороны, противопоставление округлых и угловатых начертаний могло быть подсказано соприкосновением в польской книжности латинского, так называемого гуманистического курсива и готического письма. При общем округлом характере польского письма XV в. угловатые начертания отдельных букв (причем для более частых твердых звуков), разумеется, не могли бы прижиться. К тому же в графике Паркоша остался невыраженным пропорциональный характер этой оппозиции, поскольку различие твердых—мягких согласных было сигнализировано не единообразно. Наряду с противопоставлением угловатых и округлых букв для двух пар звуков Паркош использовал еще несколько способов: 1) усложненные начертания для твердых звуков в оппозициях [m] — [m'], [n] — [n'], [v] — [v']; 2) двойные буквы, например ff — f для оппозиции [f] — [f']; z — zz для оппозиции [z] — [z']; 3) сочетания букв: ss — ssz для оппозиции [s] — [s']; 4) апостроф: l — l' для оппозиции [l] — [l']; 5) подстрочный знак в виде запятой с — ç для оппозиции [c] — [c'].

---

<sup>155</sup> B r ü c k n e r A. Traktat Parkosów ortograficzny // Brückner A. Początki i rozwój języka polskiego. Warszawa, 1974. S. 110; L ó s J. Przegląd... S. 126.

<sup>156</sup> C y r a n W. Ślady iloczasu w głównych języtkach języka polskiego XIV i XV wieku // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językowego 1952. XI. S. 1—2; Л е р - С п л а в и н с к и й Т. Польский язык. М., 1954. С. 131—132.

<sup>157</sup> Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław etc, 1978. S. 239.

Графическая система Паркоша не оказала прямого воздействия на последующую традицию. Ни один из его графических приемов не вошел в польское письмо. Однако влияние Паркоша сказалось в более общем и глубоком плане: им впервые поставлена задача нормирования польского письма; он первым выявил фонологический материал, подлежащий обозначению в графике, сумев увидеть при этом важнейшие оппозиции в системах гласных и согласных.

Трактат Паркоша не был забыт. В первом печатном сочинении по польской орфографии «Orthogrphia, seu modus recte scribendi Polonicum idioma quam utilissimus» Станислава Заборовского (Краков, 1513) есть текстуальные совпадения с Паркошем.<sup>158</sup> Заборовский, писарь, позже подскарбий королевского казначейства, теолог и историк, декан в Ягеллонском университете, был связан также с краковскими книгоиздателями. С. Урбаньчик допускает, что его Орфография была заказана типографами.<sup>159</sup> Книга выдержала ряд переизданий: 11-е — в 1564 г.; начиная с 1518 г. в нескольких изданиях орфография дополнена латинской грамматикой.<sup>160</sup>

Заборовский в основном следует Паркошу в понимании состава обозначаемых звуков. Однако он отказывается от различения долгих и кратких гласных (решение, адекватное фонологической реальности польского языка начала XVI в.). В отличие от Паркоша Заборовский широко и последовательно использует диакритику (точку, две точки, оксию, апостроф, черту над буквой, но, однако, не гачек «еретика» Гуса, чей орфографический опыт, конечно, молчаливо учитывался), а также некоторые подстрочные знаки (точку под буквой, запятую для носовых гласных). У Заборовского почти нет сочетаний букв (кроме *ch*, например *chleb*); нет *i* в качестве показателя мягкости предшествующего согласного (как в некоторых старопольских текстах); нет видоизмененных начертаний букв, как у Паркоша. Графическая система Заборовского логична, однако оказалось, что она недостаточно выразительна в семиотическом плане. В дальнейшем польская графика пошла по пути сочетания разных графических приемов, известных по старопольским рукописям и орфографическим сочинениям Паркоша и Заборовского.

С орфографическим трактатом Паркоша связано и первое в истории польской филологической мысли выступление в защиту народного языка — теоретическое введение к трактату, написанное на латыни неизвестным краковским магистром.<sup>161</sup> Брюкнер считал это

<sup>158</sup> L o ś J. Przegląd. . . S. 128.

<sup>159</sup> Encyklopedia wiedzy o języku polskim. S. 383.

<sup>160</sup> Имеется польский перевод: K u c h a r s k i A. F. Ksiedza Stanisława Zaborowskiego Ortografia polska z łacińskiego na polski przelożona, z przydaniem uwag tłumacza, tudzież Ortografii Seklucjana i spisu bibliograficznego gramatyk i słowników polskich. — Warszawa, 1825. Факсимильное воспроизведение издания 1514 и 1518 гг., а также польский перевод памятника см. в работе: Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts / Herausgegeben von S. Urbanczyk unter Mitwirkung von R. Olesch (Slavistische Forschungen, Bd 37). Köln; Wien, 1983.

<sup>161</sup> Сочинение издано Я. Лосем в Materialach i Pracach Komisji Językowej. 1907. Т. 2. S. 379—425; польский перевод Лося напечатан в кн.: Języku polskim

анонимное вступление к трактату по силе мысли, по широте кругозора, по новаторскому пониманию взаимоотношения языков являем более значительным, чем собственно орфография Паркоша.<sup>162</sup> Вступление свидетельствует о том, что польские книжники середины XV в. были знакомы с философскими концепциями языка у Платона и Аристотеля — здесь цитируется диалог Платона «Тимей»; цитируются «Политика», «Топика», «Герменевтика» Аристотеля, а также ряд средневековых авторов. Отталкиваясь от библейской легенды о смешении языков во время Вавилонского столпотворения, автор пишет о множественности языков, их отдельной судьбе и естественных различиях их письменностей. Ему известна история создания еврейской, греческой и латинской письменностей; он знает, у каких народов письмо строится на основе латинского алфавита; знает, что русское письмо восходит к греческому, но что названия букв греческого и «русского» (т. е. церковнославянского) алфавита разные. Особенно значительно выступление анонимного автора в защиту народного языка. Он энергично полемизирует с мнением, согласно которому перевод Писания на народный язык ведет к ереси. Особенно желателен перевод на польский, считает он, в деловой и юридической письменности. Автор утверждает, что и польские хроники должны писаться на народном языке, — как чешская хроника Далимила, как французские хроники. Для всего этого и нужно руководство по польскому письму, которое представляет читателю предисловие.

Учено-публицистические выступления в защиту народного языка становятся обычными в предисловиях и посвящениях к первым печатным книгам на польском языке. В числе авторов таких вступлений — знаменитые краковские издатели Иероним Ветор (Wietor) и Флориан Унглер (Ungler); дочь короля Казимера Ягеллончика Эльжбета; составитель и переводчик первой польской печатной книги по естествознанию и медицине Стефан Фалимиж (Falimirz).<sup>163</sup>

**3.2.3. Изучение латинского языка и словесности.** Как известно, в Польше латинская образованность получила наибольшее развитие (по сравнению с другими славянскими странами). Латынь была основным языком церкви, государства, науки, образования. Знание латыни было необходимым условием для занятия любых церковных, государственных или муниципальных должностей; латынь составляла основу во всех видах умственного труда. Латынь господствовала в польской поэзии XV—XVI вв. «Латинский язык был единственным орудием для выражения сложных мыслей образованных людей, которые . . . если не изъяснялись, то во всяком случае писали не без труда на своем родном языке, и даже для понятности и ясности переводили в некоторых случаях свои польские фразы «обратно на ла-

---

1913. 1. S. 86—90, а также в кн.: *Obrońcy języka polskiego*. Wrocław, 1953. S. 3—9.

<sup>162</sup> Brückner A. *Traktat Parkoszków ortograficzny*. . . S. 113.

<sup>163</sup> См. публикацию предисловий в кн.: *Obrońcy języka polskiego*. Wrocław, 1953.

тынь».<sup>164</sup> Кроме того, в Польше, как и всюду в Центральной и Западной Европе, латынь изучалась в качестве языка широкого международного общения. Важен был также конфессиональный статус латыни в оппозиции греческому: первые европейские языки христианства, после разделения церквей, греческий и латынь стали символизировать оппозицию вероисповеданий, идеологий, культур; их изучение полагалось необходимым для богословия.

В польской традиции XIV—XV вв. памятники, связанные с изучением латыни, разнообразны в жанрово-тематическом отношении: от элементарных руководств до филологических разысканий и ученых комментариев в духе «*studia humanitatis*» раннего европейского гуманизма. Старейший сохранившийся трактат о латыни датирован 1335 г.; это изложенная в гексаметрах «*Orthographia*» Франтишка из Львувка в Силезии (*Franciscus de Monte Leonis*).<sup>165</sup> Сочинение известно в шести рукописях, хранящихся в монастырских библиотеках. В одной из них содержится также анонимный комментарий к трактату, датируемый серединой XV в. С XIV в. в качестве пособий при занятиях латинской грамматикой составлялись списки глаголов тех или иных лексико-грамматических классов: *Verba deponentia nova*, *Verba deponentia neutralia* и т. п. На рубеже XIV—XV вв. в Польше был составлен (или переписан) и дополнен польскими глоссами учебник латинской грамматики «*Liber masse grammaticae*» («Книга о материи грамматики»), содержавший основы спекулятивной теории языка. Известны также более поздние (конца XVI в.) комментарии к этой книге. С традицией латинских спекулятивных грамматик была связана и компиляция XIV в. «*Fundamenta puerorum*» («Основание юношества»). Этот свод использовался и в элементарных школах, и на факультете «свободных искусств» Краковского университета. В XV в. распространяются польские списки Доната, а также комментарии к Донату и образцы грамматического разбора популярных молитв, обычно в вопросно-ответной форме: «*Dominus quae pars? Est nomen. Quid est nomen? Est pars orationis declinabilis . . .*» и т. д. К началу XV в. относится стихотворное руководство по метрике и просодии «*Metrificale*» Марка из Опатовца. Как известно, для средневековой книжности умение слагать и анализировать стихи — это предмет обучения, завершающий грамматический класс; занятия версификацией были обязательны в университетах. «*Metrificale*» Марка и было пособием для таких занятий. Автор опирается главным образом на «*Doctrinale*» (1199) и на компиляцию «*Priscianus maior*» Псевдо-Петра Гелийского (Peter Helias, XII—XIII в.). «*Metrificale*» включает учение о звуках, ударении, о долготе слога и стопе, о разновидностях размеров, о том, как избежать ошибок в метрике.<sup>166</sup>

К концу XIV в. относятся первые польские руководства по практической риторике латинского языка: сборники образцов документов,

<sup>164</sup> Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков. М., 1963. С. 262.

<sup>165</sup> *Historia nauki polskiej*. Wrocław etc., 1970. Т. 1. S. 83.

<sup>166</sup> *Ibid.* S. 84.

писем, приветствий и т. п. К памятникам такого рода относятся «Formulae» (между 1399—1415 гг.) и так называемая Краковская риторика 1425—1434 гг. Обе риторики составлены краковским писарем, позже королевским нотариусом Ежи. В отличие от грамматических руководств риторики в своих источниках связаны не столько с университетом, сколько с судом и канцелярией и, по-видимому, с более широким кругом говорящих (пишущих) на латыни.

В Польше очень рано, едва ли не на заре латинской письменности, стала культивироваться классическая эрудиция. Уже Аноним Галл, автор первой польской хроники (XII в.), цитирует Саллюстия; в посланиях краковского епископа Матеуша Холевы есть ссылки на Горация, Боэция, Вергилия. Особенно сильны классические мотивы у магистра Сорбонны краковского епископа Винцента Кадлубека (Kadlubek) — польского представителя того раннего обращения к античности, которое в истории культуры называют Ренессансом XII в. Его четырехтомная «Chronika Polonorum» (первая четверть XIII в.) — это «энциклопедия цитат» из Юстиниана, Ювенала, Цицерона, Квинтилиана, Вергилия, Овидия, Сенеки, Саллюстия; из источников по медицине, географии, физике, римскому и каноническому праву.<sup>167</sup> Столь широкая эрудиция была исключительным явлением не только в Польше, но и во всей Европе XII—XIII вв.<sup>168</sup>

В эпоху предгуманизма (XIV в.) в польских ученых кругах интерес к античности значительно возрастает. Сохранившиеся тексты лекций краковских профессоров свидетельствуют, что они знали, впрочем преимущественно в фрагментах, сочинения Цицерона, Сенеки, Овидия, Вергилия, Горация, Лукиана, Персия, Боэция. Греческие сочинения были им известны в латинских изложениях и комментариях. В Кракове знали оба сочинения Аристотеля, касающиеся поэзии и красноречия, — «Поэтику» и «Риторику».

В приобщении Польши к раннему гуманистическому движению (вторая четверть XV в.) значительную роль сыграли люди, занятые дипломатией. Позже поворот к гуманистической филологии произошел в Краковском университете. По инициативе и усилиями известного историка Яна Домбрувки (Dąbrowka) и канцлера университета краковского епископа Збигнева Олесницкого существенно изменился характер обучения на факультете свободных искусств и трех коллегиях университета. Ведущая роль отводилась чтению-комментированию античных авторов; открывались подходы к филологической критике текста; возрождались классическая латынь. Так закладывался фундамент будущего расцвета гуманистической филологии в Польше XVI в.

С развитием гуманистических интересов к античному культурно-языковому наследию уже в конце XV в. в Польше становятся известны напечатанные в Венеции, Милане, Вене грамматики классической латыни, возрожденной гуманистами, — грамматики Гварини

<sup>167</sup> Chmielowski P. Historia literatury Polskiej. Od czasów najdawniejszych do końca wieku XIX. Lwów, 1914. S. 29—35.

<sup>168</sup> Historia nauki polskiej . . . S. 85.

Вероненсия, Лоренцо Валлы, Альда Мануция, а также поздние античные грамматики (Палемона, Диомеда, Доната, Присциана), также очищенные гуманистами от средневековых напластований. С начала XVI в. гуманистические латинские грамматики издаются в самой Польше — в Кракове, позже в Познани, Замостье, Львове, Вильне: в 1503 г. — «*Minori Donati interpretatio*», в 1504 г. — «*Exercitium secunde partis Alexandri*», в 1523 г. — «*De octo orationis partium constructione*» Лили и Эразма Роттердамского, в 1525 г. — «*Doctrinale*» Александра Вилладейского.<sup>169</sup>

Латинские грамматики имели большое общефилологическое культурное значение; они способствовали грамматическому осмыслению не только латыни, но и народного языка (*vernacula lingua*).<sup>170</sup> Чем сильнее в культуре народа были латиноязычные традиции, тем более значительное влияние оказывала латынь на народный язык и его грамматику. В классах латыни обычным было упражнение: «*Dic vernacule*» (т. е. 'скажи на местном языке'); это побуждало задумываться над формами родного языка, отыскивать соответствия, замечать непере译имое. По выражению М. Цитовской, в Польше «*fascina izby szkolnej patronowała*» ['покровительствовала'] развитию народного языка.<sup>171</sup> В начале истории литературных народных языков латынь была не соперником народному языку, а образцом и опорой в его подъеме. *Grammatica vernacula* выростала из латинской грамматики, как бабочка из личинки: латинские грамматики с большими или меньшими пояснениями на народном языке (и примеров, и терминов) постепенно трансформировались вначале в двуязычные грамматики одновременно на латыни и *vernaculae*, а затем в грамматики *vernaculae* — вначале на латыни, позже на народном языке, но с постоянной опорой на латынь — то ли в поясняющих переводах, то ли в отсылках: «как в латыни».

История сложения грамматик народных языков, и в том числе польского, связана с культурными событиями следующего века — XVI.

---

<sup>169</sup> C y t o w s k a М. *Od Aleksandra do Alwara (gramatyki lacińskie w Polsce w XVI w.)*. Warszawa, 1968. S. 83.

<sup>170</sup> Подробно см.: I s i n g Е. *Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen in Mittel- und Osteuropa // Studien über den Einfluss der lateinischen Elementargrammatik des Aelius Donatus De octo partibus orationis ars minor*. Berlin, 1970.

<sup>171</sup> C y t o w s k a М. *Od Aleksandra do Alwara...* S. 83.

Л. С. Ковтун

## СЛОВО И ТЕКСТ. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА

### Средневековое понимание слова

Патриотическая философия Византии, оказавшая разно-стороннее влияние на древнерусскую культуру, как известно, сочетала церковное учение с концепциями античных философов, особенно Платона и Аристотеля. Основные проблемы средневековых философских воззрений были тесно связаны с пониманием сущности слова. Достойны изучения не отдельные вещи, чувственные и изменчивые, но общее и необходимое в вещах. Источник знаний о мире — не реалии, а понятия о них. Объектом познания, по этим представлениям, объявлялось слово.

Решение кардинального вопроса о двух началах — материи и идее — состояло в признании ведущим «духовного», а чувственного («внешнего») — производным и зависимым от «духа». Причем во всем сущем, как считалось, проявляются оба эти начала.

Абстрагирующее сознание Средневековья и мистическое отношение к слову были восприняты русской книжностью в основном через переводы сочинений богословско-догматического характера, но трактовку подобных тем находим не только в них, но и в трудах энциклопедического и философского направления. Ср. истолкование таких понятий, как «етеросущее — двоесущество» и «видимый и невидимый мир», в одном из рукописных словарей, наиболее значительных для Московской Руси XVI столетия.<sup>1</sup> Первое из них разъяснено: «Едино существо — божество, а другое существо — человечество». И далее: «Первое существо — тело, другое существо — душа, сего ради человек наричетъся видимый мир и невидимый». При раскрытии второго понятия также сказано: «Сугуб есть человек, от души бо и тела сложен». В качестве литературного источника, которым пользовался лексикограф, названы 8-е и 21-е «слова» Григория Богослова.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Словарный труд, принадлежащий к типу азбучников, объединивших в своем составе глоссы текстовой лексикографии, характерной для более раннего периода (XI—XV вв.), и собственные наблюдения книжников XVI в. — составителей этих словарей.

<sup>2</sup> Азбучник сер. XVI в. по ркп. ГПБ О. XVI. I 20-х гг. XVII в., л. 30, 46 об., 47. Григорий Назианзин (Богослов) (ок. 329—ок. 389) — византийский писатель, сыгравший значительную роль в оформлении христианской догматики.



Двойственная природа всего сущего свойственна, по средневековым понятиям, и словесному значению: за «внешним» смыслом таится другой, сокровенный. «По чувственному пажить толкуется поле злачно, рекше травное, потребно в пищу скотом, а по духовному пажить толкуется святая церковь, исполнена живоноснаго закона духовных словес», — читаем в том же словаре.<sup>3</sup>

Первостепенную роль обретает символическое осмысление текстов.

Оценивая роль символизма в культуре древней Руси и определяя периоды его расцвета и угасания, Д. С. Лихачев отмечает, что истоки средневекового символизма надо искать у греков (эллинистического периода), которые были склонны символически толковать свою мифологию. Что касается книжности Средневековья, то она «была пронизана стремлением к символическому толкованию природы, истории и Писания».<sup>4</sup> «Вслед за символическим истолкованием Ветхого и Нового заветов символизирующая мысль Средневековья (и на Востоке Европы и на Западе) тем же путем истолковала и все явления природы».<sup>5</sup> И далее: «Весь мир полон символов и каждое явление имеет двойной смысл».<sup>6</sup>

Символика церковных книг образует разветвленные смысловые пучки. Так, среди символов одной из библейских книг — Псалтыри (в славянском воспроизведении ее текста XII в.) — могут быть названы ряды слов: а) со значением водного пространства; б) обозначающие возвышенности; в) соотносимые по значению с темой вспаханной земли и земли невозделанной, пустоши; г) выражающие понятия света, огня, жара; д) называющие существ, обитателей земли, и др.

Символы развивают друг друга. Например, слово *земля* имеет символическое значение 'человек' — земля «мысленная», или «разумная», «умная». Вера вспахивает «мысленную землю», ее бразды — сердце, ум, душа.

Символы многозначны. Гора — это и вера, и богородица, и церковь; то же слово обозначает и обилие людских грехов — «горы греховныя».<sup>7</sup>

Наблюдается синонимия символики: наличие разных (иногда многих) наименований для обозначения одного и того же предмета или явления. Символами крещения оказываются слова: море, река, вода, апостолов — холмы и столпы (ср. пророки — горы).<sup>8</sup> Такие символические ряды состоят из слов, соотносимых по смыслу, но

<sup>3</sup> Там же. Л. 86 об.

<sup>4</sup> Л и х а ч е в Д. С. Средневековый символизм в стилистических системах древней Руси и пути его преодоления: (Сб. статей к шестидесятилетию акад. В. В. Виноградова). М., 1956. С. 167.

<sup>5</sup> Л и х а ч е в Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. Изд. 3-е, доп. С. 162.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Подобное же символическое значение имеют и слова: реки, источники, потоки, течения греховные.

<sup>8</sup> «Популярное на Руси Слово на рождество богородицы Андрея Критского приводит семьдесят четыре символа богоматери» (Л и х а ч е в Д. С. Поэтика... С. 162).

имеющих и свои отличия, которые дают основания для вариаций истолкований. Если апостолы названы холмами, «яко вышше земнаго жития» (пс. 71), то для символа «столпы» приводится другое основание: «суть же нераздрушими» (пс. 74). Вместе с тем при условности выбора символа таковыми выступают и слова различных значений: апостолы — не только холмы и столпы, но и облака (облаци),<sup>9</sup> а этот последний символ в свою очередь означает «телеса просвещаемых», входя тем самым в ряд символов крещения.

Особенно богат и разнороден в Псалтыри пучок символических и эфемистических именовании дьявола и бесов. Дьявол — чаша вина растворена, пес, лев, змеи (аспид и василиск), а также грешный, законопреступный, клеветник, сильный; бесы — змеи, кони, враги.

Характерно попавшее затем и в старинные словари рассуждение истолкователя псалмов по поводу черноты дьявола («и бысть, яко главня истръжена от огня, еже есть от горения древо»). Признак, ставший поводом для наименования его и бесов эфиопами и муринами.<sup>10</sup>

Условность символа обнаруживает себя особенно явно, когда у одного и того же слова оказываются предельно несходные символические смыслы. Примером может служить словарное описание лексемы «эфиопы», которое неожиданно, в новом аспекте, развивает тему воздействия пламени, огня: «эфиопи т смирени, наричет же писание и бесов аравлянами, и эфиопами, и муринами, черны бо акы главня угашена». Следует пояснение выбора подобных наименований, основанное на реальном признаке: «. . . того ради предреченными имены нарицаеми, занеже во эфиопских и аравских и мурских стран люди зело черны».<sup>11</sup> Однако в первом из символических значений этих слов — «смирени» видим отнюдь не бесов, а, напротив, святых, праведных. Характерно, что и этот смысл почерпнут из Писания (пс. 73). Так говорится, по словам толкователей, о благоверных, «елицы убо беспрестани горять душами своими нетленным огнем божественяя любве». Одним и тем же символом, таким образом, могли быть даже и слова антонимических смыслов, например «свет» и «тьма» (как обозначение бога).<sup>12</sup>

Итак, символ при статичном значении обладает свойством практически не ограниченной свободы модификаций. В средневековых

---

<sup>9</sup> Устойчивость последнего символа особо подчеркнута истолкователем: «облаки бо кныги апостоли глаголють присно».

<sup>10</sup> Подробнее о символике и других образных средствах в тексте Толстовской псалтыри XII в. в кн.: Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. М., Л., 1963. С. 155—182.

<sup>11</sup> Азбуковник начала XVI в., по ркп. ГБЛ МДА 21 (35), 1594 г., л. 84. Издан в кн.: Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI—начала XVII в. Л., 1975. С. 268—281. Сокращение «т» означает: «толкование».

<sup>12</sup> В XVII в., когда религиозный символизм все более уступал место реалистическим типам образности, применение второго символа стало вызывать отпор даже в среде старообрядцев. Так, Симеон Полоцкий упрекает Никиту Добрынина в том, что ему незнакомо толкование образа «тьма» и в применении к богу Дионисием Ареопагитом. Ср.: Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976. С. 20—22.

текстах искали скрытый духовный мир — внутренний мир абсолютных, непостижимых и неизмеримых идей. Считалось, что символы даже и избранным «открываются» лишь отчасти, представляя то в одной, то в другой из своих ипостасей. Поэтому и раскрытие («познание») символов мыслилось как беспредельное. Каждый из текстов мог получить не одно, а много, причем несходных, а иногда и противоположных, истолкований. Отсюда и возникали символические пучки для выражения того или иного «духовного» смысла, и, наоборот, те же самые слова выступали как знаки самых разнообразных и разнородных объектов.

Кто же были те авторитеты, чьи объяснения признавались «истинными»? Максим Грек<sup>13</sup> и его русские сотрудники, новгородцы Дмитрий Герасимов и Влас Игнатов,<sup>14</sup> перевели с греческого Толковую псалтырь (1518, 1519 гг.), но, так как раскрытия смысла псалмов принадлежали разным «отцам церкви» и во многих случаях были несходны, Максим предварил этот перевод историческим экскурсом, в котором разделил истолкователей на три группы: одни из них смысл речи изложили «иносказательно» (аллегорически), другие «изводительные и премирные» (символически), третьи «по письмени просто изложивша».<sup>15</sup> К первым, среди других, он причислил Иоанна Златоуста,<sup>16</sup> Афанасия Александрийского,<sup>17</sup> Василия 'великого';<sup>18</sup> к истолкователям, следующим буквальному, историческому объяснению, — Феодорита.<sup>19</sup>

Независимо от того, верна ли характеристика методов истолкования, данная в эссе Максима, здесь уже намечено противостояние мистического и реального. С одной стороны, цель человеческого познания — раскрытие тайных символических значений, причем символами «вечных» и «вневременных» отношений становились такие явления реального мира, как животные, растения, драгоценные камни, численные отношения и т. д. Физиологи, шестодневны, азбуковники и другие сборники, распространенные по всей Европе, отразили абстрагирующее миропонимание, символически связавшее

---

<sup>13</sup> Максим Грек (Михаил Триполис, 1470—1556 гг.) — выдающийся филолог и писатель Московской Руси.

<sup>14</sup> Дмитрий Герасимов, Влас Игнатов — переводчики с латинского и немецкого. См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси, вторая половина XIV—XVI в. Л., 1988. Ч. 1. А—К. С. 195—196, 140—141.

<sup>15</sup> Позднейшие богословы не могли уловить разницы между первыми двумя направлениями (ср.: И к о н н и к о в В. С. Максим Грек и его время. Киев, 1915. С. 167—169).

<sup>16</sup> Иоанн Златоуст (347—407), один из прославленных иерархов греческой церкви, учился ораторскому искусству у софистов, в экзегетике изредка прибегал к аллегориям, писал «слова» в защиту монашества, беседы, проповеди и др. В древней Руси был одним из наиболее читаемых авторов.

<sup>17</sup> Афанасий Александрийский (298—373) — архиепископ, автор сочинений догматического и полемического характера в области экзегетики и морали.

<sup>18</sup> Василий Великий (329—378), представитель каппадокийской богословской школы, провел несколько лет в Афинах (центре философского образования), автор аскетических трактатов, монашеских уставов, проявил себя и как знаток экзегетики.

<sup>19</sup> Феодорит — епископ кирский, богослов V в.

все сущее в априорную систему.<sup>20</sup> С другой стороны, уже и в самой герменевтике Священного писания таилась совсем другая, прямо противоположная тенденция: содержались элементы реалистического, исторического, а также рационального понимания слов и текста.

Обильные материалы византийской герменевтики, обогащенные опытами славянских переработок, встречаются уже в самых ранних списках переводов Писания и других сочинениях средневековой книжности (XI—XII вв.). Характер выражения мысли, типичный для литературы этого рода, привел к развитию, даже в недрах религиозной символики, элементов натурализма и энциклопедизма.

Наглядная и занимательная форма притчи вовлекла в церковные тексты множество наименований реалей (предметов, животных, растений и т. д.).<sup>21</sup> Ср.: «Павел рече, братья, мал квас все тесто искувасити ~ събиране неправдное все именье погубити». «Придете и ядите мои хлеб и пиите вино, еже чърпахъ вам ~ тело и кръвь». «Что естъ комары процежающе, а вельблуды пожирающе?» . . . «Глас въпьющаго в пустыни». Далее следуют толкования. Примеры взяты из «Книги нарицаемая Изборник и от мног отъць тълкованы» XIII в., который изобилует подобными изречениями.<sup>22</sup>

Стремясь объяснить уподобление, истолкователь нередко давал описание и свойств предмета, аллегорически обозначающего ту или иную идею.

Особенно показательны широтой интересов сборники книгописца Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина, состоящие из произведений древнерусской литературы (переводной и оригинальной, светской и церковной), а также из выписок всевозможных отрывков средневековой письменности. Содержание сборников Ефросина и характер редакторской правки позволяют увидеть в нем «выдающегося литературного и культурного деятеля XV в.»<sup>23</sup> Ефросину принадлежат шесть сборников.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Указав на это состояние, Д. С. Лихачев отмечает: «На Западе и на Руси сущность средневекового символизма была в основном одинакова, одинаковы же были в огромном большинстве и самые символы, традиционно сохранявшиеся в течение веков и питавшие художественную образность литературы». Вместе с тем нельзя упускать из виду, как полагает автор, и различий в средневековой символике, которые проявляются между западноевропейскими и византийскими представлениями (Л и х а ч е в Д. С. Поэтика. . . С. 163).

<sup>21</sup> Слово «притча» в древней Руси соединяло разные смыслы: 'уподобление', 'иносказание, притча', 'гадание', 'загадка', 'изречение, присловие', 'поговорка' (С р е з н е в с к и й И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903. Т. II. Стб. 1482—1483).

<sup>22</sup> Ркп. ГПБ Оп. 1.18 XIII в., л. 16, 22 об., 17, 55. Подробнее в кн.: К о в т у н Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. С. 158—162.

<sup>23</sup> Л у р ь е Я. С. 1) Идеологическая борьба в русской публицистике XV—начала XVI века. М.; Л., 1960. С. 70, 74; 2) Литературная и культурно-просветительская деятельность Ефросина в конце XV в. // Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). М.; Л., 1961. Т. XVII. С. 130—168. Словарь книжников. . . С. 227—231.

<sup>24</sup> Сборники Ефросина получили теперь всестороннее описание (наиболее ценно соотношение включенных в них сочинений и всякого рода фрагментов с текстами древнерусской книжности, а также и указания на публикации этих

Сборники Ефросина насыщены и толкованиями символики, и энциклопедизмом, и всякого рода соотношениями слов.<sup>25</sup>

Ср. л. 31 об. [на полях—] О лвици. Лвица, егда родить детищъ, мертва родит его ~ тако и Исус Христос богомь Отцомь в 3 день воскресе от мертвых,<sup>26</sup> л. 177 об.—178. Иеремя поминая глаголетъ: горлица, ластовица, щур — сильныя птица, разумеша лету приход. . . , следует параллель.<sup>27</sup> Л. 177—177 об. О скончании жития. Егда опустеет земля, рекше не здраво будет тело, и тогда царь и царица изыдета от престола своего, рекше ум и душа от тела изыдета.<sup>28</sup>

Рядом с реальными смыслами воспринимаются и усваиваются и символические. Ср. л. 112 об.: Что ради, рече, и оная пиявици не устерегохся. Тол(к). Пиявицю глаголетъ власть и славу;<sup>29</sup> л. 31 об. О многоножицы. Есть убо рыба, ею же зывают многоножица, естество же ея и нрав ее есть ~ тако убо и неции суть живущии с погаными — погани, а со христианами — христиани, и с неверными — неверни.<sup>30</sup>

По своей основной тенденции сборники Ефросина энциклопедичны. Его стремление извлечь из разнородных книг сведения по философии, истории, географии, космографии, метеорологии, «даже по биологии и народной медицине того времени»<sup>31</sup> вполне проявилось. Ср. л. 32 [на поле—] Что есть человек? Человек есть, рече, животно словесно, мертвено;<sup>32</sup> л. 34—34 об. Имена великих рек, всех их 40; л. 34 об. Имена великих гор — 13; л. 169. Язык человеческих — 72, четвероногих же род — 54, а рыб[н]ья род — 102,

---

текстов). См.: Каган М. Д., Поньрко Н. В. Рождественская я М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. XXXV: Рукописное наследие древней Руси. С. 3—300. Далее описатели отмечают в составе сборников два романа об Александре Македонском, Повесть о Дракуле, рассказы о Соломоне и Китоврасе, Суды Соломона, «Сказание об Индийском царстве», Притчи из Повести о Варлааме и Иосафе, «Задонщину» и многие другие произведения. Указано и на примечательный интерес Ефросина к сочинениям, связанным с фольклором: «Слово о Хмеле», «Плач Адама о рае», скомороший диалог о добрых и злых женах и др., а также «к собираемым им по крупицам сведениям по античной литературе, мифологии, философии, медицине» (с. 4).

<sup>25</sup> Все примеры, которые будут приводиться дальше, — из Сборника XV в.: ГПБ, Кирилло-Белозерское собр., № 22/1099.

<sup>26</sup> «Физиолог», Оп., с. 16. Приводятся сведения также о птицах Алконосе, Финиксе и о связанных с ними символах. Толковая Палая 1477 г., Оп., с. 16. 17.

<sup>27</sup> Толкование на книгу пророка Иеремии, Оп., с. 51.

<sup>28</sup> «Измарагд» Иоанна Златоуста, Оп., с. 51. «Рекше» — 'то есть, иначе говоря'.

<sup>29</sup> Толкование к библейской книге Екклесиаст, приписываемое Григорию Богослову. Оп., с. 29.

<sup>30</sup> Оп., с. 16. «Погани» — язычники, «невернии» — иноверцы, нехристиане.

<sup>31</sup> Лурье Я. С. Идеологические течения. . . С. 70.

<sup>32</sup> К тексту: Человек некий бе в стране Авдигтестей. . . В Описании — указание на Беседу Иоанна Златоуста (XI) со свьятой, что именно так определяли человека «языческие» (т. е. античные) философы. Оп., с. 17. «Словесен» — разумен, «мертвен» — смертен.

а змеиный род — 104;<sup>33</sup> л. 38—39 об. О временах и о солнце, и о человеке, и о луне, и звездах.<sup>34</sup>

Меры длины, веса, соотношение денежных знаков, с попутным столкновением терминов: л. 5 об. Щурове, рекше лотове, тех 300 локоть, а наших 3;<sup>35</sup> л. 223 об.—224 об. От странника. От Белаграда до Царяграда по Черному морю семьсот миль. . . От Москвы до Киева верст полторы тысящи;<sup>36</sup> л. 35. От Ерусалима до Вифании стадии 15, а в стадии есть ступлений 250;<sup>37</sup> л. 35. Подобаает ведати, колико имать талант. Талант имать 125 литр, а литра имать 75 златник, а златник имать 20 почек рожцевых;<sup>38</sup> л. 208—208 об. Лепте зовутся асарии, рекше и нуmia, 60-т же ассарии имеше тогда динарь, 100 же динарии — сребреникъ;<sup>39</sup> приписка [на поле—] Драхра держит 5 денег, злата 17 алтын, в таланте — литр 13.<sup>40</sup>

Собственно языковые сведения: л. 112 об. О месяцах кождо противу языку своему. Месяцы названы по-«римски», «египетски», «еврейски» и «еллинъски» (с марта по февраль);<sup>41</sup> л. 169. Десяток татарской 1. бирь 2. еки 3. учь 4. дорть 5. бешь 6. алты 7. еди 8. секизь 9. токуз 10. . . Указаны и десятки: нгирми — двадцать отуз — 30, кырк — 40; [на полях—] илю — 50, атмышь — 60.<sup>42</sup>

Среди терминов — топонимы, ономастика, этнонимы: л. 16 об.—17. Кавкасииския горы рекше Угорьскыя; л. 33. От внутреняя ефиопския страны, глаголемыя Индиа; л. 35. Самариа же есть, яже ныне Севастиа нарицається; л. 188 об.—190 об. «О фрязах и прочих латинах»;<sup>43</sup> л. 134. Власия, иже Вуколь; л. 195—196 об. И нарече Адам имя жене своей жизнь, яко та мати всем живущим<sup>44</sup> — символическая этимология к имени — Ева.

Чины и термины родства: л. 117 об. Стратилат, рекше воевода; л. 119 об. Преподобнаго отца нашего Авраамия и Марии анепсеи его, рекше брата его дщери.

Наименования предметов: л. 33 об.—34. Облачашеся святитель. . . в подирь, рекше в ризу; л. 138 об. Жена, воизлиявшия на тело господне миро, еже смирну с аллоемь; л. 216—216 об. Алавастр же есть съсуд стъклян, без рукояты створен, еже убо викия сице глаголется; л. 273 об. Сикера глаголется все упоити могущее, а не от виноград токмо.<sup>45</sup>

Занимают свое место и глоссы к славянским словам: л. 129—130. Иже судите искръняго, сиречь брата своего; л. 207 об.—208.

<sup>33</sup> Оп., с. 18, 20. «Язык человеческих» — народов, племен.

<sup>34</sup> Там же, с. 20.

<sup>35</sup> Оп., с. 11. «Шур», «лот» — гигант.

<sup>36</sup> Оп., с. 60.

<sup>37</sup> Оп., с. 18. Стадия (греч. στάδιον) — путевая мера.

<sup>38</sup> Оп., с. 18.

<sup>39</sup> «Святого Кирила о 30-х сребреницах». Оп., с. 56.

<sup>40</sup> Там же.

<sup>41</sup> Оп., с. 29.

<sup>42</sup> Оп., с. 49.

<sup>43</sup> Статья Кормчей, «фрязи» — итальянцы. Оп., с. 13, 17, 18, 53.

<sup>44</sup> Оп., с. 38, 54.

<sup>45</sup> Оп., с. 18, 31, 33, 40, 58, 68.

еле жива, рекше в полы мертва.<sup>46</sup> Ср. и символы, о которых шла речь в связи с текстом Псалтыри: л. 143 [на поле—] Гора есть пророци, холми же апостоли.<sup>47</sup>

Однословные и двусловные переводы лексем соседствуют в глоссах с описательными толкованиями.

Текстовая лексикография существовала в виде многочисленных глосс на полях и между строк рукописей, а также и их перечней — глоссариев, присоединяемых к тому или иному произведению.<sup>48</sup> В сборники попадали не только отдельные глоссы, выбранные из книг, но и подобные перечни. Три таких глоссария оказались и в сборнике Ефросина, л. 264—265. Толкование неудобь познаваемым в писаных речех. . . ; л. 434—434 об. Тълк о неразумных словесех; л. 434 об. Афанасиа Александриискаго. Псалтырь красен с гусльми.<sup>49</sup> В первом из них даны славянорусские соответствия слов по тексту Лествицы Иоанна Синайского, в двух других приведены раскрытия некоторых символов Псалтыри.

### Глоссировка—средневековая лингвистика текста

Столь обильная глоссировка текстов, какую наблюдаем в древнерусской рукописной традиции XI—XV вв., объяснима активной переводческой деятельностью, частными<sup>1</sup> и общими их переработками, правкой, а также и новыми редакциями тех или иных текстов. Глоссы, которые находим в книгах, неоднотипны. Одни из них — переводы слов, которые еще остались непереуведенными.<sup>50</sup> Другие — раскрытия значений иноязычных терминов (чуждых реалий, неизвестных понятий).<sup>51</sup> Третьи — это соответствия славянских слов, т. е. замены или варианты к уже сделанному переводу.<sup>52</sup> Такие глоссы снимают архаику текста, вносят смысловые и стилистические уточнения.

Славянские глоссы — это своего рода реакция на исторически изменчивое состояние взаимодействия двух языков — русского и церковнославянского, неодинаковое и в разных жанрах литературы. Подобные глоссы отражают и тесные контакты славянских народов, общее и несходное в их языках.<sup>53</sup>

<sup>46</sup> Оп., с. 35, 56.

<sup>47</sup> Великие Минеи Четы. Проложное чтение. Оп., с. 43.

<sup>48</sup> К о в т у н Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. Словарные примечания к тексту древнего славянского Апостола. С. 268—311.

<sup>49</sup> Оп., с. 66, 96. Названные глоссарии изданы в кн.: К о в т у н Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. С. 421—431, 432—434.

<sup>50</sup> Причины, вызвавшие затруднение у более раннего переводчика, могут быть самыми разными (от отсутствия славянского соответствия до незнания того или иного из слов оригинала). В подобных случаях производился как бы дополнительный перевод.

<sup>51</sup> Такие слова во многих случаях и не должны были быть заменены славянскими. Толкования, которые давались им на полях, содействовали их пониманию, а также и процессу заимствования.

<sup>52</sup> Иноязычное слово оригинала в этих случаях обычно отсутствует. Оно лишь снова приведенного в глоссе соотношения. Тем более, что при переводе возможны изменения конструкции фразы и ее лексического состава.

<sup>53</sup> Для этой поры — прежде всего контактов южных и восточных славян.

Названные разновидности глосс не покрывают всей их совокупности. Так, среди них видим толкование понятий и описание предметов. Глоссируются и имена собственные, упоминаемая в данном памятнике ономастика и топонимика. Для этого типа глосс характерны реальный комментарий и этимологические справки. Присутствуют, наконец, и раскрытия символики текста.

Объектом всей разнообразной лингвистической работы является переводимый текст, причем для целого ряда произведений наблюдаем отработку неоднократно повторенных переводов.

Значительным событием в ряду трудов такого рода было создание в XV в. (1499 г.) Геннадиевской библии, первого в славянских странах перевода всех книг Ветхого и Нового завета.<sup>54</sup> Организатором предприятия был новгородский архиепископ Геннадий.<sup>55</sup> В среде литературного окружения Геннадия это начинание было наиболее ответственным и авторитетным.<sup>56</sup>

В качестве подготовительного этапа был сделан перевод нескольких библейских книг, в основном из числа недостающих. Этот перевод осуществлялся с привлечением Вульгаты или непосредственно по ее тексту.<sup>57</sup> Следы его обнаружены в Сборнике книг Ветхого завета сер. XVI в., скопированном с оригинала 1493 г.<sup>58</sup> Воспроизведена в Сборнике и запись составителя или одного из главных участников труда. Судя по ней, это Вениамин, знаток «латинского языка и грамматики» (л. 360 об.).<sup>59</sup> О «попе» Вениамине в источниках говорится, что он был «родом славянин, а верою латынянин».<sup>60</sup> На мно-

<sup>54</sup> Горский А., Невоструев К. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, отд. 1. М., 1855. № 1—3. С. 1—164; Евсеев И. Е. Геннадиевская библия 1499 г. М., 1914; Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI—первая половина XIV в. Л., 1987. С. 78—79.

<sup>55</sup> Геннадий Гонзов (Гонзов) (ум. 1506 г.): Словарь книжников. . . С. 145—146.

<sup>56</sup> В состав геннадиевского «литературного кружка», как называют его историки, входил ряд книгописцев и переводчиков: Герасим Поповка, дьякон (затем архидиакон), возглавлявший все начинания Гонзова этого плана, брат его Дмитрий Герасимов, получивший образование в Ливонии (переводчик и дипломат), доминиканец Вениамин, вернее всего южный или западный славянин католического исповедания, переводивший с латинского, греки братья Траханиоты, Дмитрий и Юрий. Деятельность кружка идеологически была направлена на борьбу с московскими и новгородскими еретиками. См.: Лурье Я. С. Идеологическая борьба. . . С. 266, 267. Словарь книжников. . . С. 133—134.

<sup>57</sup> Вульгата — латинский перевод Библии (в основном с древнееврейского, но с учетом греческого перевода Библии — Септуагинты), выполненный Иеронимом в 386—406 гг. (рукописи с VI в.).

<sup>58</sup> Сборник ГПБ Погод. 84, in folio, в книге 395 листов.

<sup>59</sup> Лурье Я. С. Идеологическая борьба. . . С. 267, 275. «Сборник этот содержит все без исключения библейские книги, которые приведены в Геннадиевской библии в переводе с Вульгаты: Премудрости Соломона, Паралипомнон, Ездру (с предисловием Иеронима), Юдифь и книги Маккавеев» (там же, с. 273). Не лишено значения, что из книг, имеющих двойное происхождение (частью взяты из старого славянского перевода с греческого, частью с Вульгаты), в Сборник включены только те их разделы, которые переведены с привлечением Вульгаты (л. 80—116 об., 117—119) (там же, с. 274).

<sup>60</sup> Словарь книжников. . . С. 133.



гих листах Сборника — маргинальные глоссы, здесь же всякого рода пометы и поправки.

Филологическая направленность глоссировки, а также почти исключительно реальный и исторический характер пояснений к содержанию книги очевидны.

Сопровождающие текст толкования слов и выражений, как и все иные пометы и поправки текста, во всех книгах Сборника однотипны.<sup>61</sup> В некоторых из них воздействие латинского языка сказалось особенно ощутимо. Таковы обе библейские книги «Паралипоменон».<sup>62</sup> Маргинальные глоссы первой из них представляют собой уже упоминавшиеся разряды.

Переводы иноязычных слов. Кадяху кандилом на ольтарь олокауста ~ всесожение (л. 136, 1, 6); паки Давид бьяше одяен ризою бисина ~ шидяною (л. 136, 1, 15);<sup>63</sup> и цымбалы, и навли, и ситрас ~ лютыи (л. 136, 1, 15); на оръганы, псалтиры, и лирас ~ трегудьници (л. 136, 1, 16); фунукулум достояния вашего ~ разлучение (л. 137, 1, 16).<sup>64</sup>

Иноязычные слова на полях как соответствия избранным при переводе славянским. Делатели постава ~ бисум (л. 123, 1, 4);<sup>65</sup> славнейши пред братиею своею ~ инъклитус (л. 122 об., 1, 4); пресьвящаща в църкви бога своего ~ ин фанос (л. 131, 1, 10); всех градов ~ урьбес (л. 126, 1, 7); обита же Давид в крому ~ ин арсе, или вышьнигородце (л. 131 об., 11);<sup>66</sup> отлучиша во службу ~ магистратус (л. 145, 1, 25); сех же съкровища, иже бяху по посадом и по селом ~ ин урбибус (л. 148, 1, 26);<sup>67</sup> описания притворов, и църкве, и погребов, и горници ~ и сенакули (л. 149, 1, 28).<sup>68</sup>

Пояснения к иноязычной лексике. Положиша же кiot божии на пластрум ~ пластрум есть яко колесо (л. 134, 1, 13); да поразить [бог] кастра филистимом ~ кастра есть острогы (л. 135, 1, 26);<sup>69</sup> и волове дам на всесьзжение, и трибулас ~ катки, чем землю месят (л. 142, 1, 21); суть сынове префекти обителем ~ чин достойныи (л. 146, 1, 25).

Словарные толкования иноязычных терминов. Екседрас — жилище окрест църкви, где живут служебници църковные (л. 130, 1, 9); туртума есть съдружение человеком

<sup>61</sup> Переводы предисловий и пояснительных статей во всех частях Геннадиевской Библии приписываются не без оснований новгородцам Дмитрию Герасимову и Власу Игнатову. Словарь книжников... С. 195.

<sup>62</sup> Первая книга «Паралипоменон» занимает в Сборнике л. 120—151.

<sup>63</sup> Та же глосса в Геннадиевской библии 1499 г.: ризою бисина (βουσσινη). Пар. I, XV, 27. Шидяныи — шелковый.

<sup>64</sup> Разлучение достояния — здесь наследственный удел.

<sup>65</sup> Бисум — виссон (льняная ткань, окрашенная травой виссом, виссой).

<sup>66</sup> В Геннадиевской библии 1499 г. — в крому (in arse). Пар. I, XI, 7. Кром — крепость, внешнее городовое укрепление; вышьнигородец (вышегород) — крепость на возвышенности.

<sup>67</sup> Посад — предместье, поселенье.

<sup>68</sup> Горница — верхняя часть строения.

<sup>69</sup> Острог — внешнее окружное укрепление в отличие от детинца — внутренней крепости.

истинно 30 пещец; нола есть тридесять конник (л. 147, 1, 27);<sup>70</sup> онихинос есть камень мраморен, лице имеюще, яко ноготь человек и яко бакан, а мрамор париова бел, яко снег (л. 149, 1, 29).<sup>71</sup>

Такие определения слов, иногда сопровождаемые словообразовательными и этимологическими справками, находим и в иных частях Сборника библейских книг. Например, в книгах пророков Иеремии и Иезекииля — термины, называющие меры жидких и сыпучих тел («ефи есть мера жити и прочим, иже сухо, а батос есть мера вину и елею, что есть мокро» и др.), денежных знаков, календарных градаций (типа «новомесячие») (л. 117 об., 118). В любопытной глоссе из второй книги Паралипоменон показаны соотношения славянского слова «столп» с иноязычными терминами, причастными к реализации того же понятия. «Столп латински разделяется на три имена: колумъна, епистолиум и базис». Далее раскрыт смысл этих терминов: «колумъна — столп, базис — под столъпом испод». Затем «епистолиум» противопоставлен «базису» и для прояснения значения расчленен на составные части: «епистолиум суть два имена: епи — на, гречески,<sup>72</sup> столос — гречески, руски — столъп» (л. 154, II, 5). Глоссатор пытался, таким образом, показать и различия трех языков, и их преемственные связи.

В книге «Премудрости Соломона» контекст с упоминанием слова «ехо» побудил к рассказу античного мифа о нимфе Эхо, предваренного, однако, определением этого слова: «Ехо последнее слово продолжено речется, глас или шум аера, или в пещере, или в лесе, ли в долу». Следует повествование: «А по басням ехо отроковица некаа бысть преумна, юже Юнона долга словеса воздержаше, донъдеже нимфе бежаша, с которыми Юпитер в горах полежа».<sup>73</sup> В конце этой пространной глоссы снова приведена языковая справка о том, что «ехо» употребляют и как имя собственное: «и тако можетъ быти женско имя» (л. 76 об., 17).<sup>74</sup>

Значительное число славянских глосс на полях первой книги Паралипоменон, как и иных книг, — это слова близких значений, в том числе и синонимы, к лексемам основного текста. В них сказа-

<sup>70</sup> Слово «туртума», неоднократно повторенное в тексте, имеет поправку: второй слог зачеркнут, но в глоссе он сохранен. Съдружение человеком — здесь воинское соединение.

<sup>71</sup> К тексту: Камения онихинос, яко баканы, розные лица. . . Онихинос (из греч. ονύχιος) — драгоценный камень оникс (лат. опух от греч. ονυξ — ноготь). В древнерусском и церковнославянском употреблялся и вариант «онихион». Лице — здесь цвет, окраска, бакан — название краски (лимонный бакан) и драгоценный камень. См. Словарь русского языка XI—XVII в. М., 1975. Вып. 1 (А—Б). С. 67.

<sup>72</sup> Попутно замечено, что приставка «епи» при заимствовании сохраняет свое значение и в русском: «на-русски».

<sup>73</sup> К этой глоссе в свою очередь дана еще одна, разъясняющая, почему бежали нимфы: «Юнона есть сия уद्याци».

<sup>74</sup> Подобные комментарии, возможно, были даны в Сборнике книг Ветхого завета и к другим словам, но затем их устранили: на ряде листов (л. 106 об., 114, 115, 116 об.) тщательно затерты многострочные глоссы. Усилия христианской церкви уничтожить любые отзвуки античного «язычества» в конце XV в. и в XVI в., как известно, были особенно активны.

лось стремление глоссаторов к дальнейшей отработке текста, к выявлению даже и оттеночных различий слов, а также к отысканию таких лексических соответствий, которые были бы более понятны и употребительны в той среде, где осуществлялось данное литературное предприятие: Прият же... места Ирова ~ огородки (л. 121, 1, 2); и обиташа в Галаадех и в Васанех и во улицах его ~ и во приулкох (л. 124 об., 1, 5); и погребоша кости его пот дубом ~ труп (л. 131, 1, 10); имяше сулицу, яко вратило ткущих ~ пришьвицу (л. 132, 1, 11);<sup>75</sup> со всеми начальники ~ со законъники (л. 134, 1, 13); и скажите вся чудеса его ~ и поведите (л. 136 об., 1, 16); Арахитес друг царев ~ приатель (л. 148, 1, 27); Ионафан же дядя Давиду ~ отец брат;<sup>76</sup> и укреплю престол ~ царство (л. 148, 1, 28); весь же Израиль извожаху киот ~ провожаху (л. 136, 1, 15); и побрит ~ обрил (л. 139, 1, 19).

Замены, связанные с усвоением церковной терминологии: дасть на столы представления ~ предложения (л. 149, 1, 28); кивоту мира господня ~ завета (л. 149 об., 1, 28); възвеселиша же ся людие, егда обеты вълею обещаша ~ молитвы (л. 150, 1, 29).

Глоссы подобного рода отражают потребности переводческой, исправительской и редакторской практики, поэтому наряду с ними присутствуют и замены слов, когда перевод был сочтен неверным или же неясным: умроша же... преже отца своего без свободы ~ без останков, сиречь без чада (л. 144, 1, 24); придоша же... к помощи, в котором живяше ~ прибежищу (л. 133, 1, 12); Сенан же не име сынов ~ Салпад (л. 121, 1, 2); Сухур сын его ~ Семпей сын его (л. 123, 1, 4) и др. Ср. и изменения конструкций: певцы же начальник и ахонейне... ~ певцем же начальницы и ахонияне... (л. 136, 1, 15); благословите господу богу нашему ~ благословите господа бога нашего (л. 150, 1, 29) и др. Здесь же — добавки пропущенных при переводе слов и оборотов, исправления грамматических форм, варианты написаний имен: Абсалон — Авесалом, Отоабигаиль — Отоавигиль, Иозеа — Осиа, Фитонису — Фитонику, Озан — Оза, Михоль — Мелохола (л. 122, 131, 134 об., 136) и др.). Особенно много поправок к переводу местоименных и служебных слов, из чего видна его трудность: нарече имя его ~ тому (л. 122, 1, 4); и принесоша к Давиду да пить, иже не хотяше ~ онже (л. 131 об., 1, 11); Асаф тако в кимбалех съглашаше ~ яко (л. 136 об., 1, 16) и др.

Объектом всей этой правки, разнообразного комментирования, истолкования являлся текст, а целью — все более точная передача (или понимание) оригинала, его сюжетной ткани, заложенных в нем идей и его образной фактуры. Но осознавалось ли все это в виде каких-либо обобщений? Такое осмысление данного типа языковой работы находим в ряде сочинений Максима Грека. Между тем трудившиеся вместе с ним в начале XVI в. над переводом Псалтыри рус-

<sup>75</sup> Глосса к слову «вратило».

<sup>76</sup> Пояснение к славянскому термину родства.

ские были именно из той среды, которая в конце XV в. занималась в Новгороде переводом Геннадиевской библии. Характерен и сам метод совместных занятий.<sup>77</sup> Максим переводил с греческого на латинский, а новгородские толмачи Дмитрий Герасимов и Власий Игнатов — на русский. Несомненно, что это сотрудничество было взаимно обогащающим.

Объясняя в «Слове отвещательном об исправлении книг русских», почему в переводах с греческого есть немало ошибок, Максим отмечает сложность этого языка и формулирует свои требования к тем, кто занимается подобным трудом: «еллинска бо беседа много и неудобь разсуждаемо имать различие толка речений, и аще кто недовольне и совершенно научился будет яже граматикки, и пиитики, и риторики, и самыя философии, не может прямо и совершенно ниже разумети писуемая, ниже предложити я на ин язык».<sup>78</sup>

Глоссировка рукописного текста — специфическая черта переводческой культуры, характерной для древнерусского периода, она же была на том этапе самой естественной, но вместе с тем и своеобразной формой, в которой излагались знания о лексической семантике. В силу этого анализ глосс в рукописных книгах Средневековья необходим не только в историко-лексикологическом плане, но и для уяснения хода развития языковедческой мысли, и особенно для истории лексикографии. Глоссы наиболее древних восточнославянских памятников изучены в книге В. В. Нимчука.<sup>79</sup> Автор связывает глоссировку текстов в первую очередь с тем, что на Руси XI—XIII вв. функционировали два генетически родственных литературных языка — старославянский и древнерусский. В глоссах контекстуальных<sup>80</sup> и вынесенных на поля книг разъяснялись смысловые и стилистические расхождения и совпадения лексики двух контактирующих литературных языков. Несколько древнерусских маргинальных глосс, объясняющих неславянские и специфически южнославянские (древнеболгарские) слова, есть в Изборнике 1073 г. Они принадлежат переписчику книги дьяку Иоанну. Контекстуальные глоссы встречаются в ранних древнерусских переводах с греческого: в Хронике Георгия Амартола, Палее толковой, в Студий-

---

<sup>77</sup> О том, как шла эта совместная работа, стало известно из письма самого Герасимова к дьяку Мисюрю Мунехину: «А ныне, господине, переводит (Максим Грек. — Л. К.) Псалтырь с греческого толковую великому князю, а мы со Власом у него сидим, переменяясь; он сказывает по-латыньски, а мы сказываем по-русски писарем: а в ней 24 толковника» (Прибавления к изданию творений святых отцов. М., 1859. Ч. 18. С. 190; Ср.: Иконников В. С. Максим Грек и его время. С. 166; Словарь книжников. . . С. 141).

<sup>78</sup> Максим Грек. Сочинения. Казань. 1862. Ч. III. С. 62. Подробнее о переводческих воззрениях Максима Грека в кн.: Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси. . . С. 8—16.

<sup>79</sup> Нимчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ. 1980; Нимчук В. В. Староукраїнська лексикографія в ее связях с русской и белорусской: Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора филологических наук. Киев, 1981.

<sup>80</sup> Вводимых пометами «рекомый», «рекше», «еже есть» и др.

ском уставе.<sup>81</sup> Глоссы раскрывали значения введенных в текст греческих апеллятивов, иноязычных антропонимов (среди них особенно имен-характеристик). В качестве глосс выступали как древнерусские, так и старославянские слова, поясняющие другие лексемы, которые могли быть и старославянскими и древнерусскими. Все это, как верно отмечает автор, свидетельствует об активном поиске древнерусской литературной нормы.<sup>82</sup> Существенно, что глоссы встречаются и в оригинальных древнерусских произведениях, в том числе в летописях, сочинениях Кирилла Туровского, Даниила Паломника и др.<sup>83</sup>

В течение XIV—XV вв. на основе древнерусской сложились три новых восточнославянских народности.<sup>84</sup> Наряду с русским литературным языком, формируется украинско-белорусский, в двух своих вариантах: южном — украинском и северном — белорусском (в зависимости от разговорного окружения). Возникший и употреблявшийся в XI—XIII вв. церковнославянский язык (древнерусская редакция старославянского языка) продолжает активно функционировать, взаимодействуя с живой речью. В Юго-западной Руси появляются попытки перевода на украинско-белорусский язык некоторых церковных и светских книг.<sup>85</sup>

Древнерусская традиция глоссировки текстов в XV—XVI вв. не только не угасает, но, напротив, обретает еще более широкое распространение.<sup>86</sup> Именно на этой основе и на почве общего для всех восточных славян древнерусского наследия складывается и получает интенсивное развитие словарное дело трех восточнославянских народов — русского, украинского и белорусского.<sup>87</sup>

---

<sup>81</sup> Ср. примеры из книги В. В. Нимчука: Диалектика, рекше съвопросы; Погонат, рекше брадат; в Ераполи, рекше жреческий град (Хроника Георгия Амартола).

<sup>82</sup> Ср.: Прозябоша, рекше родишася; до порома, рекше до перевоза; одежи, рекше ризе (Хроника Георгия Амартола).

<sup>83</sup> Ср. примеры из того же исследования: Кумани, рекше Половци; месяц грудень, рекше ноябрь (Повесть временных лет); рикс, рекомыи король; студенець, рекомыи кладязь (Галицко-Волынская летопись); Анне, иже благодать нарецається (Киевская летопись); [землю] взора и умягчи, рекше крещением просветив (Повесть временных лет).

<sup>84</sup> Большая часть украинских земель вместе со всеми белорусскими оказалась в составе Великого княжества Литовского (восточные славяне составляли в нем большинство).

<sup>85</sup> По данным В. В. Нимчука, к ним относятся библейские книги (Псалтырь, Притчи Соломона, книга Есфирь), Четьи-Минеи 1489 г., Повесть о трех королях-волхвах (переведена с латинского).

<sup>86</sup> В ряде списков церковнославянских текстов В. В. Нимчук отмечает украинские глоссы (исконные и заимствованные лексемы) при словах иноязычного происхождения — греческого, латинского, церковнославянского, польского и др. Ср. к гемону ~ воеводе; на расхищение. . . , рекомо на разграбление (Четьи, 1489); фундамент albo дно; злодеев albo лотров (Повесть о трех королях-волхвах).

<sup>87</sup> Подробнее о литературных процессах, вызывавших глоссировку в древних рукописях и анализ самих глосс (на большом фактическом материале), см. в кн.: Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія. . . С. 3—34; Он же. Автореферат дис. . . . С. 6—13.

Переводческие теории, имевшие хождение у южных и восточных славян в эпоху Средневековья, до недавнего времени были известны лишь в виде отдельных фрагментов, не имеющих между собой ни философской, ни исторической связи. Теперь благодаря исследованию Светлы Матхаузеровой они предстали как целый ряд противостоящих друг другу и последовательно сменяющих друг друга концепций.<sup>88</sup> Среди них те, которые относятся к периоду IX—XV вв.: 1) открытая теория перевода; 2) вольный перевод; 3) теория перевода «от слова до слова».

Теория перевода была наиболее обсуждаемой темой в древнерусской культуре. «Она сопровождала богатую переводческую деятельность с самого начала по XVII век»<sup>89</sup> и была разработана «до тонкостей, характерных для средневекового чуткого отношения к слову».<sup>90</sup>

Древнейшая концепция перевода (IX в.) принадлежит первоучителю славянства Кириллу (Константину) и дошла до нас в небольшом отрывке — Македонском листке.<sup>91</sup> Познакомиться с ней в более полном виде позволила реконструкция Андре Вайана, текстологически обосновавшего вывод, что трактат, отрывочно представленный в этом памятнике, является корпусом одной из двух частей «Пролога» Иоанна экзарха Болгарского, преемника наследия Кирилла и Мефодия (X в.).<sup>92</sup> В первой части «Пролога» воспроизведены мысли Дионисия Ареопагита о трудностях перевода и о том, что прежде всего надо переводить смысл («силу и разум»)<sup>93</sup>. Во второй части говорится о трудностях, возникающих при переводе с греческого на славянский язык. Пользуясь текстом «Пролога», Вайан реконструировал трактат Кирилла и заключил, что тот написал его по поводу осуществленного им и его братом перевода Евангелия.<sup>94</sup> Являясь большим культурным событием, это предприятие уже само

<sup>88</sup> Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Прага. 1979.

<sup>89</sup> Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Л., 1973. С. 28—34 (о значении перевода в древнерусской литературе); ср. также: Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV веков. Л., 1978; Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903.

<sup>90</sup> Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. С. 27.

<sup>91</sup> Ильинский Г. А. Македонский листок: Отрывок неизвестного памятника кирилловской письменности XI—XIII вв. Памятники старославянского языка. СПб., 1906. С. 7—8.

<sup>92</sup> «Пролог» (предисловие) Иоанна экзарха предваряет его перевод «Богословия» Иоанна Дамаскина. Это сочинение было распространено на Руси в большом количестве списков. Самый древний из них XII в. — ГИМ Син. 108 (впервые напечатаны в кн.: Калайдович К. Иоанн Экзарх Болгарский М., 1824. С. 131).

<sup>93</sup> В XIV в. Рассуждение о трудностях перевода среди других сочинений Дионисия перевел афонский инок Исайя (серб по рождению). Перевод Исайи также известен в русских копиях.

<sup>94</sup> Vaillant. A. La préface de l'Évangélaire vieux-slave // Revue des études slaves. 1948. 24. P. 5—20.

по себе отвергало и опровергало традицию перевода литургических текстов только на три языка — еврейский, греческий и латинский.

Трактат Кирилла и его разработка в «Прологе» Иоанна экзарха содержат ряд общезыковедческих идей. «Понятие и слово (разум и глагол) в каждом языке находятся в условном (арбитрарном) отношении», поэтому «два тождественных слова из двух разных языков могут и не совпадать по своему значению». <sup>95</sup> Такие различия возможны и в грамматическом роде, и в стилистической окраске слов («если глагол в одном языке красен, страшен и честен, то в другом он некрасен, нестрашен и нечестен», — Иоанн экзарх). Настойчивое выдвижение на первый план разума (значение, содержание), который противопоставлен выражению и стоит выше него («небонъ разума ради прелагаемъ кънигы, а не тъчю глаголь истовныхъ радьма», Кирилл). «Из цитаты вытекает, — пишет Светла Матхаузера, — что средневековые теоретики славянского перевода осознавали двойственный характер языкового знака». <sup>96</sup> Отмечая широту культурно-исторического подхода к тексту, а также связь этой концепции с философией стоиков, с позднеантичным стоицизмом и средневековой схоластикой, автор усматривает вместе с тем близость ее к современным знаковым теориям (у св. Августина *signum* — знак как совмещение двух его компонентов: *signans* и *signatum*). Стремлением постичь разум обосновано право на более свободный перевод, на допустимость в тех или иных случаях отказываться от точного словесного соответствия и предпочесть ему значение. Под «разумом» понимался вышний, вдушный, позже внутренний смысл текста, который в богословском преломлении «относится к какой-то другой действительности и который скрыт в словах как в явлениях более низкого плотского характера». <sup>97</sup> Но ни Кирилл, ни Иоанн Экзарх не считали возможным изменять текст (например, форму грамматического рода) в соответствии с символическими и аллегорическими значениями слов, так как от этого «на велику исказу приидет преложение». «Художественный образ, а не его аллегорическое значение остался самым важным и основным в теории перевода», что свидетельствует о широких культурных интересах ее создателей. <sup>98</sup> Из перевода рассуждения Дионисия Арепагита видно, что Иоанн Экзарх «соблюдает еще одну противоположность в слове-знаке. Не только оппозицию разум — глагол, но еще и оппозицию глагол — глас (λέξις — ἦχος)». <sup>99</sup> «По данной теории слово имеет свою внешнюю оболочку (гласы нагы), которая касается лишь ушей и рта, но уделять ей внимание при переводе не следует, так как это затуманило бы „вдуш-

<sup>95</sup> М а т х а у з е р о в а С. Древнерусские теории искусства слова. С. 30.

<sup>96</sup> Там же. С. 32.

<sup>97</sup> Там же. С. 33.

<sup>98</sup> Там же. С. 34. Переводческая практика первоучителей славянства вполне отвечала выдвинутой в трактате Кирилла концепции. См.: В е р е щ а г и н Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян: Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971.

<sup>99</sup> Позднейшие русские переделки не сохранили этого соотношения, заменив слово «глагол» словом «глас».

ный разум<sup>100</sup>. Мысль о немотивированности и условности выражения по отношению к содержанию была высказана еще в одном древнеславянском трактате — «Сказании о писменех черноризца Храбра» (попытка объяснить большое количество букв в славянской азбуке в сравнении с греческой — 38 : 24), где сказано, что буквы сами по себе не имеют значения, они лишь «условные знаки».<sup>101</sup>

Все эти суждения условно обозначены Матхаузеровой термином «открытая» теория перевода.

Для светской литературы оказался более характерным «вольный», или «свободный», перевод, при котором переводчик изменял текст, сообразуясь с потребностями своей среды и своего времени. Он редактировал оригинал, придавая ему тот или иной идеологический аспект. Понятие авторского права еще отсутствовало. Основная цель перевода — передать новое содержание. По степени отклонения от подлинника такие переводы неодинаковы.<sup>102</sup>

Третий тип перевода основан на теории «от слова до слова». С XIV в. переводчики стремятся к буквальной передаче текста оригинала. Это было вызвано общим направлением к регламентации (к канонизации греческих редакций и кодификации славянского языка). «Книжная реформа Евфимия»<sup>103</sup> кодифицировала значения отдельных букв и слов, избавляла их от случайностей по отношению к значению.<sup>104</sup> В XV в. его деятельность была продолжена Константином Костенческим (Грамматиком), подвергнувшим критике способ, каким копировали и переводили книги. Цель переводчика, отмечал он, стремиться к тождеству не содержания, а выражения (лучше пропустить один лист, чем ошибиться в одной букве).<sup>105</sup> Отношение знаков (букв) к значению для него не условно, а вполне естественно и мотивированно. Эта закономерность как бы дана свыше. В требовании «не преложити едину чръту», чтобы не нарушить «тѣнкоты языка» сказалось совсем иное понимание соотношения формы и содержания в сравнении с тем, какое предлагалось в древних трактатах IX—X вв. Теория перевода «от слова до слова» стала особенно действенной у южных и восточных славян в XIV—XV вв. На Руси новыми переводами и правкой в основном занимались выходцы из Болгарии и Сербии (Киприан, Григорий Цамблак, Пахомий Серб). Переводы литургических текстов стали развиваться в сторону изысканности, утратив свою просветительную роль.

Новый этап в развитии взглядов на перевод наступил в XVI в. и связан с именем Максима Грека. В своей более чем тридцатилет-

<sup>100</sup> Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. С. 36.

<sup>101</sup> Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930. С. 162—164.

<sup>102</sup> Мещерский Н. А. История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. Л., 1958; Орлов А. С. Переводные повести феодальной Руси и Московского государства XII—XVII веков. Л., 1934.

<sup>103</sup> Тырновский патриарх Евфимий, с именем которого связывают языковую реформу, сказавшуюся и на русской письменности («второе югославянское влияние»).

<sup>104</sup> Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. С. 38.

<sup>105</sup> Книга Константина Философа и Грамматика «О писменах» (Ср.: J a g i ć I., Codex Slovenicus, 183—184).



ней переводческой практике совместно с русскими сотрудниками он применял тип критического перевода, учитывая как лексическую, так и грамматическую сторону соотносимых языков, уделяя внимание и отработке русских литературных норм. Но этот этап и по времени, и по названным чертам уже не столь тесно соотносим с эпохой Средневековья.<sup>106</sup>

### Словари и глоссарии

Для письменности средних веков, что следует из предыдущего, была характерна интенсивная глоссировка текстов, которая для того периода и являлась основной формой лексикографической работы. Наряду с ней уже с самого раннего времени в качестве дополняющего, подсобного средства составлялись перечни глосс. В своей исходной форме, как и самые глоссы, они имеют текстовый характер. Переводчик, редактор, справщик привлекали для своей работы глоссы других рукописей, составляя для удобства использования их перечни.<sup>107</sup> Самые ранние списки перечней глосс относятся к XIII в., но среди них есть уже и такие, в заголовках которых сказано, что собранные в них слова встречаются в разных библейских книгах.<sup>108</sup> Глоссарии в это время чаще всего уже и встречаются не при самих текстах, к которым их составляли, а в сборниках и изданиях. Именно это отвлечение слов от непосредственной связи с текстом придало им более обобщенный характер, что и сделало составление подобных, обычно небольших перечней важным этапом в становлении словарного дела у всех восточнославянских народов.

Изучение рукописей позволило выявить три наиболее ранних типа средневекового глоссария: а) перечни имен собственных (ономастики и топонимики) с включением некоторого числа и имен нарицательных; б) перечни символов и их толкований, так называемые приточники; в) перечни славяно-русских лексических соотношений. В этих типах проявились специфические аспекты древнерусской книжности. На первых этапах все глоссарии отличались синкретизмом, однако в ходе развития каждый из типов становился все более определенным.

Перечням глосс, а также и всей их совокупности в древних книгах противостоит четвертое направление средневековой лексикографии — словари-разговорники, которые составляли «с голоса» или путем более систематического изучения чужой речи (пособие при общении с лицами из иноязычной среды).

<sup>106</sup> Подробнее о теориях перевода IX—XV вв. в кн.: М а т х а у з е р о в а С. Древнерусские теории искусства слова. С. 27—44. О переработке древних статей по вопросам перевода в составе сборников с языковедческим содержанием в кн.: К о в т у н Л. С. Лексикография в Московской Руси. . . С. 16—25.

<sup>107</sup> Ср. перечни произвольников (синонимических соответствий) к текстам Евангелия и Апостола: К о в т у н Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. С. 268—284, 435—438.

<sup>108</sup> Ср.: «Речь жидовского языка преложена на рускую неразумно на разум, и в евангелих, и в апостолах, и в псалтыри, и в паремии, и в прочих книгах», ркп. ГИМ Син. 132 (в приложениях к Новгородской Кормчей 1282 г.).

Два первых направления близки друг другу и наиболее подвержены византийским влияниям. Два других непосредственно соотносимы с историей развития древнерусского языка.

1. **Ономастиконы.** Глоссарии имен библейских персонажей и наименований библейских мест — самый архаический тип средневековой лексикографии. В. В. Нимчук относит их к периоду Киевской Руси и связывает с принятием новой веры.<sup>109</sup> Древние ономастиконы дошли до нас в виде трех памятников.<sup>110</sup> Текстологический анализ показал, что «Речь жидовскаго языка» и словарь «О именех глаголемых жидовским языком»<sup>111</sup> являются сводами более ранних словарных записей, причем последний из них переведен с греческого. Что касается «Речи жидовскаого языка», то в текст ее, представленный в списке XIII в., трижды были внесены заметные пополнения (в конце XIV—начале XV вв. и еще раз в XV в.). Из анализа списков также выявилось: а) наличие уже в XIII—XIV вв. двух редакций этого словаря; б) появление в XV в. третьей редакции.

Лексический состав древних ономастиконов предстает в следующем виде. Более однороден по составу переведенный с греческого перечень глосс «О именех глаголемых жидовским языком» (XIII—XIV вв.), посвященный почти исключительно объяснению *onomastica sacra*. Специфика глоссария «А се имена жидовская русьскы тълкована» (XIII в.)<sup>112</sup> — в его отнесенности к тексту Псалтыри: состав словника отражает характерную для нее символичность. Текст «Речи жидовскаого языка» более синкретичен.<sup>113</sup> Анализ его дает возможность выявить характерные черты ономастиконов и в то же время определить связь этого типа глоссариев с другими направлениями древней лексикографии. Помимо особой группы славяно-русских глосс (череща ~ куща; тина ~ грязь и др.), в словнике «Речи жидовскаого языка» — две основные категории слов: иноязычные имена собственные и имена нарицательные (еврейские, в том числе арамейские и сиро-халдейские, греческие, латинские, арабские, эфиопские). Большая часть глосс (115 из 174) — объяснения имен собственных, которые делятся на две группы: библейскую топонимику и личные имена (*onomastica sacra*), и представляют собой или перевод слова с попыткой осознать этимологию имени, причину наименования, или раскрытие символического значения слова: акелдама — 'село крови' (греч. Ἀκελδαμά, араб. ḥāqaldēmā — 'надел (поле) крови';<sup>114</sup> Голгофа — 'лобное' (греч. Γολγοθά́), евр.,

<sup>109</sup> Нимчук В. В. Староукраїнська лексикографія. . . С. 20, 21.

<sup>110</sup> «Речь жидовскаого языка», «А се имена жидовская русьскы тълкована», «О именех глаголемых жидовским языком».

<sup>111</sup> Старшие списки — ГИМ Сян. 132 и ГПБ Оп. 1.18, XIII в.

<sup>112</sup> Словарь «А се имена жидовская русьскы тълкована» известен в уникальном списке ГПБ Оп. 1.18, XIII в.

<sup>113</sup> Неоднородность состава проявляется и в том списке этого перечня, который оказался присоединенным к сводке «О именех глаголемых жидовским языком».

<sup>114</sup> И перевод, и этимология могут вовсе не соответствовать реальным данным языка. Главная цель таких толкований — обосновать причину при-

арам. *gulgōlet* 'череп, голова'; Вавилон — 'смятение' (греч. βαβυλών), библи. *Bābel*. Случай очевидной народной этимологии. Имя *Bābel* производится здесь от глаг. *bālal* 'смешивать' в соответствии с легендой о вавилонской башне и смешении богом всех языков. Евга — жизнь (греч. Εβ̄α) библи. *ḥawwā*. В Библии это имя связывается со значением 'живая, живущая' также по народной этимологии.

Для толкований имен нарицательных характерна крайняя отвлеченность, отсутствие внимания к конкретным признакам называемого словом класса реалий: подир ~ риза, тобола ~ пища, кондрат ~ медь, бисер ~ камень чешън и пр. В первой из статей — тема ритуального облачения.<sup>115</sup> Слово «риза», данное в качестве перевода иноязычного «подирь», указывает лишь на род предмета, не отмечая отличий от ему подобных. Подир — длинная одежда («долгая риза») иудейских первосвященников и царей.<sup>116</sup> Лишь родовой признак учитывается в определении слова «бисер» (араб. *busr*) — 'драгоценный («чешън») камень'. Его реальный смысл был более конкретен — 'перл, жемчуг, жемчужина', но в древних текстах оно выступает и как символ духовных богатств человека.<sup>117</sup> Обобщенность толкования присутствует и в других статьях. В некоторых случаях она отвечает подлинной истории развития семантики. Такова статья: кондрат ~ медь. В древнерусских текстах слово «кондрат» (*χοδράντης*, *quadrans*) — 'мелкая монета, составляющая часть ассария' — обычно оставалось без перевода или его заменяли словом «цята» — 'деньги'. Выступая в качестве заместителя наименований и других греческих и римских монет (ассария, динария, лепты, обола, дидрахмы), оно не передавало уже значения конкретной денежной единицы.

Древние ономастиконы нашли свое продолжение в словарных разработках XVI—XVII вв. — «Толковании именов по алфавиту» Максима Грека, антропонимах и топонимике азбуковников.<sup>118</sup>

своения имени, связав ее с одним из библейских эпизодов. Вопрос этимологии имен собственных и географических названий, встречающихся в Ветхом завете, крайне сложен. В большинстве случаев этимология их неясна. Весьма вероятно, что многие из этих имен не семитские, а заимствованы у народов, обитавших в тех же землях до семитов. Объяснения ономастических названий, приводимые в Ветхом завете, никак не могут считаться достоверными, большей частью они основаны на народной этимологии. Составители древних словарей черпали свои толкования библейских имен из самой Библии. В тех случаях, когда в Библии не дано объяснения имени, его изыскивали позднейшие толкователи, исходя из нарицательного значения слова или подменяя его словом, близким по звучанию.

<sup>115</sup> В тексте, из которого почерпнута глосса, раскрыты названия различных предметов и деталей одежд Аарона (*подѣръс*, *ѣпоиѣс*, *лѣѣма*).

<sup>116</sup> В греческих и латинских переводах Ветхого завета — *подѣръс*, *talaris*. Ср. славянский перевод этого слова в Изборнике XIII в.: «облачашеся переи в ризу от главы и до ногу» (рпк. РПБ Оп. 1.18, л. 8 об. ).

<sup>117</sup> Так, в Повести временных лет (самая ранняя из древнерусских летописей, XII в.) под 969 г. сказано о княгине Ольге, что она «в неверных человецех святящися, аки бисер в кале».

<sup>118</sup> Подробнее о средневековых ономастиконах в кн.: Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. С. 10—154; публикация текстов на с. 398—420; ср.: Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія. . . С. 21—25.

2. Перечни символов (приточки) были присущи в равной мере именам собственным и именам нарицательным, однако в иносказательном применении этих разрядов слов есть различие. И те и другие служат символическими знаками, за которыми таился иной смысл, но имена собственные в отличие от нарицательных не имеют прямых значений. Попытки объяснить избрание символом данного имени собственного ведут к раскрытию (подлинному или легендарному) причин его присвоения лицу или месту, т. е. к попыткам установить состав имени, его исходное нарицательное значение. В этом зачатки этимологии. Стремление же обосновать выбор в качестве символа названия предмета ведет к описанию его свойств. Здесь — зачатки и энциклопедизма, и лексикологии как науки о значениях слов данного языка. Однако настоящее развитие эти начала получили лишь в азбуковниках XVI—XVII вв. К числу средневековых приточников относятся «Толк о неразумных словесех» и «Се же приточне речеса».<sup>119</sup> Первый из них посвящен раскрытию ведущей символической темы книги Псалтырь — темы прославления бога («в псалтыри и гуслих, в кимвалех доброгласных»). В перечне глосс нет прямого следования за текстом Псалтыри, внимание собирателя глосс привлекла символическая тема «псалтыри и гуслей», но к этой основной теме он добавил толкования и других символов, а также и иных слов. То, что первые глоссы относятся к середине книги, а материалы разъединены тематическим включением, доказывает, что и этот перечень представляет собой объединение более ранних словарных записей.<sup>120</sup> Перечень глосс «Се же приточне речеса», так же, как «Толк о неразумных словесех», начинается с толкования символов музыкальной темы (псалтырь, гусли, тимпан, лик, кимвал, степенная (песнь высока), орган, гусли, струны, труба), но вслед за этим идут статьи, не связанные ни с типом приточника, ни с текстом Псалтыри (в большей своей части — названия церковных чинов). История текста и этого перечня связана с активным процессом собирания и объединения глосс.<sup>121</sup>

Итак, наиболее важная серия «приточных» толкований в древних глоссариях этого типа — объяснения «музыкальных» обозначений.

3. Перечни славяно-русских соответствий и й. Славянские глоссы входят в состав всех типов древних глоссариев, но специально посвящен этой теме труд, названный «Толкование неудобь познаваемом в писаных речемь».<sup>122</sup> Из общего числа найденных списков два — «Пословки лествичные» (XIV в.) и «Протльк

---

<sup>119</sup> Старшие списки в сборнике Ефросина, ГПБ Кирилло-Белозерское собр. № 22/1099, ркп. XV в.

<sup>120</sup> Судя по собранным спискам, словарь встречается в Псалтыри, в сборниках (чаще вместе с другими извлечениями из Псалтыри) и, наконец, в соединении со словарем «Толкование неудобь познаваемом речемь» в Лествице Иоанна Синайского.

<sup>121</sup> Подробнее о приточниках в кн.: К о в т у н Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. С. 155—215; публикация текстов на с. 432—434; ср.: Н і м ч у к В. В. Староукраїнська лексикографія. . . С. 25—26.

<sup>122</sup> Старший список: ГИМ Чудов. 22 («Пословки лествичные») — XIV в.

лествици о речех покръвених» (XV в.) — представляют особую более раннюю его редакцию. В заголовке этой редакции отразилась прямая связь названного труда с текстом Лествицы Иоанна Синайского. Оставаясь в части своих статей в рамках богословских традиций самых ранних словарных текстов, данный перечень глосс в то же время служит иной цели, комментируя особенности языка древних славянских книг. Большой интерес представляют данные в нем истолкования философских терминов (качество ~ естество каковому есть; количество ~ мера есть колика; свойство ~ кто имать что особно) и отвлеченных понятий из категории моральных характеристик (типа: самолюбие, еже к телу страсть и угодное тому).

Группа статей в составе «Толкования. . .», представляющая объяснение темных мест архаического перевода Лествицы (XII в.) для читателей XIV в., является в нем основной. Ср., например: пронырство ~ лукавство, обавление ~ явление, проках ~ прочих, накыновение ~ мановение, пьвание ~ дръзновение, начаах ~ надеяхся, нешую ~ мноу, уповаю, поувръzenie ~ умиление и т. д. Создатель второй редакции «Толкования. . .» (XV в.) в заголовке к словарю дает объяснение появлению в церковных текстах непонятных слов «понеже положены суть речи в книгах от начальных преводник ово словенски и ино сръбски и другаа блъгарскы и греческы, их же не удоволишася преложити на рускыи». Отметим, что в этом заглавии выражена мысль о самостоятельности русского языка, его особенности по отношению к другим славянским языкам.

Старославянский язык, испытывая воздействие русского, применялся к нему в некоторых своих элементах. Церковные книги, поступавшие к нам из Болгарии и Сербии, в свою очередь представляли собой его болгарский или сербский извод. Имело значение и наличие разных редакций греческого текста. Именно такова была история Лествицы Иоанна Синайского. Со времени ее перевода с греческого на старославянский язык (XII в.) текст ее, как это обнаруживается при сравнении списков XII—XIV вв., постоянно подвергался исправлениям. В списках Лествицы XV—XVI вв. представлена уже новая редакция перевода. Сведения из истории Лествицы раскрывают смысл того нового названия, которое было придано словарю к ее тексту в XV в. Упомянутый здесь греческий язык — язык ее оригинала (в книге немало непереуведенных греческих слов), словенский — старославянский язык, на который она была переведена в XII в., упомянутые сербский и болгарский языки указывают на наличие сербских и болгарских изводов книги. В соединении этих различных наслоений видит составитель второй редакции «Толкования. . .» причину трудности чтения Лествицы русским читателем. Анализ эволюции текста Лествичника как нельзя лучше подтверждает верность наблюдений ее древнего комментатора.

В анализируемом славяно-русском глоссарии всего 61 статья (в более ранней редакции — 47).

Существенны наблюдения Георгия Трифуновича, который, обследовав югославские архивы, доказал сербское происхождение

первой редакции.<sup>123</sup> Но воздействие было взаимным. Тот же автор пришел к выводу, что более поздняя русская редакция XV в. в свою очередь оказала влияние на сербские словарные разработки. По спискам наблюдаются разночтения, вторая редакция имеет две специфические разновидности. Однако значительная часть статей (49 из 61) остается неизменной. Устойчивость текста «Толкования. . .» позволяет с уверенностью различить его статьи в составе словарей более позднего периода и в то же время выявить объем и характер обработки взятых из этого источника материалов последующими лексикографами. В азбуковниках наблюдаем целые отрывки, выписанные из «Толкования. . .», иногда с сохранением его композиции. Памва Берында также включает его статьи, объединяя их с данными, почерпнутыми из Лексиса Лаврентия Зизания.<sup>124</sup>

4. С л о в а р и - р а з г о в о р н и к и. «В наших старинных рукописных сборниках, — пишет П. К. Симони, — кое-где попадаются разного рода списки иноязычных слов с кратким толкованием их на русском языке, иногда даже приводятся и целые фразы или краткие диалоги с переводом».<sup>125</sup>

Издавая небольшие словарики «Грецкой язык» и «Се татарский язык» по рукописи XV—XVI вв.,<sup>126</sup> тот же автор замечает, что слова и фразы записаны, по-видимому, «с голосу», т. е. прямо с живого произношения. Первый из словариков дает переводы с русского на греческий: царь ~ васильяс, небо ~ уранос, солнце ~ ильис и т. д. Под текстом словаря — приписка: «Юрий цареградецъ сказал».<sup>127</sup> Во втором сделаны переводы на язык, названный татарским.

И в том, и в другом словариках есть тематические звенья (в словаре «Грецкий язык» — человек и части его тела, названия яств и напитков; в словаре «Се татарский язык» — чины и сословия, термины родства). Есть и совпадения. При явном несходстве среды, в которой они создавались, оба разговорника, видимо, близки по методу составления. Они очень невелики: в словаре «Грецкой язык» — 35 статей, в словаре «Се татарский язык» — 27 слов и шесть разговорных фраз, — краткий, но выразительный диалог:

---

<sup>123</sup> Т р и ф у н о в и ћ Ђ. Речник уз српске преписе Лествице: Прилог познавању српске средњовековне лексикографије // Јужнословенски филолог. Београд. 1982. Т. 38. С. 83—85. Следы сербского ее происхождения подчеркнуты и в книге Нимчука (Староукраїнська лексикографія. . . С. 26—29).

<sup>124</sup> Лексис Лаврентия Зизания 1596 г., Лексикон славено-росский Памвы Берынды, 1627 г. Подробнее о типе славяно-русских словарей в кн.: К о в т у н Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. С. 216—317; публикация текстов на с. 421—434; ср.: Н и м ч у к В. В. Староукраїнська лексикографія. . . С. 26—29.

<sup>125</sup> С и м о н и П. К. Памятники старинной русской лексикографии по рукописям XV—XVII столетий // ИОРЯС. 1908. Т. XIII. Кн. 1. С. 175.

<sup>126</sup> Сборник Новгородского Софийского собора, № 1462.

<sup>127</sup> О. Прицак высказал правдоподобную, по мнению М. П. Алексева, догадку, что речь идет о Юрии Траханиоте, приехавшем в Москву в свите Софии Палеолог (P r i t s a k O. «Се татарскы язык» // Orbis Scriptus. D. Tschizewskij zum 70 Geburtstag. München, 1966. S. 643; А л е к с е в М. П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века. Л., 1968. С. 19).

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| что за человек еси?      | неки шисень?              |
| князя великаго.          | ѹлубинигкъ.               |
| князь великий где?       | ѹлубиса идадиръ?          |
| у себе.                  | отзюкатында.              |
| что деет? суды судит.    | не етедиръ? ѱргыара дыръ. |
| кто у него бояр есть ли? |                           |

Для истории текста словаря «Се татарский язык» важен изданный П. К. Симони по более поздней рукописи XVI в. словарик под названием «Толкование языка половецкого».<sup>128</sup> Оба словаря различаются в основном лишь обратным расположением языков (от русского или к русскому) и произношением некоторых слов. Такое совпадение показало, что оба они объясняют слова одного языка. Но какого? Ф. Е. Корш признал их татарскими.<sup>129</sup> Однако тюркологи западноевропейские, русские, украинские видят в «Толковании языка половецкого» памятник, дополняющий материалы латинской рукописи 1303 г. Codex Cumanicus, признавая, что в нем даны слова кыпчакского (половецкого) языка, и датируя его XIII—XIV вв.<sup>130</sup>

Вполне убедительны, по мнению М. П. Алексеева, выводы О. Прицака: в обоих словарях дается запись того тюркского диалекта, который был принят при дворе Золотой Орды в XIII—XIV вв. и известен под названием кыпчакского, половецкого или куманского.<sup>131</sup> Прицак полагает, что оригинал статьи «Се татарский язык» был создан в результате общения с Золотой Ордой.<sup>132</sup> Тип словаря-разговорника вполне сформировался в «Речи тонкословия греческаго», в памятнике сер. XV в. Называя этот словарь древнерусским руководством к разговорам на греческом языке, первый его издатель Н. Никольский определяет его состав как собрание наиболее употребительных слов и выражений, необходимых при сношении с греками.<sup>133</sup>

Н. Никольский, а вслед за ним и М. Фасмер<sup>134</sup> показали, что «Речь тонкословия греческаго» — памятник негреческого происхождения, причем записи греческих слов выявляют в авторе словаря русского, а не южнославянина. Изучение истории текста приводит

<sup>128</sup> Словарик этот вместе с «Речью жидовскаго языка» включен в Четьи-Минеи митрополита Макария за август месяц, ркп. ГИМ Син. 183 и Син. 997). Есть и другие списки этого словаря XVII в.

<sup>129</sup> П. К. Симони опубликовал «Толк языка половецкого» с лингвистическими пояснениями Ф. Е. Корша.

<sup>130</sup> Разбирая этот вопрос, М. П. Алексеев ссылается на работы В. Банга, К. Грёнбека, П. Пеллио, А. Зайончковского, Н. А. Баскакова и др.

<sup>131</sup> Памятниками кыпчакского языка являются, кроме Codex Cumanicus, также многочисленные рукописи арабским письмом XIII—XV вв. (а в XVI в. также армянским).

<sup>132</sup> Словарик был составлен, как считает исследователь, не в Москве, а в Ростове Владимирском по поручению епископа ростовского Кирилла (1231—1262), посетившего Золотую Орду при хане Берке (1257—1267). P r i t s a k O. «Се татарский язык». С. 644—645; Алексеев М. П. Словари иностранных языков. . . С. 25.

<sup>133</sup> Никольский Н. Речь тонкословия греческаго: Русско-греческие разговоры XV—XVI вв. СПб., 1896. С. 1

<sup>134</sup> V a s m e r M a x. Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch; Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexicographie. Leipzig, 1922. В этой ра-

М. Фасмера к убеждению, что древнерусско-среднегреческий разговорник сочинен на Афоне в XV в. Это предположение подтверждается, кроме греческой и русской лексики текста, и другими фактами.

Анализ словарных статей «Речи тонкословия греческаго» показывает, что создатель разговорника ставил перед собой две цели: справочную и учебную. Как справочник словарь давал подробные и разносторонние сведения об обиходной лексике, не только греческой, но и соотносимой с ней русской: в нем — 2621 греческо-русское и русско-греческое соответствие. Вместо с тем в построении словарных статей, например сериях изменения слова по грамматическим формам, в размещении материала то от греческого к русскому, то от русского к греческому, в неоднократных возвращениях к уже освещенным темам и развитию их отчетливо видна задача способствовать усвоению языка. Необходимо отметить, что, хотя исследователи словаря видят в его авторе русского паломника, совершающего хождение по греческим монастырям (Н. Никольский), грамотного русского духовного звания (М. Фасмер), в тематике словаря, его словнике, рассказах и диалогах проявляются по преимуществу интересы чисто житейские. Что касается материалов, относящихся к монастырскому быту, то они в большинстве статей связаны не с церковной книжностью, а с монастырским обиходом.

Особенность строения «Речи тонкословия греческаго» как словаря-разговорника заключается в том, что словарь этот состоит не только из греческих слов и их перевода (или из русских слов и их греческих соответствий), но и из фраз, отрывков бесед и разговорной монологической речи, причем его материалы расположены не по алфавиту и не прямолинейно тематически. Вместе с тем тематическое объединение лексики — одна из его характерных черт, так же как и неоднократные возвращения к пройденным темам и их развитие.

Материалы словаря в соответствии с его задачами состоят из тематических словариков и связного текста. Тематические словарики в свою очередь делятся на два вида.

Первый вид — систематические перечни слов на какую-нибудь тему. Это словарiki под особыми заголовками: «О седмици», «О стадах», «Рыбы», «О зверех», «На человеце порты», «О человеце, каков есть». Так последний из названных перечней начат словами, называющими голову и ее части, включая и шею, горло (глава — κεφαλι κεφάλι, власы — маліа, трихес μαλλιά, τρίχες, влас — триха τρίχα, мозг — мiалос μυαλός, лоб, темя, верховище — коріои κορυφή, чело — метопон μέτωπον, брови — влѣбара βλέφαρα и т. д.). После них даны названия частей руки, затем некоторые слова, называющие части туловища, после чего приводятся части ноги. Таким образом, человек, строение его тела, оказывается описанным с головы до пят. Затем автор возвращает нас к некоторым уже пройденным темам, пополняя и развивая их, после чего (от слова «селезнь», т. е. селе-

---

боте дано издание словаря с учетом четырех его списков. Текстологический анализ словаря проведен Н. Никольским, П. Симоном (в работе, посвященной изданию памятников старинной лексикографии) и М. Фасмером.



зенка) перечислены внутренние органы, и снова идут некоторые добавки. Перечень завершается заключительным словом «тело».

У автора словаря видим постоянное внимание к особенностям двух сопоставляемых языков: иногда к одному русскому слову даны два греческих соответствия, и напротив, при нескольких русских синонимах один греческий эквивалент; встречаются синонимы, которые в обоих языках имеют особенности выражения. В особую группу в словаре собраны абстрактные существительные, обозначающие чувства, состояния, свойства и отвлеченные действия. Что касается качественных наречий, то они размещены в основном по противоположности признака (тяжко — *варі βαρύ*, легко — *лафро λαφρό*, слабо — ахамно *ἀχαμνό* и т. д.).

Другим видом тематических словариков являются перечни слов и выражений для разговора на определенную тему. В «Речи тонкословия греческаго» находим множество таких перечней. Один из них включает слова, характеризующие рельеф местности, последовательно развивая эту тему. Такой же перечень слов приведен и для разговора о саде, цветах, растениях, для беседы о времени, его периодах, о еде и приготовлении пищи, о погоде и др.

Прием подбора слов и выражений для бесед на разные темы применен в этом словаре-разговорнике почти на каждом листе текста и постоянно варьируется. Переход от одного тематического звена к другому носит характер импровизации, и столь же легко от этого приема изложения материала автор переходит к систематическим словарикам, рассеянным по всему тексту «Речи тонкословия греческаго». Словарики дополняют и развивают друг друга.

Весьма характерны помещенные в том же словаре отрывки связанного текста и разговорные фразы. Первые попадают уже в самом начале словаря. Словарные статьи в таких случаях представляют собой расчлененный на фразы, словосочетания, иногда и слова рассказ или диалог. К каждому такому членению дано соответствие на другом языке (греческом или русском, в зависимости от того, какой из них в этой части словаря положен в основу). Читая данные одного из языков, убеждаемся, что перед нами не произвольный и даже не тематический набор слов и фраз, а связанная речь.

По своему содержанию связанные тексты в составе «Речи тонкословия греческаго» разнообразны. Одни из них посвящены мореплаванию, другие — купле и продаже товаров, в третьих — бытовые картинки монастырской жизни, занятий «рукоделием», лечения болезней, работа на монастырских землях, приготовление пищи. Каждый из таких рассказов развивается не прямолинейно, а с разработкой его членений (например, в рассказе о плаванье по морю: пришел один корабль велик — мал — не велик — не мал; отчаялися и живота их — боялися и смерти; но бог не презре своего создания — не забы дела руку своєю). В истории русской лексикографии старшего периода известны и другие словари-разговорники, но по искусству исполнения поставленной задачи «Речь тонкословия греческаго» не превзойдена ни одним из них.<sup>135</sup>

<sup>135</sup> Подробнее см.: К о в т у н Л. С. Русская лексикография С. 318—389.

# РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

---

*В. В. Колесов*

## 1. Основные источники и идеи IX—XIII вв.

Первые грамматические сведения славяне почерпнули из греческих руководств в эпоху интенсивных переводов на старославянский язык служебной, четвѣй и патристической литературы.

В книжной традиции устойчива ссылка на Иоанна экзарха Болгарского как на создателя системы филологических знаний у славян (начало X в., Восточная Болгария). Ему принадлежат предисловия к его собственным переводам с греческого языка, в которых разбираются лингвистические вопросы перевода с одного языка на другой (например, соотношение имен по грамматическому роду в обоих языках), показаны некоторые особенности старославянского языка как языка литературного.<sup>1</sup> Им разработана «открытая теория перевода», согласно которой на другой язык, следует переводить «силу и разум» речи; это не дословный перевод, а тождество смысла при перенесении на свой язык основных образных средств оригинала. Чтобы передать иносказательность текста, следует учитывать образные формы родного языка, на них создавая эквивалентную оригинальной систему образов. Именно такие переводы и составили первоначальный набор художественных символов в древнеславянских текстах (многими из них мы пользуемся и сегодня). Соотношение «глагола» и «разума» (signans и signatum) обеспечивает, с одной стороны, увязку слова и текста, а с другой — демонстрирует двойственную природу слова как факта языка (при таком понимании «слова» последнее остается Логосом; понятие и объект совмещены в общем термине «разум»). Последующее развитие теории перевода всегда было связано с разными этапами развития филологии как осмысления — текста, затем — высказывания, еще позже — слова и, наконец, как парадигмы. В соответствии с этим возникла теория «вольного перевода» (светские тексты XII в.), перевода «от слова и до слова» (начиная с XIV в.), затем грамматическая теория перевода (с XVI в.,

---

<sup>1</sup> См.: Колесов В. В. Семантични промени на думите в преводите на Иоан Екзарх Български // България 1300. София, 1983. С. 217—239 (с подробной библиографией).

Максим Грек) и «синтетическая теория», возникшая уже в конце XVII в.<sup>2</sup>

Тому же Иоанну экзарху традиция приписывает и перевод грамматики Иоанна Дамаскина («Святого Иоанна Дамаскина о осмихъ частѣхъ слова елика пишем и глаголем»), которая на самом деле переведена значительно позже и на греческом языке не принадлежала Иоанну Дамаскину.<sup>3</sup> Такое убеждение возникло потому, что в древнерусских рукописях эта грамматика обычно переписывалась вместе с «Диалектикой» и «Богословием» Иоанна Дамаскина, действительно переведенными или собранными Иоанном экзархом. Все три книги составляли обычный курс наук, характерный для средневековой образованности, и их приписывали одному автору.

Известны также «Жития» Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности, и столь же древнее сочинение «О письменехъ» черноризца Храбра, в которых говорится о составлении славянской азбуки, о создании славянской письменности и о переводах Священного писания на старославянский язык.<sup>4</sup> В древнерусской литературе списки этих сочинений в большом числе встречаются до XVIII в., они оказали большое влияние на становление филологических знаний в России еще в то время, когда основной сферой изучения оставались лексикографические разработки текстов. Так же как и последние, эти филологические сочинения возникли из практических потребностей перевода или переписки текстов и не являлись еще в полном смысле лингвистическими. Даже терминология (в том числе и общефилологическая, философская) в это время продолжала собою традиции греческой учености, хотя наряду с тем уже и были сделаны первые попытки приспособить ее к нуждам славянского знания.<sup>5</sup>

Методом калькирования перевели на славянский язык основные термины риторики. В составе Изборника 1073 г. сохранился перевод сочинения Георгия Хировоска «О образѣхъ» (о тропах), в кото-

<sup>2</sup> Подробнее об этих теориях, которые не являются предметом нашего обзора, см.: М а т х а у з е р о в а С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976. С. 25—55.

<sup>3</sup> Грамматика Псевдодамаскина по разным вариантам, в том числе и первоначальным южнославянским, но не всегда полным, издана: Я г и ч И. В. Рассуждение южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896. С. 38—54. Новейшее издание с древнейшими сербскими текстами: Weicher E. Die älteste Handschrift des grammatischen Traktats 'Über die acht Redeteile' // Anzeiger für slavische Philologie, IX. Gras, 1977. S. 367—427 (описание рукописей выполнено В. М. Загребиным). Эта грамматика не закончена и представляет собою скорее компиляцию славянского автора, чем перевод с греческого языка.

<sup>4</sup> Сочинение неоднократно издавалось, последнее научное издание см.: Чръноризец Храбръ. София, 1982.

<sup>5</sup> См.: Пейчев Божидар. Философский трактат в Симеоновом сборнике. Киев, 1983; о принципах создания научной терминологии на основе осмысления греческих терминов см.: Колесов В. В. Семиотические основы терминологизации в древнеболгарском литературном языке (по переводам Иоанна экзарха болгарского). // Първи международен конгрес по българистика. Доклади. Симпозиум Кирило-Методиевистика и старобългаристика. София, 1982. С. 150—175.

ром рассмотрено 27 категорий, например: аллегория (*инословие*), метафора (*превод*), синекдоха (*соприятие*), перифраз (*округословие*), плеоназм (*изобилие*), прония (*поругание*), сарказм (*поизгание*) и пр.<sup>6</sup>

Языкознания как законченной научной или практической дисциплины в этот период также еще не существовало.

В середине XIV в. в результате активной деятельности славянских монастырей на Афоне начинается новая волна практического интереса к филологическим вопросам. Необходимость исправления богослужебных книг и создание их новых переводов под этим стимулирующим влиянием и на Руси, и в Болгарии привели к пересмотру общего отношения к тексту и к рукописи. Но если в далекой Москве дело при этом ограничилось только новыми переводами и исправлениями текстов (ср. деятельность митрополита Алексия и его Чудовской Новый завет, 1355 г.),<sup>7</sup> на соседней с Византией славянской территории, в Болгарии и Сербии, возникает и своеобразная грамматическая традиция. Появляется упомянутая уже грамматика Псевдодамаскина (середина XIV в.), вырабатываются новые принципы орфографии (сначала так называемый тырновский извод Евфимия в 1371—1375 гг., затем ресавская школа в Сербии), создаются первые грамматические своды (например, Константина Костенечского в начале XV в.), оказавшие большое влияние на последующую книжную традицию во всех славянских странах, пользовавшихся славянским письмом.<sup>8</sup>

Эта волна была продолжительнее предыдущей: «второе южнославянское влияние» оказалось более значительным, поскольку касалось не только языка, но и стилистики, затрагивало вопросы, связанные с составом и оформлением текстов, уже довольно разносторонне охватывало все сферы филологической критики текста, заложило основы оригинальной лексикографической работы над текстом и т. д. Существует оправданное предположение, что именно восточнославянские книжники, опираясь на функциональные свойства архаизмов (в их противопоставлении живым разговорным формам родного языка), чисто практически выработали те приемы, которые позже были канонизированы Евфимием и предстали как «второе южнославянское влияние».<sup>9</sup> Был создан первый эталон славянского

---

<sup>6</sup> С указанием специальной литературы см.: Гранстрем Е. Э., Ковтун Л. С. Поэтические термины в Изборнике 1073 г. и развитие их в русской традиции // Изборник Святослава 1073 года. М., 1977. С. 99—108 (здесь же статьи В. В. Колесова и Г. К. Вагнер).

<sup>7</sup> Книга важна как опыт перевода на новый тип литературного языка, как образец орфографии и письма.

<sup>8</sup> Я г и ч И. В. Рассуждение. . . С. 95—199, 247—265, 275—280. Из последних работ об этом сочинении см.: Goldblatt H. The Church Slavonic Language Question in the fourteenth and fifteenth centuries: Constantine Kostenečki's Skazanie izъjavljeno o pismenex // Aspects of the Slavic Language Question. New Haven, 1984. Vol. 1. P. 67—98.

<sup>9</sup> См.: Worth D. S. The second South Slavic influence in the history of the Russian literary language // American contribution to the IX-th International Congress of Slavists. Columbus, 1983. P. 349—372. Ср.: Колесов В. В.

литературного языка, общего всем славянам (практически — славянам православного мира, *Slavia Orthodoxa*); закрепленный традицией, он просуществовал до конца XVII в., но и впоследствии, например в трудах М. Смотрицкого, идея общеславянского литературного языка разрабатывалась в том же направлении.

Среди указанных сочинений книга Константина философа «О письменехъ» оказалась наиболее важным трудом. Здесь впервые обстоятельно обсуждались вопросы орфографии, хотя грамматические и фонетические подробности языка интересовали автора мало. Обстоятельно трактуются просодические знаки, заимствованные из греческого письма, но также в орфографическом плане, ничего не говорится о фонетическом значении этих знаков. Единственный фонетический термин в этом описании — *складъ* 'слог' — в сочинении не встречается, его уже позднее ввели русские переписчики извлечений из этого труда. По-прежнему речь идет о практических вопросах книжного дела, но из них постепенно вычлениются собственно лингвистические сведения, которые группируются вокруг грамматики как теоретического обоснования всех этих разрозненных сведений о языке. Особый интерес к литературному языку в его отличии от разговорного, постепенно возникающие различия между разными славянскими языками привели к созданию новой дисциплины — орфографии; «орфография вообще играет доминирующую роль в самосознании литературного языка»,<sup>10</sup> тогда как в графических различиях более раннего периода славянский книжник искал различия между разными языками. Восточнославянское заимствование из греческого *грамота* и обозначало собственно нерасчлененное понятие грамоты как письма, как искусства его воспроизведения и как науки по его расшифровке. Грамотный — это и образованный, и начитанный, и ученый по тем временам человек. Общее представление о «силе книжной» в этот период не выходит еще за границы графической (буквенной) мудрости. Первоначально научное знание остановилось перед внешними характеристиками текста.

Общее направление в развитии грамматического знания можно было бы обозначить следующим образом.<sup>11</sup> По крайней мере до XVI в. основной задачей была текстологическая, палеографическая, словарная работа над текстом. Это филологическая наука о слове в тексте, и форма для нее важнее содержания (буква, а не звук; слово, а не морфема; формулы речи, а не парадигменные связи слов, и пр.). С XVI в. на волне развития национальной государственности наступает новый этап в осознании предмета. Появляются первые

---

Древнерусский литературный язык. Л., 1988. С. 131 и сл. (с указанием литературы).

<sup>10</sup> Успенский Б. А. Первая русская грамматика на русском языке. М., 1975. С. 5.

<sup>11</sup> Обоснование периодизации см.: Колесов В. В. К принципам периодизации истории русского языкознания // Из истории славяноведения в России. II. Труды по русской и славянской филологии. Тарту. 1983. С. 122—136.

(переводные) грамматики и словари,<sup>12</sup> которые как бы «сняты» с традиционных и авторитетных текстов, но на основе этих текстов фиксируют уже нормы вполне оформившегося церковнославянского языка (который все больше отличается от народно-разговорного языка). Возможность сравнения двух языков (на самом деле — двух синхронных срезов одного и того же языка) становится базой для основательных филологических штудий, результаты которых сказываются уже в XVII в. Пока что основным объектом изучения остается орфография (но уже не графика, как было до XVI в.), и не текст, а его компоненты, прежде всего предложение.

## 2. Развитие грамматических идей в XIV—XVI вв.

Приступая к изложению грамматических идей русского Средневековья, историк сталкивается с традиционным мнением, согласно которому «языкознание в Древней Руси, как и следовало ожидать, носило вполне определенный подражательный характер».<sup>13</sup> Из этого определения неясно, имеется ли в виду постоянство заимствования все новых и новых грамматических сведений посредством переводов или речь идет о компиляциях на русской почве; ниже на с. 160 и далее С. К. Булич говорит именно о бессмысленных компиляциях ненаправленного характера. Недавние исследования опровергают эту механистическую, весьма поверхностную, основанную на формальных предпосылках концепцию развития древнерусских лингвистических знаний. Эти исследования включают развитие русской грамматической мысли в общую цепь развития идеологических, политических, научных и культурных знаний Средневековья, эпохи становления и расцвета Московского государства, т. е. делают ее фактом собственно русской культуры, несмотря на несомненно южнославянский источник — грамматику «О осмихъ частехъ слова». Значение этой компиляции (которую многие переписчики восполняли до желательного конца) не в том, что она занесла на Русь грамматические знания; значение ее лишь в том, что русский книжник смог осознать «особность» грамматических знаний, которые до тех пор существовали для него в виде практических навыков редактирования и перевода, а теоретически были представлены в чисто богословских трудах типа «Диалектики» или «Богословия» Иоанна Дамаскина. Он понял это, сразу же включив грамматику в цепь последовательно усложнявшихся знаний: г р а м м а т и к а (изучает форму изложения — язык) — д и а л е к т и к а (изучает средства

<sup>12</sup> О динамике развития словарной работы см. статью Л. С. Ковтун в настоящем томе. Ср.: K o l e s o v V. Traces of the Medieval Russian Language Question in the Russian Azbukovniki // Aspects of the Slavic Language Question. New Haven, 1984. Vol. II. P. 87—123.

<sup>13</sup> Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. I. С. 149. Отсюда же поверхностная констатация фактов (наличие переводных грамматик) без их анализа, см.: Кузнецов П. С. У истоков русской грамматической мысли. М., 1958. С. 4—39.

суждения — о разумѣ) — богословие (объект конечного изучения как содержание средневековой науки). Следуя этой линии, он и грамматику приписал тому же автору и тому же переводчику, которые создали диалектику и богословие. В указанном тривиуме православной учености грамматика получила все права самостоятельной дисциплины. В сознании древнерусского книжника возникло первое динамическое противоречие, связанное пока что с классификационными проблемами в грамматическом учении о слове и тексте.

Действительно, лингвистические сведения содержатся еще во всех трех частях тривиума, постепенно усложняясь в содержательном отношении. Слово — еще *логос*, т. е. и слово-имя, и мысль, и содержание, *сущность*. Следовательно, «слово» — предмет всех трех наук. Грамматика толкует о частях речи и классифицирует их пока что по случайным, иногда очень конкретным признакам, которых в сущности может быть бесконечно много; это не классификация в нашем смысле слова, а перечисление грамматических свойств (в древнерусском языке совокупность свойств, т. е. субстанция, обозначалась словом *существо*). Поэтому, например, в грамматике «*имя же глаголется, яко имать подлежащее существо, о немъ же есть слово*» (именем называется часть речи, представляющая совокупность свойств — вот почему оно и представлено синкретично, без выделения имен существительных, прилагательных или числительных) и классифицируется по нескольким признакам: *рассуждение, род, вид, число, начертание, падение, склонение* и т. д.

«Диалектика» представляет другой классификационный принцип для разбиения тех же множеств — слов: это бинарное противопоставление с выявлением маркированного члена оппозиции, который не подлежит дальнейшему разбиению на новый бином. Например, говоря о разделении тех же существ на виды и роды, «Диалектика» приводит членение по восьми дифференциальным признакам (как сегодня сказали бы мы): 1) *плоть* — *бесплотное*, затем немаркированный член делится на 2) *тѣло* — *бестелесное*, тело на 3) *одушевленное* и *бездушное*, одушевленное на 4) *чувственное* — *нечувственное*, затем 5) *животное* *садовное* (посаженное) — *несадовное*, 6) *словесное* — *бессловесное*, 7) *мертвенное* — *бессмертное*, 8) *человек* — не человек (например, *вол, конь*). Возвращаясь к *существом*, «Диалектика» строит модель 'человек' по следующим признакам: это существо животное, одушевленное, чувственное, словесное, смертное, во плоти и теле. Строгость бинарных разбиений не соблюдена, но они намечены.

Наоборот, в «Богословии» классификационный принцип всегда тернарный: «что святость и что посредне и что отпадшо», что «Отец и что Сын и что Дух святой», и т. д. Позже были сделаны попытки использовать тернарный принцип классификации также для определения грамматических единиц и понятий. Например, в одном грамматическом сочинении (список начала XVII в.)<sup>14</sup> определяется сле-

<sup>14</sup> Алфавитъ како которая рѣчь говорити и писати // К а л а й д о в и ч, К. Ф. Иоанн Экзарх Болгарский. СПб., 1824. С. 198—207.

дующее соотношение категорий (восполняем список сопоставлением с другими источниками):

|                          |   |                            |   |                         |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|
| <i>святость</i> (святые) | — | <i>посреднее</i> (человек) | — | <i>отпадно</i> (демоны) |
| <i>ангелы</i>            |   | <i>человек</i>             |   | <i>беси</i>             |
| единственное число       | — | двойственное число         | — | множественное число     |
| мужской род              |   | средний род                | — | женский род             |
| <i>благо</i>             | — | <i>добро</i>               | — | <i>зло</i>              |
| им. падеж ед. числа      | — | им. падеж ед. числа        | — | им. падеж ед. числа     |
| на -ъ                    |   | на -о                      |   | на -а                   |
| имя                      | — | причастие                  | — | глагол                  |
| аорист                   | — | имперфект                  | — | перфект, и т. д.        |

Общие и частные грамматические категории сознаются здесь как проявления извечного и нерасторжимо связаны с обозначаемыми; все познается сквозь призму христианского мирозерцания, проецируется на тернарный этический ключ: святое (*благо*) — среднее, человеческое (*добро*) — падшее (*зло*). Получив таким образом представление о грамматике как самостоятельном объекте исследования, русские книжные люди немедленно подвергли грамматические сведения своеобразной «теоретической» обработке, значение которой нельзя недооценивать в изучении истории русского языка и языкознания. Символизация архаических категорий и форм старого церковнославянского языка несомненно способствовала закреплению этих, уже в XIV в. ставших искусственными, форм в новом типе церковнославянского языка (аорист, имперфект, двойственное число и т. д.) и задерживала развитие грамматической теории (например, в дифференциации имен на существительные, прилагательные и числительные), но вполне отвечала задачам средневековой книжности в отражении символизирующего средневекового мировоззрения.

Второе динамическое противоречие в развитии грамматических знаний связано, следовательно, с идеологической борьбой конца XV—начала XVI в. Новгородско-псковские еретики, ведущие свою родословную от псковских стригольников XIV в., от западно-европейских реформаторов XV в. и от южнославянских богомилов, в остатках и в видоизмененном виде сохранявших некоторые черты языческих представлений о благе и ценности жизни, противопоставили себя официальной религии, обратились (в лице наиболее образованных элементов) к изучению научных проблем, в том числе и грамматических.<sup>15</sup> Исходным текстом этого направления явилось зашифрованное «Лаодикийское послание» московского еретика дьяка Федора Курицына, написанное после его возвращения из Европы (в составе посольства Ивана III и после пленения в конце XV в.). Это сочинение содержит грамматические таблицы с указанием некоторых грамматических, графических, лексических и особенно

<sup>15</sup> Подробнее об этом см.: К[а]з[а]кова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодалные еретические движения на Руси XIV—начала XVI веков. М.; Л., 1955. Здесь же изданы грамматические тексты еретиков, см. «Лаодикийское послание» с полным библиографическим и текстологическим обзором, с. 256—276.



фонетических сведений о языке. В соответствии с идеологией сторонников реформации в «Лаодикийском послании» выражена та идея, что «чюдотворения даръ мудростью усилиеть, мудрости сила фари-сейству жительство, пророкъ ему наука, наука преблагена. . . , симъ вооружается душа» (дар чудотворства увеличивается с мудростью, а сила мудрости есть внешний устав жизни (πολιτεία), который наполняет внутренним содержанием пророк. Наука приносит блаженство (человеку). . . , так вооружается (закаляется) душа).<sup>16</sup> Классификационный принцип в сочинениях еретиков бинарный, ср.: гласный — согласный, мужской — немужской (с дальнейшими подразделениями), множественный — немножественный и т. д. напоминает уже современные привативные оппозиции по общему признаку, однако метафоричность изложения научных принципов (так, гласные сравниваются с душой или с силой, согласные — с плотью или столпами) затрудняет точное понимание источника, зашифровывает основные положения труда, понятного, видимо, только посвященным. Приведем для сравнения два зашифрованных квадрата, обозначающих гласные *а* и *о*:

|   |
|---|
| начальное имя человеку<br>прикладъ, число, слово царь<br>апострофъ, закрытая, вариа<br>'а    Ѹ<br>душа, сила, женскому<br>имени свершение |
|---|

|  |
|--|
| прикладъ, число, апостроф,<br>душа, сила<br>ѐ    Λ<br>среднему имени свершение |
|--|

Двоичное счисление начинается с заголовочных букв: каждый магический квадрат дает две буквы — азбучную красную и черную — риторскую (т. е. зашифрованную для тайнописи) на белом фоне листа, ср. *ѧ*, *ѐ* и *Ѹ*, *Λ*. Затем по бинарным признакам указываются дифференциальные признаки соответствующего элемента в общей системе; в частности, для *а* — эта буква «начала начал», в греческом языке начинает собою слово «человек» (*ἄνθρωπος*), в алфавите первая, священная буква — *царь* (риторский вариант — стилизованный крест, но вместе с тем и видоизменение глаголического «а»), гласного звучания (*душа*), может нести ударение (*силу*) и сопровождаться важными при чтении надстрочными знаками синтаксического свойства (*придыхания*’, каморы *∩* и вари */*), может вступать в сочетания (*прикладъ*) с другими гласными, морфологически является флексией имен женского рода (*жена*), имеет числовое значение (*а=1*) в отличие, например, от *б*, которое его не имеет. Сравнивая с обозначениями в других квадратах, видим, что *б* — «начало столпомъ», т. е. первая согласная в списке, относительно же *а* не сказано, что эта буква — «начало силамъ». Дело в том, что в данном смысле *а* — начало всех начал вообще, и указание на его особое

<sup>16</sup> К л и б а н о в А. И. «Написание о грамоте» // Вопросы истории религии и атеизма. М., 1955. Т. 3. С. 335.

место среди гласных излишне. Система построена не только лаконично, она вполне экономична. В целом ее автору вся она представляется способом выделения серии дифференциальных признаков, и сама буква для него также своеобразный различительный признак: «Разум обрѣтается соединением плоти и души с силой», т. е. смысл содержится в соединении согласного и гласного в слоге, одухотворенном произношением. Фонетически релевантен только слог как соединение звуков в определенной просодической проекции (*силе*). Внимание переносится с буквы на звук.

Расшифровку данного труда находим в двух русских сочинениях по грамматике, составленных в самом начале XV в., — «Написание языкомъ словенскимъ о грамотѣ и о ея строении» и «Книга глаголемая буквы» (иначе: «Написание языкомъ словенскимъ о букве и о ея писменахъ рекше азбуцѣ и о словесех ея, рассуждение и свидѣтельство»).<sup>17</sup>

Все реформаторы XV—XVI вв. в Европе явились одновременно и составителями грамматических пособий, стали переводчиками книг Писания на современный им родной язык. Та же тенденция определялась и в России. Федор Курицын призывал «писати божественные книги прямо и гладко»; идея демократизации литературного языка, устранение устаревшего церковнославянского языка — основная идея русских реформаторов конца XV—начала XVI в. Грамота нужна для лучшего людей вразумления и на спасение. Между разумом и знанием ставился знак равенства. Неудивительна в таких условиях ориентация на разговорную речь, на фонетические аспекты языка в связи с орфографией письменного текста. Впервые в русском языкознании была разработана система фонетической терминологии, классификации звуков, осмыслены физиологические основы произношения и т. д.

Физическая расправа над еретиками после 1503 г., сожжение их сочинений, активная и пристрастная полемика с ними, новая реакция с ее ориентацией на церковнославянский письменный текст как на основу книжной учености (ее поддержал и Максим Грек) вплоть до раскола 1663 г. вырвали это прогрессивное по тем временам направление из контекста русской общественной и научной мысли. До нас дошли только отрывки сведений, часто искаженных переписчиками и компиляторами, которые нарочито замазывали основные положения этих трудов в терминологической части и в классификации фактов. Многие отрывки без указания авторов или переводчиков попали в сборники и сохранились до нас в единичных экземплярах. Их еще предстоит собрать. Ср. перечисление органов речи с характерным для бытового контекста ироническим указанием на то, что перед речью необходимо прополоскать рот водой: «сиирѣчь девять

<sup>17</sup> Издания см.: Я г и ч И. В. Рассуждение. . . С. 360—384; второе сочинение издано там же, на с. 349—356. В одном из списков составление его приписывается Герасиму Ворбововскому; Хр. Лопарев считал, что автором его был нерусский, который вместе с тем хорошо знал греческий язык, см.: Л о п а р е в Хр. Описание рукописей имп. Общества любителей древней письменности. I. СПб., 1892. С. 3.

угодей ко глаголанью — еже двѣ губы, четыре губы начальные, последняя часть языка, горло дыхальное, гортани тщина (т. е. сужение) и кыя девять угодей глаголются музы; омойся еже есть вода, зане без волготы (влажности) от онехъ не можетъ родитися гласъ». <sup>18</sup>

В «Написании о грамоте» дана оригинальная классификация звуков; в качестве примера приведем характеристику гласных (оставляя в стороне графические различия и орфографические подробности текста): *а* — *гласъ простъ* (открытый, чистый), *о* — *гласъ остръ* (быстрый, резкий), *ы* — *гласъ широкъ* (просторный, свободный), *у* — *гласъ пространенъ и доволенъ* (широкий, долгий), *е* — *гласъ скуденъ* (недостаточный по образованию, краткий), *и* — *гласъ узок и плоскъ* (тесный, узкий), *ѣ* — *гласъ гибокъ* (скользящий по тембру, длительный), *ѝ* — *гласъ толстъ и кратокъ* (густой низкий звук, краткий), *ь* — *гласъ тонокъ и кратокъ* (высокий и краткий звук) и т. д. <sup>19</sup> Из перечня ясно, что имеются в виду не зрительные, а слуховые (звуковые) представления, следовательно, речь идет о гласных звуках (*гласы* в нашем понимании скорее фонемы, чем звуки), а не о буквах. Некоторое смешение с буквенными обозначениями здесь вторично, в то время, разумеется, невозможно было соотносить свое произношение со всем накопленным к тому моменту набором графем в их вариантах и типах. На древность классификации указывает отсутствие всяких замечаний об оппозиции гласных по ряду и по лабиализации: данные обозначения сложились до возникновение противопоставления согласных по мягкости — твердости, а гласных по лабиализованности (в русском языке окончательно только в XVI в.). Явным образом система представляет лишь три дифференциальных признака: *долгота* — *краткость*, *напряженность* — *ненапряженность* (верхний — неверхний), *носовость* — *неносовость*. Методом антонимических противопоставлений, выявляемых в самих определениях звуков, можно установить те попарные оппозиции, которые казались создателям этой системы, и на этом основании — те признаки, по которым система строилась. Оказывается, что краткими были *о*, *е*, *ѝ*, *ь*, долгота специально указывается для *а*, *у*, *ю* (непередние), для остальных гласных этот признак несуществен, *у* ѣ он связан с дифтонгоидностью. Выделяется специально носовой гласный, но только один, в пару к *а* (почему можно подозревать знакомство с восточноболгарской традицией). По подъему выделяются как наиболее узкие (верхние) *у*, *и*, *ь*, но в пары к ним в качестве неверхних показаны соответственно *а*, *е*, *ѝ*. Маркированный член оппозиции всегда дается в противопоставлении к немаркированному, вот почему в данной системе обозначений все неверхние гласные в дальнейших своих различиях не дифференцируются (как немаркированные по признаку напряженности). Четко показано про-

<sup>18</sup> «Кругъ миротворный (Книга историкъ)» со многими выписками из сочинений реформаторов и их противников, по списку ГПБ, ОЛДП F. 184, 1540 г., л. 47 об.; о данной выписке сказано: «се написание от иного списания, а в Дона-тусъ того нѣсть».

<sup>19</sup> Подробности и расшифровка см.: Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980. С. 22—23, 42—43.

тивопоставление по ряду и по подъему: *ы* — *и*, *о* — *у* и т. д. Самым неопределенным по своим характеристикам является гласный *е* — он принципиально определяется как недостаточный; чтобы уточнить его количественную и качественную неопределенность, автор прибегает к толкованию графических вариантов буквы *е*, например *е* — является *гласом довольным* (свободным, долгим, открытым). По отношению к *е* все соседние гласные определяются как узкий (*и*), открытый (*а*), просторный (*у*), острый (*о*). Тем самым *е* выступает в роли своеобразной фонематической точки отсчета для всех прочих гласных системы; фонетической точкой отсчета является *а*, гласный, который в данной системе обозначений максимально лишен всех фонетических характеристик. Подобные характеристики «изнутри XV в.» помогают понять и систему фонем того времени; в частности, показать особую роль фонемы /*e*/ в период между утратой редуцированных и утратой фонемы /*ě*/ (обозначалась на письме буквой «ять» — *ѣ*).

Реакция, наступившая после расправы над еретиками, пресекала эту традицию изучения живого языка, на гребне которой, вполне возможно, впоследствии мог бы образоваться и национальный литературный язык. Среди полемических сочинений, направленных против реформаторов и их фонетических исследований, находим «Беседу о учении грамоте, коея ради вины построена быть грамота и что от нея польза и приобретения».<sup>20</sup> В этой обширной компиляции все фонетические сведения снова вписываются в традиционные буквенные обозначения, причем использована форма изложения, введенная «Лаодикийским посланием»: квадраты и таблицы. Разумеется, здесь они не имеют того значения, что в первоисточнике, но выбор методики описания и подачи материала знаменателен: по крайней мере методические приемы изложения не пропали из утраченных возможностей новой науки.

Еретиками же в 1483 г. на русский язык была переведена «Логика» Маймонида (переработка соответствующего труда Аль Газалия, в литературе известна как «логика жидовствующих»)<sup>21</sup> Здесь также находим развернутую программу реформаторов, призывавших к свободному развитию науки, так как «иже который глупый, у бога не может быти» (л. 13 об.). «Логика» построена на грамматическом материале, примеры в ней переведены на русский язык, рассмо-

<sup>20</sup> Издание «Беседы» см.: Я г и ч И. В. Рассуждение... С. 385—398.

<sup>21</sup> Сохранились списки этого перевода, например список XVI в. ГПБ Подлинного собрания № 1146. Полное издание текста см.: Н е в е р о в С. Л. Логика иудействующих // Университетские известия. Киев, 1909. № 8. С. 1—62. Текстологическая и содержательная расшифровка текста предпринималась неоднократно, см.: К о к о в ц о в П. К вопросу о «Логике» Ависафа // Журнал Министерства нар. просвещ. 1912. Май. С. 114—133; П о ц о в П. С., С и м о н о в Р. А., С т я ж к и н Н. И. Логические знания на Руси в конце XV в. // Естественнаучные представления Древней Руси. М., 1978. С. 98—112. Краткий словарь древнерусских логических терминов см.: С и м о н о в Р. А., С т я ж к и н Н. И. Историко-логический обзор древнерусских текстов «Книга, глаголемая логика» и «Логика Ависафа» // Философские науки. 1977. № 5. С. 142—143.

трены типы лексических единиц (синонимы, омонимы, антонимы и т. д.), здесь много сведений по языкознанию, преимущественно по теории предложения (поскольку все познается через речь, л. 9) в связи с суждением и его типами; рассмотрен ряд философских категорий, что в то время носило несомненно революционный характер (возможность и действительность, и др.), представлены некоторые сведения по стилистике речи. Недостатком перевода была тяжеловесность языка, невразумительная, неотработанная терминология, во многом искусственная, не опиравшаяся на традиции славянского языка, ср. *самость* 'существо', *прикошное* 'принадлежность', *егдачество* 'категория времени', *гдбчество* 'категория места', *нѣтство* 'отрицание', *прилогъ* 'предикат', *осудъ* 'суждение' и т. д. Во многом эти термины вступали в противоречие с терминами, уже знакомыми восточнославянскому читателю хотя бы по «Диалектике» Дамаскина в славянском переводе (только термины *качество* и *количество* были сохранены в новом переводе от славянского перевода X в., оставшись в том же значении до наших дней). Этот переводной текст включен уже в другую традицию, связанную с переводами других ученых книг — с латинского языка («Риторики» и «Логики»).

Третье динамическое противоречие, также вызвавшее активную реакцию со стороны официальной религии и философии, проявилось в связи с переводом на русский язык грамматик латинской ориентации, особенно *Arts Minor* Доната, которая переведена Дмитрием Герасимовым, «толмачом немецкого языка», в 1522 г. (видимо, перевод сделан раньше и связан с научными поисками реформаторов, однако обнародован перевод только в 1522 г.). Одновременно с тем или вскоре после того были переведены и другие грамматические сочинения, на Западе обычно издававшиеся совместно с грамматикой Доната, например *Doctrinale* мастера Александра. С этого времени грамматические (и шире — общественные, культурные) идеи греческой ориентации вошли в конфликт с идеями совсем другой культуры, романской, католической, вызвав к жизни глубокие изменения на всех уровнях культурной и социальной жизни России XVI в. Если первое противоречие касалось классификационных, а второе охватывало вопросы содержания и направления в развитии грамматических идей, теперь в подтексте любой научной разработки, в том числе и лингвистической, стояло противоборство двух культур и философско-религиозных укладов. Идеологическим основанием включения в отечественную традицию новой культурной струи явилась идея «Москва — третий Рим»; возникла потребность в критическом рассмотрении достижений обеих цивилизаций — эллиногреческой и римской. Переводы священных книг с латинского языка (например, в кружке новгородского архиепископа Геннадия, одного из преследователей реформаторов и их «ереси», в конце XV в.) обеспечил богословскую основу для последующей двухвековой дискуссии относительно «латынщины» в составе православной культуры, которую стремились выдать за культуру народную, русскую.

В грамматическом плане различия касались следующих пунктов.

В соответствии с практикой еретиков в переводе грамматики

Доната предложена новая лингвистическая терминология, основанная не на греческой традиции, а связанная с живым русским языком XVI в. Например, в названии частей речи Дмитрий Герасимов, используя значения русских слов, пытается обнаружить с и с т е м у п о р о ж д е н и я некоторых частей речи — одна из другой: *союз* — *прѣдлог* — *нарѣчие* — *различие* — *мѣстоимя*. Основаниями для этого служат правила синтаксической сочетаемости; таким образом, части речи в зависимости от своей основной синтаксической функции разворачиваются как соответствующие члены предложения. *Союз* — точка отсчета, самое общее слово, служащее для связи (*съюзъ*), поэтому и *прѣдлогъ* в терминах Герасимова заменяется словом *прѣдставление* (буквально: 'предложение чему-то'), осознается как союз по отношению к другому слову; *нарѣчие* в свою очередь объявляется как *прѣдлог слову* (*слово* — 'глагол'), т. е. является *предложением* по отношению к глаголу; *различие* (артиклъ) в древнеславянской книжной традиции носило отчасти наречные функции, но «прилагается к имени», а не к глаголу, как наречие, и в свою очередь совпадает по функции с местоимением, от которого и образовано (ср.: *иже* — различие, происхождением связано с местоимением, но впоследствии стало союзом). Не характерная для русского языка категория различия долгое время признавалась важной и существенной категорией языка, поскольку укладывалась в эту последовательную цепь вспомогательных грамматических форм. Этой системе порождения противопоставлена система остальных, главных, частей речи: *имя* — *причастие* — *глагол*, — которые соотносятся по признаку «действия или страсти» (страдательности). Глагол по данному признаку маркирован, поэтому ни Дмитрия Герасимова, ни его последователей не удовлетворял старый термин *рѣчь*, они заменили его в обозначении глагола более точным для XVI в. термином *слово* 'глагол'.

Именно последовательной систематичностью нового бинарного разбиения: *с л о в о* (т. е. глагол — причастие — имя) — *с о ю з ъ* (второстепенные части речи в их последовательности) можно объяснить все остальные новации в грамматике Дмитрия Герасимова. С полным правом ее можно считать грамматикой Герасимова, ибо, хотя это и перевод с латинского языка, уже в раннем, датированном списке 1540 г. книга представляет собою общеграмматическое руководство, в котором опущены латинские примеры, заменены славянскими, а логика изложения и особенно терминология были здесь русскими. Только в данном отношении и мог быть оригинальным переводчик латинского текста в то время; расшифровку его собственного вклада в грамматические разработки Средневековья и представляют собою наши комментарии к переводу.

Действительно, для русского языка XVI в. нехарактерен артиклъ, поэтому пришедшее из греческой грамматической традиции *различие* оказывается ненужным, тем более что наречие одинаково свободно может быть «предложением» не только по отношению к глаголу, но и к имени (ср. *приде скоро* и *красень зѣло*). Однако совмещение наречия и различия в глазах средневекового ученого образует брешь

в стройной «осьмочастной» системе грамматики: исчезает одна часть речи. Число восемь — особое в семиотико-символической системе Средневековья, оно знаменует собою законченность, завершенность, т. е., выражаясь иначе, — совершенство какой-либо системы. Так, периоды человеческой жизни последовательно делятся на семь (*младенцу, отроча, дѣтнице, юноша, мужь, стербль, старецу*), но завершает их *вѣчная жизнь* после смерти — как ключевой поворот всей системы. Аналогичные характеристики можно выявить относительно цветовой гаммы, звукоряда и т. д. Изоморфизм средневекового сознания — широко известный факт, вот почему и переводчик грамматики Доната для восполнения системы берет не промежуточный элемент системы, например не прокламирует категорию прилагательного или числительного, а просто обращается к латинской грамматической традиции<sup>22</sup> и на место ликвидированного различия вводит междометие, поскольку междометие абсолютно лишено всяких синтаксических функций в предложении и может стать нулевой точкой отсчета в новой грамматической системе вспомогательных грамматических слов; может идти снизу, а не завершать систему, заканчивая ее маркированным элементом (ее завершает *слово* — т. е. глагол).<sup>23</sup> Очень любопытная подробность: точкой отсчета в системе порождения грамматических категорий становится ноль, заменяющий собою единицу (*союзъ*, который был минимально значимым, но все-таки значимым синтаксически элементом системы). Важно и другое новшество: для Герасимова важно уже не просто наличие тех или иных частей речи, но и соотношение их по определенным признакам, о т н о ш е н и е их друг к другу с точки зрения их функции в тексте. Нулевая точка отсчета в системе и принцип о т н о ш е н и я — совершенно новые принципы исчисления грамматических категорий.

Совершенство восьмой части речи — глагола — подтверждается и новой терминологической обработкой понятия «предложение». Для Герасимова глагол — основная часть предложения, т. е. вершина синтаксического следования. В грамматике Псевдодамаскина и вообще в греческой грамматической традиции центральным элементом было имя, символизирующее сущность, качество и количество в застывшей неподвижности как нечто д а н н о е. Глагол в такой традиции именовался *рѣчью* и представлял собою *часть слова*.

<sup>22</sup> Ср.: «Частей речи восемь: имя, местоимение, глагол, наречие, причастие, союз, предлог, междометие. Из них две основные части речи — имя и глагол. Римляне не причисляют к частям речи члена, греки — междометия» (Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. С. 118).

<sup>23</sup> Термин *межумѣтие* и обозначает 'брошенное между другими словами', ср. лат. *interjectio*. Какими бы мелочными ни казались нам теперь различия между греческой и латинской грамматической традицией (различие или междометие), в XVII в. это расхождение стало знаком серьезной идеологической борьбы. Так, греки братья Лихуды, обосновывая близость славянского языка греческому, говорили о том, что различие необходимо для различения единосущного слова *Богъ* (*ὁ Δόγος*) и «проносного слова, на воздухъ льющегося» (*λόγος* 'слово'), а это-де помогает в борьбе с ересями (ср.: С м е н ц о в с к и й М. Братья Лихуды. СПб., 1899. Приложение. С. X). В XVII в. эта же проблема возникла и при распространении печатных грамматик (об этом см. ниже).

В грамматике Герасимова глагол называется собственно *словом*, которое определено как часть *вѣщания*. Впоследствии, в печатных грамматиках XVII в., например у Мелетия Смотрицкого, глагол получит современное именование, станет *глаголом*, но опять-таки вернется в *части слова* (ср. современное определение: глагол — часть р е ч и). В последовательном замещении терминов *рѣчь* — *слово* — *глаголь* отражается не только постоянное изменение в значениях соответствующих слов, но и последовательное сужение функций глагола, вычленение его из синтаксической (*рѣчь*), а затем и семантической (*слово*) сферы в узко (т. е. собственно) морфологическую, постепенное приравнивание его к другим частям речи, низведение его с вершин совершенной восьмой части на уровень всех остальных частей речи. Прежняя иерархия частей речи со временем была перестроена как система равноценных единиц.<sup>24</sup> Стройный градуальный ряд частеречных определений, построенный целиком на внешних (синтаксических) признаках, распался, с тем чтобы создать уже внутренне обусловленную семантикой самих частей речи новую систему отношений.

Значение перевода грамматики Доната в том, что из двух равно заимствованных теорий, греческой и латинской, сначала в примерах (*прикладахъ*), а затем и осознанно, в многочисленных переделках и вариантах, добавлениях и поправках, равняясь на факты родного языка в их противопоставлении к архаическому церковнославянскому, русские книжники в процессе многолетнего коллективного труда смогли выбрать то, что полнее соответствовало грамматической системе их собственного языка и, в конце концов, завершить создание новой грамматической системы русского языка в теоретическом и прикладном значении (в начале XVIII в.).

Своеобразной реакцией на указанные переводы с латинского стали грамматические труды Максима Грека (ок. 1475—1566 гг., в Москве с весны 1518 г.). Насколько выдающейся и прогрессивной была его деятельность в области лексикологии и лексикографии, насколько значительны переводы его на современный ему русский язык (даже в переводе Псалтыри почти не встречаются архаичные славянские формы!), насколько важны были филологические труды и разъяснения его по различным вопросам перевода и экзегетики («Беседа о пользе грамматики» и др.), настолько малозначительны его теоретические труды в области грамматики: он и не ставил перед собою задачи создать грамматическую теорию, поскольку довольствовался грамматикой Псевдодамаскина.<sup>25</sup> Отчасти комментарии Максима по-

---

<sup>24</sup> Издание текстов см.: Я г и ч И. В. Рассуждение... С. 524—625. Здесь же изданы «Простословия» Евдокима, представляющие одну из дальнейших разработок грамматики Доната на русской почве.

<sup>25</sup> Исследованию вклада Максима Грека в древнерусскую культуру и науку посвящено множество работ. Огромное влияние этого ученого на древнерусскую традицию никогда не оспаривалось: «Хотя он и не написал прямо грамматики, все же сочинения его, в особенности критико-полемические и апологетические статьи, построены главным образом на умении пользоваться грамматическим толкованием. Его аргументация нередко целиком основывается на



вторяют уже и без того известное русским книжникам, отчасти возвращают к искусственной греческой традиции письма, ср. особенно его сочинение «О верхней силе еллинской» (о просодиях). Первым попыткам разработать оригинальную просодическую систему русского языка, основанную на «простых гласах», он вновь противопоставляет устаревшую греческую систему с многочисленными условными значками и сложной орфографической последовательностью их употребления. Эти механические правила надолго задержали стабилизацию собственной, восточнославянской просодической системы, что сегодня лишает нас надежных свидетельств современников о развитии русского акцента в самое интересное для этого процесса время. Только после появления печатных грамматик, в самом конце XVI в., возникла возможность для постепенного проникновения на страницы и рукописей действительного, «разговорного» ударения, большинство же рукописей XVI в. отражает постоянную борьбу между попытками отразить реальное произношение и вместе с тем следовать освященной именем Максима Грека искусственной традиции письма.<sup>26</sup> На долгие годы обращение к фонетическим аспектам языка стало запретным. Реакция заключалась в возвращении к б у к в е. Впервые только старообрядцы, непостижимым образом вернувшись к идеям еретиков-реформаторов, с которыми в свое время боролось почитаемое ими «древнее благочестие», занялись обстоятельными изысканиями в этой области. Их также интересовали вопросы фонетики, связанные с воспроизведением письменного текста при чтении.<sup>27</sup>

Грамматическая терминология Максима Грека (как впоследствии и другого пришельца — Юрия Крижанича) абсолютно не привилась у восточных славян, что явно свидетельствует в пользу того, что лингвистическая терминология и в те времена была ближайшим образом связана с уровнем разработки научных проблем, и всегда определяется родным языком грамматиста, не может быть импортирована, а должна развить свою «внутреннюю форму» на национальной основе. Максим Грек, кроме того, пытался точнее осознать особенности новой славянской системы языка, но не очень удачно. Так, он выделяет в именной парадигме сказательный падеж, который приравнивает к дательному, хотя по примерам видно, что речь идет о местном падеже (*на небеси*).

---

рассуждений грамматического свойства», причем он сам и его современники понимают грамматику шире, чем мы, — как часть философии (Я г и ч В. И. Рассуждение. . . С. 298).

<sup>26</sup> Внутренняя динамика этого противоречивого процесса рассмотрена в статьях: Колесов В. В. 1) Надстрочные знаки «силы» в русской орфографической традиции // Восточнославянские языки. Источники для их изучения. М., 1973. С. 228—257; 2) Надстрочные знаки в русской орфографической традиции. «Времена» и «духи» // Источники по истории русского языка. М., 1976. С. 60—74.

<sup>27</sup> Основные источники (в том числе и рукописные) по этому вопросу указаны в кн.: Друж и н и н В. Г. Словесные науки в выговской поморской пустыни. СПб., 1911; ср. также интересное исследование: Успенский Б. А. Архаическая система церковнославянского произношения. М., 1968.

Синтез обеих грамматических традиций, греческой и латинской, отчасти завершился в печатных грамматиках, но не сразу и не окончательно. Лаврентий Зизаний полностью ориентирован на греческую традицию (различие — артикль, отсутствие строго отработанной системы категориальных противопоставлений, размытые определения); Мелетий Смотрицкий, положив в основу своей грамматики латинскую традицию (междометие, а не различие, строгое бинарное разбиение в основе классификации, новая терминология, более строгие грамматические определения морфологических категорий), все-таки не смог еще оторваться и от греческой традиции, например в терминологии (*парадигма*<sup>28</sup> и т. д.). Тем не менее во многих отношениях это — заключительный этап великого противоборства двух классических традиций, этап, снявший с повестки дня полемические выпады против латинского влияния на русскую грамматику. Характерно, что обе стороны, и официальная, и противопоставленная ей демократическая, одинаково отталкивались от латинской культуры как враждебной, заимствуя из нее только отдельные элементы. Л. Зизаний, намеренно строивший свою ученость на греческой традиции и явный противник униатства, тем не менее подвергся сомнениям в чистоте веры, возникали предположения о его «латынстве».<sup>29</sup>

### 3. Завершение средневековой традиции: обобщающие грамматики

Таким образом, четвертым динамическим противоречием в развитии грамматических идей в средневековой России стало противопоставление первых печатных грамматик всей предшествующей им грамматической литературе. Ниже мы подробнее рассмотрим суть этой противопоставленности древнерусской (синкретичной по содержанию и вместе с тем распыленной по сочинениям разного жанра и рода) грамматической учености новым, современным, собственно грамматическим трудам, впервые получившим авторитетный статус грамматики литературного языка (а не суммы разрозненных сведений о языке вообще, как в старых переводах и компиляциях). Значение книгопечатания заключалось, между прочим, и в последовательной кристаллизации грамматических знаний в законченную научную дисциплину. Эта кристаллизация проходила в несколько этапов, внешними вехами которых стало последовательное возникновение разных грамматических трудов. Сначала напечатана «Кграма-

---

<sup>28</sup> Поскольку к этому времени изменился уже смысл самого понятия «парадигма»: в греческом языке *παράδειγμα* 'пример, образец', так и понималась «парадигма» в средневековых грамматиках (см.: Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. С. 7, 11—12).

<sup>29</sup> См. протокол заседания: Заседание в книжной палате 18 февраля 1627 г. по поводу исправлений катехизиса Лаврентия Зизания // Памятники древней письменности, т. XVII. СПб., 1878 (по рукописи конца XVII в.). Грамматика Зизания переиздана фототипически: Грамматика словенска, совершенного искусства осмичастий слова. Киев, 1980 (издание и комментарии В. В. Нимчука).

тыка славенска языка с газофилакии славнаго града Острога. . .» (Вильна, 1586 г., в типографии Мамоничей), представляющая собою свод грамматических сведений о том типе церковнославянского языка, на котором была создана Острожская библия 1581 года. Теоретической основой его является грамматическая система грамматики Псевдодамаскина. Впоследствии эту древнейшую печатную грамматику и текст Острожской библии И. Добровский положил в основу своего изучения древнего церковнославянского языка.

Несколько раньше (Львов, 1574 г.) была напечатана первая русская азбука первопечатника Ивана Федорова, также ориентированная на традиции Псевдодамаскина, но с попытками ввести разговорные формы в парадигмы (ср. форму 1-го лица множ. числа на *-мо; ширимо, шедримо*, и т. д.; сложное будущее: *бити мя имут*; акцентовак глагольных форм уже отличается от церковнославянской, приближаясь к разговорным ударениям, и т. д.).<sup>30</sup>

Сразу же были замечены недостатки этих трудов, в 1588 г. началась работа, а в 1591 г. она закончилась выпуском во Львове переведенной с греческого языка книги *Ἐὶ Ἀδελφοῦς* («Братство») грамматика доброглаголиваго еллинословенского языка, совершенного искусства осми частей слова». Также связанная с греческой традицией, но уже в современном ее западном варианте, эта грамматика в основном служила для изучения греческого языка. Известны и другие, сокращенные или компилятивные труды того же времени. Например, между изданием Адельфотеса и грамматики Л. Зизания была еще «Наука ку читанню и разумѣнию писма словенского. . .» (Вильнюс, 1596 г.). Все это указывает на настоятельную потребность в авторитетном руководстве по славянской грамматике.

Попыткой описать грамматическую систему современного ему «русско-славянского» языка стала «Грамматика словенския» Лаврентия Зизания (1596 г.); по традиции школьного обучения пособие составлено в форме вопросов и ответов, с приложением словаря. По существу это переработка на славянский материал грамматики Адельфотес. Полностью или в извлечениях это сочинение распространилось в списках XVII—XVIII вв., особенно среди старообрядцев, которые не приняли «новой sprawy» митрополита Никона и, следовательно, легшей в ее основу грамматики Мелетия Смотрицкого.

Грамматика самого Смотрицкого вышла в 1619 г. (г. Евью около Вильно): «Грамматика словенския правилное синтагма».<sup>31</sup> На протяжении XVII в. она неоднократно переиздавалась полностью или в сокращениях (Москва, 1648 г.; СПб., 1721 г.; Новгород, 1723 г.), а также в извлечениях как учебное пособие, ср.: «Грамматика albo

<sup>30</sup> Фототипически переиздан с комментариями В. В. Нимчука, см.: Буквар Ивана Федорова. Киев, 1975; из других научных изданий интересным является: Jakobson R. Ivan Fedorov's Primer of 1574 // Harvard Library Bulletin. IX, 1. Cambridge, 1955. P. 3—45, и листы с фототипическим воспроизведением текста.

<sup>31</sup> Фототипически и с комментариями переиздана В. В. Нимчуком: Грамматика славенския правилное синтагма. Киев, 1979. Есть и зарубежные издания.

сложение писмена хотящимъся учити словенскаго языка младолѣтнѣмъ отрочатомъ» (Вильна, 1621 г.), «Грамматика или писменница языка словенского тщателемъ въкратцѣ издана» (Кременец, 1638 г.) и т. д. Грамматика М. Смотрицкого, впитавшая в себя грамматические достижения и открытия предшествующих сочинений (из которых важнейшими, несомненно, были открытия, сделанные при переводе грамматики Доната), оказала большое влияние на становление норм нового («русского») церковнославянского языка и внесла важный вклад в дальнейшее развитие грамматических знаний в России. Дольше, чем какая-либо другая грамматика, по существу до появления Грамматики М. В. Ломоносова в середине XVIII в., она была авторитетным грамматическим пособием.

Мелетий Смотрицкий отнесся к своей задаче как синхронист, тщательно описывающий систему — канон литературного языка своего времени. Руководствуясь практическими целями обучения, за теоретический образец он взял греческую грамматику Ласкариса (первое издание в Милане 1476 г., она же лежит в основе перевода Адельфотеса), а в качестве иллюстраций использованы примеры из новых церковнославянских изданий. Благодаря такому соединению источников в грамматике, с одной стороны, находим несвойственные славянскому языку категории и формы (например, *причастодетие* — отглагольное прилагательное, различение форм инфинитива по временам, и т. д.), а с другой — обилие вариантных форм: наряду с церковнославянскими употреблены также и народно-разговорные (например, в форме род. падежа множ. числа *другъ* и *друговъ*, в форме местн. падежа множ. числа *мѣстѣхъ* и *мѣстехъ*, и т. д.).

Грамматикой Смотрицкого пользовались справщики и печатники XVII в., тем самым эта грамматика и оказала большое воздействие на формирование новой церковнославянской нормы. Сам автор и ставил перед собою задачу «ку понятью языка чистости», т. е. нормировал «чистый» в его представлении церковнославянский язык православных изданий. Это связано было с задачами культурной и политической борьбы восточных славян после создания унии (1586 г.), против засилия католицизма. Объективно эта грамматика своей всеобщностью как бы объединяла всех восточных славян в единое целое по важному культурному признаку — общности литературного языка. М. Смотрицкий исходил из потребностей письменного языка, но особое значение придавал уже не графике, как это было в XV в., а орфографии, интуитивно определяя важность морфологического принципа письма (впоследствии развит Ломоносовым — Гротом и стал основным принципом современной русской орфографии). Нормализаторские устремления автора приводят также к смешению лексико-стилистических средств языка с собственно грамматическими категориями (см. ниже на примере глагола).

Основное значение указанных печатных грамматик заключалось в теоретическом осмыслении глубокой противоположности между церковнославянским (литературным) языком, общим для всех восточных славян, и различными для русских, украинцев и белорусов народно-разговорными языками, которые использовались в деловом

производстве. Нормализация церковнославянского языка поставила на очередь проблему нормализации и восточнославянских национальных языков как языков литературных.

Однако самым важным результатом появления на русской почве всех рассмотренных грамматических трудов и идей, в них изложенных, благодаря внутренней противоречивости, которая возникала вследствие их совмещения друг с другом в новой культурной среде, явилось последовательное и неуклонное соединение всех прежде разрозненных грамматических сведений в общую, по мере возможностей цельную, основанную на реальном и хорошо знакомом языковом материале грамматическую систему «восточнославянского варианта» литературного языка. В соответствии с общим уровнем тогдашней науки общетеоретические положения непременно облекались в определенную национальную форму собственного языка; общего языкознания как научного знания тогда еще не могло и быть.

Исходным конфликтом Нового времени, таким образом, явилось противоречие между церковнославянским языком восточнославянской версии и народно-разговорными языками нового времени, уже свободными от тех архаических форм и категорий, которые регламентировались в церковнославянском каноне. Первый из них обслуживал ограниченный (хотя и функционально важный) объем литературы, ориентированный на письменную норму и связанный с начетническим отношением к грамматике (интерес в основном к графике и орфографии). Однако важно, что этот язык уже получил идеал нормы. Русский разговорный язык также развился до такой степени, что стали вполне определенно вырисовываться его отличия от других славянских языков, и многочисленные азбуковники XVII в. постоянно указывают на обилие славянских языков, пытаются сравнением отделить от них русский язык. В новых грамматиках на первое место выступали семантика и наличные стилистические средства литературного языка, на который совершают переводы Писания и практикуется переиздание канонических книг. Так проблема литературного языка отслаивается от проблемы грамматических форм и категорий, связанных с языком вообще. Можно сказать, что все многочисленные богословские споры средних веков, так сказать — «грамматического типа», вертелись вокруг этой дилеммы (категориальное или стилистическое различие является основным, определяющим), пока не возник новый тип церковнославянского языка как литературный язык законченного культурного цикла. Богословская проблематика определялась уровнем грамматических знаний своего времени, и наоборот. Именно потребности практической деятельности до времени сохраняли синкретизм лексического, грамматического, стилистического и экзегетического подходов к изучению слова как факта языка, ведя, в свою очередь, к синкретизму жанра грамматической литературы (азбуковники разного типа) и длительному существованию грамматических терминов, синкретичных по значению. Преодолеть эту традицию в рамках средневековой науки можно было только одним способом: вводя в научную традицию старого жанра внешне сходные, но принципиально отличные от прежней

системы понятия и обозначения уже узко грамматического и в широком смысле — лингвистического характера. Эту роль и исполняли последовательно труды Константина Костенеческого (отталкиваясь от подобных трудов, на русской почве стали создаваться первые лексикографические своды, и тем самым была выделена проблема лексикологического характера), затем переводы с латинского языка грамматики, логики, риторики, поэтики (в результате на основе сравнения наличных в них фактов языка из исходного синкретизма грамматического знания были устранены проблемы, не имеющие к грамматике отношения); наконец, созданием литературного языка были устранены последние остатки синкретизма, поскольку стилистика стала лингвистической категорией, никак не связанной с богословскими толкованиями текста. Вычленение грамматического ряда постоянно усекало, ограничивало богословскую содержательность науки, но каждое новое ограничение богословия в пользу грамматики нуждалось в каком-то внешнем толчке для кристаллизации новых понятий.

Каждый новый этап развития грамматических сведений сопровождался моментом реакции на него. В XVII в. реакцией на появление печатных грамматик оказалась деятельность старообрядцев. В целом они продолжали прогрессивную линию развития средневековой филологии: с устойчивым интересом к звучащей речи, с четким противопоставлением народно-разговорной речи церковнославянскому языку нового времени, с последовательной разработкой всех уровней языковой системы и т. д. Известны грамматические сочинения братьев Денисовых (начало XVIII в.) и других вождей раскола. Однако социальная и религиозная позиции старообрядцев накладывали свой отпечаток на разработку грамматических идей, а их ориентация на прошлое законсервировала тот уровень развития науки, который сложился к середине XVII в. Это дало нежелательный результат, замкнуло цепь развития грамматических знаний собственно русского происхождения и пресекло ту прогрессивную линию средневековой русской филологии, которая под воздействием реформаторов начала XVI в. становилась динамическим стержнем развития науки в эпоху несостоявшегося «русского Предвозрождения». Старообрядцы дали много талантливых практиков (владения языком, создания текстов, критики текстов и т. д.), однако среди них не было теоретиков, способных поставить новые задачи, они и не нуждались в новых горизонтах, тем более — научных. В этом — трагизм национальной линии развития грамматических учений в России конца XVII в.

Итак, созданием грамматики Мелетия Смотрицкого завершились все линии средневекового развития восточнославянской филологии. Синтагмы текста разложены на парадигмы языка, и образцом («парадигмой») становится не контекст, а самостоятельная единица языка — слово в его грамматических формах (в последовательности выявления: текст > предложение > слово).

Тем не менее в эпоху Средневековья не просто существовал некий синкретизм научного знания о языке — все такие сведения не были

собраны воедино согласно своему общему объекту, не являлись еще предметом самостоятельного изучения категории «язык». Они были связаны с различными сторонами интеллектуальной деятельности как форма и материал воплощения известных идей и как реальное проявление абстрактных, иначе не постигаемых философских категорий, логических законов и правильной речи. В те времена только язык как материя мысли и основа мышления мог стать субститутлом любой науки абстрактного уровня. Наука Нового времени последовательными снятиями неорганичных для языка функций разрушила исходный синкретизм языкознания и вместе с тем собрала воедино все сведения о языке, распыленные по смежным областям знания, т. е. преодолела античную традицию в понимании языка. Внелингвистические факторы приводят в конце XVII в. к постепенному созданию полного корпуса грамматики в современном смысле слова, хотя в соответствии с той же античной традицией это — еще частная грамматика одного языка. Все этапы развития грамматической мысли вообще, как мы видели, связаны с социальной, политической и культурной ситуацией своего времени и с уровнем развития науки. В этом смысле важно пересмотреть и личные заслуги отдельных представителей научного знания. Ведущей всегда оказывается прогрессивная линия развития, хотя именно она всегда остается как бы в подтексте реальной политической борьбы, «шум времени» загасил голоса действительных героев, о которых мы не знаем даже основного, выдвинул на передний план их оппонентов, обладавших реальной властью — и все это сказалось печальным образом, особенно в эпоху до появления книгопечатания. С другой стороны, развитие грамматических идей идет по линии сближения смежных знаний на новых основаниях: грамматические сведения, разбросанные в грамматике, логике, риторике, диалектике и т. д., концентрируются вокруг изучения грамматики родного языка. На протяжении XVII в. языковые формы грамматики и философские категории диалектики сошлись и дали начало новой научной дисциплине — языкознанию.<sup>32</sup>

#### 4. Развитие грамматических категорий и понятий

На рассмотренных источниках вполне определенно выясняется также последовательное развитие грамматических категорий и понятия о них.

Толчком к сближению грамматики и философии явился перевод в начале XVI в. книги мастера Александра, в рукописях следующей за грамматикой Доната: «Правила или уставы граматичные меншие»,

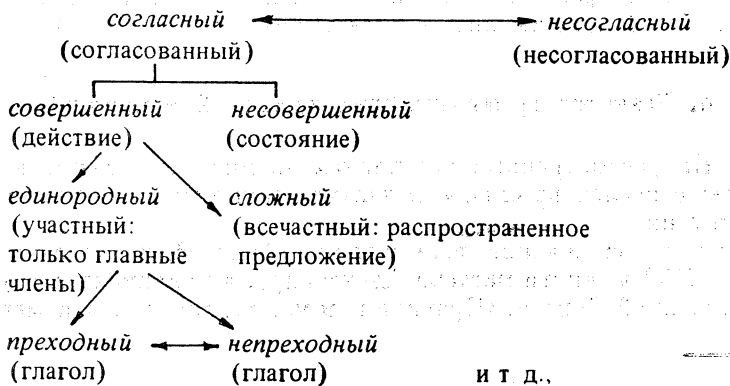
---

<sup>32</sup> После завершения работы над очерком вышли исследования, дополняющие наши сведения о средневековых грамматиках, см.: Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985; Мечковская Н. Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. Общие сведения о Мелетий Смотрицком см.: Яременко П. К. Мелетій Смотрицькій. Життя і творчість. Київ, 1986.

а также и другое сочинение синтаксического содержания «О уряженяхъ или о устроениихъ конъструксис урядъ», видимо, переводное.

В первом из них дается 20 правил сочетания слов в предложении, во втором кроме правил словосочетания даются также правила употребления падежных форм. По существу это и есть «третья книга синтаксисъ», предшествующая просодии как четвертой части грамматики. Именно отсюда средневековый читатель почерпнул правила согласования и управления, получил сведения об однородных членах предложения, о глаголах переходных (*чту книгу*) и непереходных: ср. указание на то, что два имени согласуются в роде, числе и падеже (*бѣлъ ночь*) — с имплицитным выделением двух типов имен, еще не различаемых парадигматически. Однородные сказуемые согласуются в «роде» и числе, но не в лице и «падеже» (*здѣ вижу человѣка, его же люблю*), имя и глагол согласуются в числе и «лице», а также в «правости падений», ср. *учитель чтетъ*, и т. д. Видно, что на синтаксическом уровне морфологические категории рода, числа, падежа, лица и др. не дифференцируются столь четко, как в «грамматике», их соотносят и с теми частями речи, для которых они не характерны, ср. *род* для глагола в форме настоящего времени, *лицо* для имени, *падеж* для глагола и т. д. Синтаксическое описание пользуется морфологической категорией как знаком различия, не соотносясь с ее категориальным значением, по принципу смежности грамматических форм в тексте. Развитие грамматического значения, как можно видеть на данном примере, заключалось и в постепенном совмещении морфологического значения с синтаксической функцией начиная с грамматики Смотрицкого, в которой синтаксис впервые представлен как развернутый и вполне самостоятельный раздел грамматики.

Не менее важно и второе сочинение, в котором сделаны попытки классификации типов предложения, и притом на основе бинарных противопоставлений. Ср. начало этой классификации:



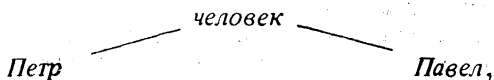
с последующим делением на *подложные* (*Сократъ и Платонъ — однородные члены с союзом*) и *предложные* (*Павелъ. . . творить всегда богу благодарение за ны*). Типы сочетаний и предложений, состав членов предложения, грамматические характеристики послед-



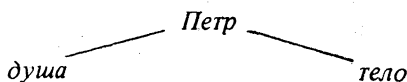
них — все это дается здесь в единой логической цепи, но без грамматической дифференциации. Всякая грамматическая форма понимается по ее позиции в тексте, т. е. синтаксически. Парадигмы еще нет, но это — своеобразный материал для последующего грамматического осмысления, хотя до законченности и цельности грамматического учения еще далеко. Во многом это определяется источником, с которого переведено руководство; некоторые примеры, взятые из славянского языка по типу латинских, затрудняют понимание текста.

Представить себе общую сумму грамматических знаний эпохи Средневековья без привлечения руководств по диалектике, логике, риторике, поэтике и даже богословия совершенно невозможно. Мнение о неразвитости и убогости грамматической науки в те времена и рождается от того, что историки языкознания ограничивают свои выводы анализом *грамматики меньшей* — а это все равно, что судить о современной нам науке по учебникам для начальной школы. В приписках к рукописям часто можно найти прямое смешение всех частей тогдашнего грамматического знания, например смешение диалектики (философии) и грамматики в рукописи, написанной в Ярославле в 1688 г. (ГИМ, Уваровское собр., 220): «Книга, глаголемая философия (т. е. Диалектика Дамаскина) сирѣчь осмочастная (т. е. Грамматика Псевдодамаскина), аще хоцещи мудрѣ быти, то держися Дамаскиновы книги и будещи великѣ богословець. . . и естество-словецъ» (богословие и наука в их изложении (= *словецъ*) одинаково совмещаются в грамматике (*осмочастная*) — вот смысл этого призыва к «внешней мудрости» *естествознания*).

Рассмотрим для примера некоторые грамматические понятия Диалектики. Тут, например, говорится о *разделении существъ* на роды и виды. Логическое членение и классификация используют терминологию, известную также и грамматике, отсюда известная путаница в определениях (в частности, рода у имен и вида у глаголов); зависимость от греческого оригинала дополнительно запутывала дело. Бинарное разбиение существ на роды и виды приведено выше, оно завершается оппозицией



а *Петр* и *Павел* — «несекомые, рекше составы», т. е. неделимые далее признаки, если не принимать во внимание новой классификационной линии типа



На основе бинарных оппозиций строится также категория количества, затем — качества, и т. д., ср. еще оппозиции «сильное — бессильное», «активное — страдательное (пассивное)».

На примере категории качества интересно проследить, каким образом постепенно семантическая категория проникает в грамма-

тические представления и облекается в языковую форму, сначала лексически, а затем и грамматически. В Диалектике качество понимается грамматически: «Качество есть по ему же отъ нихъ именѣ причащаются, тѣхъ имени глаголются: отъ м у д р о с т и бо *мудръ* глаголется. . .» (качество — это то, что характеризует соответствующие имена и по ним называется: например, от мудрости называется мудрым. . . от бѣлости — белым и т. д.). По существу перед нами семантическое определение прилагательного через имя существительное. Однако грамматическое определение не охватывает полностью философской категории, поэтому дальше следует уточнение: «бѣлость сквозь все млеко и снѣгъ», т. е. белизна является постоянным качеством молока и снега, их с у щ н о с т ь ю — на этом сравнении строится и образная система древнеславянских текстов с постоянным эпитетом-сравнением *бѣль яко млеко*, *бѣль яко снѣгъ*. Подобное качество воспринимается конкретно чувственно и в поэтический текст переходит на правах штампа.

Лингвистически это качество выражено лексическим или словообразовательным средством, т. е. опять-таки именем существительным: *бѣлость* как *бѣль*. Происходит дифференциация типов качества, например, о белизне говорится «яко еже не еще убѣлено, но ныне бѣлимое» (ибо которое еще не убелено, но только сейчас подвергается белиeniu); причастными (т. е. новыми еще для грамматических понятий) формами утверждается становление качества: «яко же обѣленная одежда глаголется бѣла». Это качество вводится в определение и чисто синтаксическим способом: «се бѣло равно есть сему бѣлому, не яко же качество глаголется равно быти» — с противопоставлением краткого прилагательного в составе сказуемого полному прилагательному как определению известного признака. Наконец, качество может развиваться (что представлено глагольной формой: *бѣлити*) или даже замыкаться само в себе, с грамматической точки зрения давая противопоставления по залогу (*бѣлити* и *бѣлитися*), причем, естественно, «страстное качество (страдательного залога) неудобъ движно есть» (т. е. в предложении не изменяется, не переходит на объект действия).

Таким образом, с одной стороны, философская категория (в данном случае — категория качества) уже соотносится с грамматическими понятиями, с другой же — еще растворена в различных языковых проявлениях, отражается различными формами. Тем не менее исходное определение качества через прилагательное (именно прилагательным при фактическом отсутствии прилагательных в грамматическом перечне частей речи) уже найдено, постоянно присутствует в сознании средневекового книжника, и, направляемое таким категориальным осознанием качества, конкретная форма имени — прилагательное со временем окончательно осознается как самостоятельная часть речи. Сначала в общем перечне имен будет даваться особая парадигма склонения имен прилагательных, т. е. определится формальная основа этой части речи (в ранних переводных грамматиках — конца XVI в.), а затем произойдет совмещение семантической (философской, категориальной) основы с его формальным (грамматическим)

субстратом (в грамматике Смотрицкого). Так же и тем же путем вычленилась и категория числительных. Уже Л. Зизаний дает особую парадигму склонения имен числительных, но категориального выделения этой части речи в XVII в. еще нет. В азбуковниках и в других лингвистических сочинениях конца XVII в. разделение имен на существительные, прилагательные и числительные проводится как хорошо известное и понятное.<sup>33</sup>

Во многом категориальное мышление Диалектики опережает чисто формальные, эмпирически накапливаемые, познаваемые через конкретный язык грамматические классификации. Это мышление наднационально, отражает ступки античной культуры (восходит к трудам Аристотеля); реализуясь в формах родного языка через грамматику, оно становится фактом речемысли и со временем осознается как единство формы и содержания (т. е. как категория языка). Например, в Диалектике определенно говорится только о трех временах глагола (настоящее, прошедшее, будущее), тогда как вплоть до А. Х. Востокова в начале XIX в. грамматисты так или иначе говорят о многочисленных глагольных формах грамматического времени, многие из которых архаичны и в живом языке уже не используются. Теоретические основы нового членения лингвистического текста возникали первоначально как философский (семантический) подтекст и в дальнейшем только направляли развитие собственно грамматических определений. Формы текста собирались вокруг логической категории и порождали парадигмы языка. Было бы интересно изучить вопрос, насколько важной была в данном процессе совмещения формально-лингвистических и категориально-философских элементов структура самого развита в языке. Интересно, что полностью они смогли совпасть (и их осознали как единство) лишь после того, как была осознана роль и определено значение разговорного языка, его отличия от архаических форм церковнославянского языка: родной язык как язык действия точнее всего способствовал развитию новых представлений о системе грамматических категорий.

Некоторые категории в Диалектике, напротив, понимались значительно уже, чем в грамматике. Так, категория движения характеризуется лишь глаголами, причем семантически ограниченной их группой. В Диалектике содержалось и много устаревших представлений, уже не соответствовавших уровню развития русского языка в XVI—XVII вв. Необходимо было преодолеть эти недостатки, но грамматисты XVII в. не всегда с этим справлялись, поскольку они-то ориентировались как раз на архаичный церковнославянский язык, исключительным преимуществом которого было то, что он представлял собою законченную в своих изменениях систему, обслуживав узкий круг жанров и стилистически был однородным — поэтому именно на нем и можно было построить первую, полного типа, грамматику.

---

<sup>33</sup> См.: «О исправлении в прежде печатаныхъ книгахъ минеяхъ», 1691 г. // Памятники древней письменности. СПб., 1896. С. Т. 115. 72.

Например, в Диалектике приводится подробное обоснование числа «два» в категории количества (по Аристотелю): «Количество есть собрание единиц, единицу же не рѣша количеством, но начало количества. Единица убо и единица сошедшиеся бывают два»; Знаний и понимает количество как ч и с л и т е л ь н о е имя, причем единица — точка отсчета, в частности для неисчисляемых имен.  $1+1=2$ , и «два», с одной стороны, единица, с другой же — уже множество. В развернутом определении показана роль двойки: невозможно единице противопоставить сразу множество («не бо мощно единому многу быти сопротивну»), должно быть третье (условное) число, в котором это противопоставление могло бы нейтрализоваться. Вот причина теоретического характера, объясняющая, почему грамматическая категория двойственного числа осталась и в грамматике М. Смотрицкого, и в новом церковнославянском языке. Однако внимательный анализ показывает, что приведенное объяснение носит вовсе не грамматический, а скорее стилистический характер, поскольку оно основано не на присущей Диалектике бинарности, а на тернарном принципе с обязательным выделением нейтрального члена градуального ряда.

Приведенных примеров достаточно, чтобы показать взаимное влияние формальных и категориальных свойств в выявлении грамматических единиц и классов. Аналогичный материал давали категории, представленные в Логике и в Риторике, особенно ценны в этом отношении материалы Риторике, поскольку в ней, как и в Поэтике, разработаны были некоторые стилистические категории языка, например понятие *колонна* (в тексте выделяется двоеточием), — очень важная стилистико-ритмическая единица древнего текста. В главе «О приличном положении речений и сказаний» выражена идея об обязательном наличии трех степеней стилистических средств, в том числе и синонимов (*глаголомъ*), ср.: *смирное* (*простымъ глаголомъ*) — *среднее* (*жѣрным глаголомъ*) — *высокое*. Это указание стало основополагающим в дальнейшей разработке норм литературного русского языка.

Развитие существенно грамматических знаний в указанном аспекте происходило следующим образом. Началось попарное сближение первоначально противоположных для осознания средневекового книжника учений и соответственно материала, ими обсуждаемого. В XVI в. (греческая) Диалектика Дамаскина и вновь переведенная (с латинского языка) Логика противопоставлены друг другу по принципу противопоставленности источников и культур, хотя обе в конечном счете восходят к Логике Аристотеля. За чтение Логике карали смертью, Диалектику же старательно переписывали. В рукописях XVII в. появляются уже контаминации «греческой» диалектики и «латинской» логики, ср. указания рукописей типа: «Отъ другия Диалектики (не Иоанна Дамаскина!) Иона Спакинбергера о силогизмѣ вытолковано» (ГИМ, Уваровское собр., 219, л. 116 — речь идет о логических категориях); возникает контаминация и в заглавиях списков, ср. «Иоанна Дамаскина Диалектика албо логика» (ГБЛ, ф. 256, № 193, л. 286); прежде именно Диалектика считалась «от бога

свободная мудрость и мудрогласного естества и многорассудного разумѣния корень и виновница» (БАН, 33.4.6, л. 5), она «начало всякия хитрости (науки). . . всякия словесныя хитрость: грамматикія, риторикія и сицева (прочее), философия же паки есть любление премудрости, премудрость же истина» (там же, л. 146—15); но в том же тексте Диалектики по севернорусскому списку XVII в. (ИРЛИ, оп. 24, № 111, л. 57) уже определено возглашено, что «грамматикія разумъ есть, граматикъ же существо, въ немъ же разумъ».

В свою очередь Пиитика совмещается либо с Богословием (ср. частые надписания: «Словесница — Аристотелева Богословия, Платонова Пиитика многихъ философовъ слова»), либо (чаще) с Риторикой: Грамматика (*о осьмихъ частехъ слова*) теперь пересекается с философией (т. е. с диалектикой), противопоставляясь богословию (см. приведенную выше запись из рукописи 1688 г.). Последовательное совмещение указанных разделов средневекового знания привело к переосмыслению с о д е р ж а н и я этих областей знания в пользу собственно лингвистического состава сборников — азбуковников разного состава. Для нас важно отметить, что все сведения о языке, извлеченные из грамматики (орфография, просодия, этимология в значении морфологии), диалектики (морфологические категории), риторики (стилистика и орфоэпия), поэтики (орфоэпия и пунктуация), логики (синтаксис и стилистика), постоянно выписывались в сборниках текучего состава — азбуковниках, что постепенно привело к сложению совмещенных по общему предмету изложения грамматических сборников. Эти сборники стали своеобразным конспектом для последующих грамматических сочинений на Руси.

## **5. Развитие грамматической терминологии, грамматических определений и понятий о языке**

Поскольку грамматические сведения о языке включались не только в изложение перечисленных выше трудов по гуманитарной отрасли знания, но входили в качестве составной части и в технический аппарат изложения, продолжая традицию, то многие грамматические сведения оказались в текстах грамматик не выраженными явным образом. Вдобавок многие из них представляли собою руководства для начального образования и не могли включить в себя весь корпус грамматических сведений, известных всем по традиционному преданию, на сегодня уже нам не понятных. Некоторые источники, особенно ранние, дошли до нас в неполном виде; ошибки и искажения переписчиков также привели к утрате некоторых подробностей, и теперь нам трудно представить в полном виде совокупную систему грамматических представлений русского Средневековья. Все это приводит к необходимости систематического изучения терминологии, определений и понятий средневековой грамматики, с тем чтобы возможно точнее установить общий уровень грамматических знаний того времени, проследить их развитие во времени и степень зависимости от иноземных воздействий.

Отсутствие отработанной лингвистической терминологии соответствует уровню развития науки в Средние века. Многие понятия воспринимались еще крайне расплывчато, грамматические категории осознавались в синкретизме основных их значений. Выделение отдельных лингвистических единиц часто производилось по случайным, внешним признакам, усилило конкретно-чувственный характер, что косвенным образом указывает на полное отсутствие абстрактных, научных, собственно лингвистических представлений об объекте языкознания. Одни и те же определения различались в грамматике и в логике, эти источники были разного происхождения и притом часто переводились не на Руси. Поэтому терминология оказалась не выдержанной последовательно, она еще не устоялась. Широко представлены термины-дублиеты, ср. *видѣ* и *падение у различий* (артикле), *падежь* и *падение у имен, образъ* и *лица* у глаголов, и т. д. Вдобавок это скорее метафоры, чем научные термины, — они основаны на переносном значении слов и представляют собою кальку с греческих терминов. Не отработаны понятия, связанные с основными глагольными категориями (залог, время, наклонение), потому что компиляция «О осмихъ частехъ слова» составлена в то время, когда южнославянский книжник, переводивший греческий текст, мог еще соотнести греческие категории языка с архаическими формами своего родного языка, особенно в его церковнославянском варианте; мог еще, например, соотнести *мимошедшее* с имперфектом, *минувшее* с аористом, *предбывшее* с перфектом. Но точного соответствия греческой системе времен мы все же не находим, да и сам славянин в XIV в. не мог обнаружить такого соответствия, не мог буквально «перевести» и систему грамматических определений. Компилятивный характер сочинения, а вовсе не его зависимость от греческого источника объясняет неопределенность и неустойчивость его терминологии. Однако, став авторитетным руководством, оно оказало влияние на последующее развитие грамматической мысли, став своеобразным источником терминологии и образовав терминологическое варьирование. Можно сказать, что первым толчком к развитию грамматических идей на Руси и послужили внутренне противоречивые номинации исходного грамматического труда: за словом средневековый книжник видел одновременно и определение, и понятие, и образ, и задача заключалась в том, чтобы впоследствии расслоить это синкретическое представление об объекте.

Последовательное описание грамматической системы терминологии — дело будущего. Здесь мы показываем только основные направления научного поиска в средневековой грамматической науке (см. таблицу 1).

Из сравнения видно, что греческая традиция, представленная сочинениями Максима Грека, впоследствии была положена в основу печатных грамматик. Система терминов, выработанная в XVI в. на Руси (в том числе и на основе перевода Доната), не привилась как с и с т е м а, но некоторые кальки и оригинальные образования, особенно (и прежде всего) в фонетических определениях, оказались приемлемыми, ср. термин *слог*, а не *склад*, *долгота*, а не *время*,

## Варьирование некоторых терминов в грамматических сочинениях XVI—XVII вв. на Руси

буквы, а не письма, и т. д. Конкурентность дублетов давала возможность для совершенствования терминологии с содержательной точки зрения, а по понятиям средневековой науки в том и заключался смысл научного исследования вообще.

Основными путями в формировании научной терминологии оказывались следующие три.

Во-первых, отрабатывали словообразовательные структуры, пригодные для терминоворчества, ср. *гласъ* — *гласная* — *гласовная* 'гласный звук', *рѣчь* — *рѣчение* и т. д. В других терминологических ценях происходило уодноображение по словообразовательному признаку. Ср. название падежей (с вариациями) вплоть до грамматики М. Смотрицкого: *именный, родный, виновный, дательный, творительный, звательный*. М. Смотрицкий видоизменяет первые три термина, приводя их к общему словообразовательному принципу: *именительный, родительный, винительный*, впервые добавляется еще и *сказательный* (современный предложный падеж, указанный еще М. Греком). После московского издания грамматики 1648 г. эти термины вошли в общую практику и сохранились до нашего времени. М. Смотрицкий предлагал аналогичный принцип номинации и для образования других терминов, ср. залог *действительный* (вместо *делаемый, делательный*), имя *нарицательное* (вместо *непредельное, необавное*), степени сравнения прилагательных *положительная, рассудительная, превосходительная* (у П. Зизания вместо них еще *положенная, рассудная, превышшая*). Большинство этих терминов закрепились.

Дело не просто в общей словообразовательной модели этих сложений, а в том пронизательно понятом значении самого термина, который выдает уже сознательное отношение автора

| Термин     | Лаодикийское послание                          | М. Грек                                     | Написание о грамоте                                     | Книга Буквы                             | Донат                  | Л. Зизаний                     | М. Смотрицкий                  |
|------------|--|---|---|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| гласный    |  |   |   |   |                        |                                |                                |
| согласный  |  |   |   |   |                        |                                |                                |
| слог       | звательная<br>полузвательная<br>складь; слогуь | гласовная<br>согласная<br>складь<br>рѣчение | звательная<br>полузвательная<br>слогуь. слогиия<br>рѣчь | звательная<br>полузвательная<br>слогиия | —<br>—<br>—<br>вѣщание | гласная<br>согласная<br>слогуь | гласная<br>согласная<br>слогуь |
| сочетание  | —  | слово                                       | —   | —                                       | —                      | —                              | рѣчение<br>слово               |
| просодия   | —  | просодия                                    | вымолвные   | буквы                                   | —                      | пригѣло                        | просодия                       |
| ударение   | —  | силы  | силы  | —                                       | —                      | силы                           | ударение                       |
| долгота    | —  | времена                                     | долгота   | —                                       | —                      | времена                        | мѣра                           |
| придыхания | —  | духи, псими                                 | —   | —                                       | —                      | кроткая                        | тонкая                         |

к предмету описания. Вместо разношерстных, собранных поколениями книжников, во многом случайных и всегда сложных, часто непонятных терминов-образов с общим конкретно страдательным значением, связанным с семантикой суффикса (от причастного: *нарицаемое*, *необавное*, *положенное* и др.) появляются термины-понятия, строгая система обозначений с указанием на их активный, деятельный и, следовательно, объективный характер (суффикс *-тель* в составе термина обозначает производителя действия); ср. также введение терминов для обозначения неопределенного наклонения, собственного имени и т. д. для категорий, не имеющих общего значения деятельности. В этом мало-заметном факте словообразовательной организации терминов кроется событие величайшей важности: грамматическая категория осознана как реально существующая, представленная не в конкретном слове, *нарицаемом* или *обавном*, а абстрактно, над всеми словами, которые она может видоизменять по форме согласно неким общим принципам. Строгость системы обозначений оттеняется тем фактом, что для передачи других грамматических понятий, например для обозначения формоизменения, грамматических характеристик некатегориального значения, Смотрицкий последовательно использует другой, также абстрактного значения суффикс с общей семантикой отвлеченного действия: *-ние*, ср. *спряжение* (вместо *супружество*), также *склонение*, затем *ударение* (вместо *силы*), *уравнение* (вместо *рассуждения* 'степени сравнения'), *рбчение* (вместо *рбчь* 'слово'), то же касается и новых частей речи, ср. *местоимение*, *междометие*, хотя Смотрицкий не покушается на сложившиеся термины типа *имя*, *предлог* (не *имение*, *предложение* — возникла бы нежелательная омонимия к другим терминам).

Второй путь связан с конкуренцией дублетов, возникших на почве различных переводов, а также и на синонимах разговорного языка, ср. *звательный* — *гласовный*, *склад* — *слог*, *просодия* — *припѣло*, *силы* — *ударение*, *письмя* — *буква* и т. д. (см. и ниже).

Третий путь связан с общим устремлением к терминологической ясности. Метафоричность ряда старых терминов распространялась на категории, иногда диаметрально противоположные по значению. Например, времена употреблялись и при характеристике глагола, и в обозначении количественных противопоставлений слогов и гласных звуков; парадигмы склонения и спряжения имели одинаковое наименование (либо *супружество*, либо *склонение*). Исключение составляют только те явления языка или орфографии, которые являлись искусственными для русского языка. Например, традиционные термины для обозначения придыхательных на начальном гласном в слове (типа 'онó, 'онъ) *псилъ* переводились как *дуги*, *кроткая*, *тонкая*, *сипливая*, *дасия*, *лагодная* и т. д., но ни один из этих терминов не закрепился, и даже в современных грамматиках церковнославянского языка говорят обычно просто о знаках придыхания. Это показывает, что устранение вариантности (а с другой стороны, и многозначности слова) на пути к созданию строгой лингвистической терминологии определилось осознанием грамматических категорий и единиц родного, живого, т. е. в конечном счете реального, языка. В определен-



ном смысле это знаменует выход из общелингвистической проблематики в проблематику лингвистическую по преимуществу.

Сравним общие для ряда частей речи категории в том виде, как они представлены в средневековых грамматиках, начиная с переводов и компиляций XIV в. и вплоть до грамматики М. Смотрицкого (таблица 2).

Т а б л и ц а 2

**Наличие основных грамматических категорий  
в главных частях речи согласно средневековым  
грамматическим трудам**

| Термин             | Часть речи |           |             |     |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-----|
|                    | глагол     | причастие | местоимение | имя |
| <i>род</i>         | +          | +         | +           | +   |
| <i>вид</i>         | +          | +         | +           | +   |
| <i>начертание</i>  | +          | +         | +           | +   |
| <i>число</i>       | +          | +         | +           | +   |
| <i>супружество</i> | +          | +         | +           | +   |
| <i>время</i>       | +          | +         | —           | —   |
| <i>залогъ</i>      | —          | +         | —           | —   |
| <i>лицо</i>        | +          | —         | (+)         | —   |
| <i>падение</i>     | —          | +         | +           | +   |

Переработки коснулись только те обозначения, которые оказались общими для всех классов формоизменения (первые пять). Их обязательное наличие во всех частях речи по существу лишало их различительной силы, выводило из числа различительных признаков, размывало границы в определении категории. Изменения начинаются в грамматике Смотрицкого и в дальнейшем протекают следующим образом.

*Родъ* не представлен в глаголе, исключения касаются только форм прошедшего времени; но пока русская система прошедшего времени еще не вычленилась из абстрактной «славянской» с ее аористами, имперфектами и т. д., говорить о том, что категория рода характеризует только форму прошедшего времени, т. е. специально в глаголе является частной категорией, было нельзя: аорист, например, не дает таких различий по грамматическому роду. Ориентация на церковнославянский язык и Смотрицкого ставила в сложное положение, он еще считал род характеристикой глагола вообще. Однако первый шаг к сужению категориального значения рода у глаголов делает именно Смотрицкий: сопоставляя русскую и церковнославянскую системы прошедших времен, он обращает внимание на то, что в русском языке имеется только *цель*, *чла*, *чли*, и потому определяет прошедшее время на *-лъ* как «существительный глагол», для которого, естественно, важна и характеристика по роду. В целом же можно сказать, что исторически изменялось содержание понятия *родъ*: из исходного логического (род в отношении к виду) и потому

распространяемого на любую часть речи оно превращается в чисто грамматическое.

*Видъ и начертание* также присущи всем четырем главным частям речи. *Виды* у имен (первообразные *небо, земля* и производные *небесный, земной*) не те же, что у глагола, хотя и там они могут быть первообразными (*хощу, глаголю*) и производными (в грамматике Псевдодамаскина — *преводными: восхощу, глаголюваю*). *Виды* местоимений того же типа, что и у имен; *виды* причастий совпадают с *видами* глагола. Легко заметить, что чисто внешний, словообразовательный признак лежит в основе этого деления, увязывающего разные проявления слова (в и ды его) в его общем отношении к классному «роду», о котором уже говорилось. В грамматике Псевдодамаскина эта особенность видов носила еще более конкретный характер, потому что в этой ранней грамматике указывались и словообразующие основы: *п е р в о б ы т н ы е ч е л о в ѣ к*, *д е й с т в е н н ы е к о в а ч ѣ* от *к о в а т и*, повѣстные *о б ѣ щ е н и к ѣ* от *о б ѣ щ е н и е*, рододательные *ш у м я к ѣ* от *ш у м а* ('житель леса' от 'лес') — в греческих источниках подобного деления нет, это собственно славянское включение в указанную компиляцию. И опять-таки Смотрицкий, развивая идеи Адельфотеса и грамматики Зизания, сделал первый шаг к устранению *вида* в этом смысле из системы грамматических отношений. Именные *виды* раскладываются у него по новому категориальному признаку следующего иерархического уровня на две части речи (имена существительные и имена прилагательные): Смотрицкий говорит о прилагательном нарицательном имени в составе имен, определяет его категориальные признаки (степени сравнения и типы прилагательных) и выделяет девять парадигм склонения специально у прилагательных (до этого прилагательные имели лишь одну парадигму в составе совокупных «имен»). Любопытно, что в краткой обработке этой грамматики, изданной Ф. Максимовым в 1723 г., такое деление исключено. Глагольные *виды* Смотрицкий увеличивает начинательным (*каменею*) и учащательным (*читаю*), следовательно, переводит характеристику этой категории в собственно видовую. В перечислении парадигм временная и видовая характеристики даются параллельно, следовательно, глагольная категория *вида* осознана так же, как и категория *времени*, ср. *читаю* — вид учащательный, время настоящее, и т. д. Смотрицкий, таким образом, понял, что видовые противопоставления осуществляются не флексией, а типом основы, и притом не только наличием/отсутствием префикса, но и характером суффикса. Он придал термину *вид* современное значение, неявным образом постулируя также различие в способах глагольного действия.

*Начертания* сохранялись до XVIII в. У глаголов противопоставление простого (*пишу*) и сложного (*переписываю*) совпало у Смотрицкого в синкретичном определении вида и способа действия, но *начертания* у имен не претерпели пока существенных изменений: простое (*слово*), сложное (*благословенъ*) и пресложное (*проблагословенный*).

*Супружества* развиваются на типы склонения и типы спряжений. Причем у Смотрицкого парадигма глагола может еще определяться и как склонение (по флексиям) и как спряжение (*сопряжение* по

корням) — для него это синонимы. Только в издании грамматики 1723 г. глагол последовательно характеризуется спряжением в отличие от именного склонения. Однако именно Смотрицкий четко установил грамматические признаки глагольного спряжения, отказавшись от старого распределения глаголов по основам, и последовательно описал глагольные парадигмы: глаголы первого спряжения определяются по форме 1-го лица (*даю*, *дахъ* — современное первое спряжение), глаголы второго спряжения — по форме 2-го лица (*таиши* — современное второе спряжение).

Интереснее всего обстояло дело с категорией числа. *Число* также присутствует во всех изменяющихся по формам частях речи, но вместе с тем оно может и абстрагироваться, будучи представлено в самостоятельной части речи. Самостоятельную парадигму склонения имен числительных выделяет уже Зизаний, но по традиции он все же оставляет числительные в составе имен. Также делает и Смотрицкий, но он отдает себе отчет в том, что три числа (включая сюда и двойственное) не характерны для разговорного языка: «число есть множества или малости (т. е. единичности) изъявления». Этот бинарный принцип не вошел в определение категории, потому что предметом описания был язык церковнославянский, а для него выделение двойственного числа актуально. Тем не менее намечено отличие между конкретным числом в парадигме (единственное, двойственное и множественное) и абстрактной категорией числа, выделяемого в самостоятельную часть речи, с пронизательной установкой на маркированность множественного числа (множество противопоставлено немножеству).

Так постепенно из первоначально расплывчатых по составу и определениям категорий к XVII в. формируется четкое противопоставление всех четырех частей речи; в максимальном противопоставлении имени глаголу подготавливается выделение еще двух частей речи (прилагательных и числительных), поскольку все яснее становится несоответствие между категориальными значениями разных типов имен.

Уточняются и определения остальных категорий. Особенно четко разрабатывается категория времени у глагола; всего представлено шесть времен, поскольку простое будущее и сложное будущее описаны как самостоятельные формы времени, в системе же прошедших времен сделана попытка и сохранить значение перфектности, и вместе с тем передать осознаваемые уже видовые различия, ср. у Л. Зизания мимолетное (*явихъ*, *явилъ еси*, *яви*, т. е. формы аориста и перфекта в одной парадигме), протяженное (*являхъ*, *являя еси* — имперфект и перфект в составе одной парадигмы) и пресовершенное (*являхъ*, *являя еси* — перфект с имперфектными основами наряду с имперфектом). У Смотрицкого находим соответственно (и в четком противопоставлении по залогу): преходящее (*бихъ* и *биенъ есмь*), прешедшее (*бияхъ* и *биянъ есмь*), мимолетное (*бияхъ* и *биянъ бывахъ*), неопредельное (*небихъ* и *небиенъ быхъ*). Парадигматически, таким образом, видовые значения еще совмещены с временными, поэтому для более ясного их противопоставления изобретаются

вполне искусственные формы и парадигмы с сочетанием исторически различных глагольных форм прошедшего времени. Остатки старых форм использованы для выражения новых грамматических категорий не всегда удачно, поскольку и сам путь совмещения разностильных форм под знаком общей категории неудачен. Впоследствии, вплоть до А. Х. Востокова, будет ощущаться эта неопределенность выражения формами категории, а в грамматике современного церковнославянского языка она сохраняется и до нашего времени.

Разработка категории наклонения также не достигла желательного предела, даже в грамматике Смотрицкого лексико-стилистические критерии смешиваются с грамматическими. Наряду с изъявительным (*быю*), сослагательным (*далъ бы*) и неопределенным (*бити*) он выделяет и повелительный (*бий*), и молительный (*вонми*), и подчинительный (*да бшо*) — стилистические варианты одного общего, — повелительного наклонения. У Л. Зизания такой дробности классификации нет, в его грамматике дано всего четыре наклонения (по средневековой традиции он называет их *образами прѣзвѣта*; в грамматике Псевдодамаскина, откуда М. Смотрицкий заимствовал свою дробную классификацию, они называются *изложениями*). Вводя новый термин — *наклонение*, — М. Смотрицкий делает шаг назад по сравнению с Зизанием в осмыслении категориальной сущности наклонения; последующая лингвистическая традиция для церковнославянского языка избрала вариант Смотрицкого, но в научной грамматике сохранился только его термин.

Категория залога первоначально разрабатывалась в полном соответствии с греческой грамматической традицией, но сам термин последовательно сохранялся от грамматики Псевдодамаскина (если не считать заимствованного у Ласкариса термина *роды* в Адельфотесе). Ср. у Л. Зизания: дѣлательный (*учу*), страдательный (*учуся*), средний (*стою* — не может употребляться с *ся*), посредственный (*боюся*) и общий (*учуся от дидаскала*). Копилятор в грамматике Псевдодамаскина более точен (если только это не испорченное пропуском место); он говорит о действительном и страдательном залогах, что ближе соответствует системе славянского языка. М. Смотрицкий и здесь остался в рамках греческой традиции, ограничившись уточнением терминов.

Происходит уточнение категории лица — у местоимений она остается теперь только у личных местоимений.

Категория падежа прошла наиболее сложный путь развития в русской грамматике. Мелетием Смотрицким заканчивается формирование славянской именной парадигмы, он вводит сказательный (предложный) падеж. Он же дает синтаксическое и формальное определение категории падежа, делит падежи на прямые (именительный и звательный) и косвенные (все прочие) и утверждает, что *падежь есть окончание в склонениихъ измѣна*. Со всеми этими уточнениями вошли в грамматику М. Смотрицкого и те новации, которые последующие грамматисты и историки грамматики ставили Смотрицкому в упрек, обвиняя его в сочинительстве форм, которых никогда не было в русском или славянском языке. Однако Смотрицкий не мог

этого не делать, к подобному «сочинительству» толкали его те грамматические открытия, которые им самим были сделаны; искусственные примеры стали как бы обратной стороной, изнанкой этих открытий. Различая прямые и косвенные падежи, при составлении парадигмы он должен был и практически (формально) показать различие между именительным и всеми прочими падежными формами; в связи с тем он и создает в ряде случаев нереальные формы типа *небесо*, *чюдесо*, *словесо*, *удесо*, *очесо*, *ушесо*, *древесо*, сохраняя при этом и формы *небо*, *чудо*, *слово* как примету высокого стиля, т. е. как раз обратно тому положению, которое на самом деле сложилось в момент решительного противоборства церковного и разговорного языков в его время. Данные им окказиональные формы образованы, впрочем, по реальной модели (*колесо*), почему и казались автору более низкими, чем традиционные *слово*, *небо* и др. Противопоставление прямого падежа косвенному он проводит и в парадигме склонения с беглым *о*, *е*, ср. *жрецъ* — *жерца*. В других случаях также русские формы типа *вижю*, *молочю* (на месте церковнославянских *вижду*, *млачу*) признаются им не русскими, а, наоборот, церковнославянскими. Формальные критерии разграничения русской и церковнославянской лексики еще не были определены, труды Зизания и Смотрицкого как раз и явились первым шагом на пути к данному разграничению форм и лексем.

Выделяя падеж как формоизменяющую категорию, М. Смотрицкий особое внимание должен был уделить флективному ряду. В этом пункте он был согласен с Адельфотесом и с Л. Зизанием, включившими в парадигму творительный падеж, и сам завершает парадигму падежом сказательным. Однако в связи с этим возникла и необходимость представить новые падежи особыми грамматическими формами. Если традиционные, известные и предшествующим грамматикам, падежные формы хорошо известны, то сказательный падеж, как и творительный, в XVII в. уже представлен в вариантах форм, которые автор и вынужден предьявлять: *ярмами*, но и *ярмы*, *юрдахъ*, но и *юрдѣх*, *друзахъ*, но и *друзѣхъ*. Вариантность как норма для всех вновь утверждаемых падежей (и только для них) прослеживается и во всех переизданиях грамматики Смотрицкого; ср. в издании 1648 г. *клеветами* и *клеветы* (в издании 1619 г. только старая форма падежа *клеветы*), и т. д. У имен среднего рода в форме местного падежа множ. числа появляется и разговорная форма, ср. *сердцихъ* и *сердцахъ* в издании 1619 г., что русскому справщику в издании 1648 г. дает основание предложить новую вариацию *сердцехъ* и *сердцахъ* (повторено в изданиях 1721 г. и 1723 г.). Вариантность флексий есть указание на то, что падеж как категория осознается, но еще не сложился нормативный вариант формы для ее выражения. Говоря о подобных «отменах», мы должны отдавать себе отчет в том, что новые флексии дательного, творительного и местного падежей множ. числа на *-амъ*, *-ами*, *-ахъ* проникали в парадигму не параллельно с соответствующими изменениями в русском разговорном языке (где указанные флексии известны с XIV в.), а в полном соответствии с уровнем грамматической разработки проблемы

в XVII в., как факт построения парадигмы. Вскрыв и описав категориальное значение, грамматист должен был выявить его в формах-знаках и обеспечить традицию авторитетным критерием разграничения форм. Попутно, видимо неосознанно, родились идеи вариантности нормы. Определяя норму литературно-книжного языка, Смотрицкий ориентируется на письменный текст (отсюда и вариантность: *юроедъхъ* — *юродѣхъ*, а не *уроодахъ*) — для него это еще самый авторитетный критерий в его дефинициях и примерах.

В определении частей речи средневековые грамматиканы указывают категориальные признаки. Последовательное рассмотрение таких определений вскрывает направление научного поиска. Сравним определение причастия. «Причастие же есть глаголь (слово), имѣя нѣкая послѣдствующа рѣчи (глаголу) и нѣкая послѣдствующа имени; сего ради и глаголется причастие, зане (так как) причаствуетъ и имени, и рѣчи» (Псевдодамаскин); «Часть вѣщания (речи), часть приемля имени и часть слова (глагола) и часть от обоого, приемлетъ бо от имени роды и падежня (падежи), от слова же времена и знаменованя (залогн), от обоого же число и образъ (простые и сложные» (Донат); «Причастие есть часть слова (речи) склоняемая, свойство имене и глагола причащающаяся, нарицается причастие от причащения, послѣдующая бо причастию вземлются частию от самого имене, яко родъ, падежъ, склонение, частью от самого глагола, яко залогн и время, частью от обою, яко число и начертание (простые и сложные)» (Смотрицкий). Со временем уточняется формулировка, шифруется терминология, конкретизируются составные части определения, но категориальное содержание в целом не меняется. Смотрицкий, выделяющий самостоятельную категорию прилагательного, добавляет в определение и новую характеристику: с к л о н е н и е.

Таково же соотношение определений и для остальных частей речи, они в целом довольно устойчивы, но со временем обогащаются все новыми дифференциальными признаками, поэтому можно представить такие признаки частей речи в таблице (см. таблицу 3).

Из таблицы видно, что каждая последующая часть речи в своем определении несет с собою хотя бы один новый признак категориального содержания, подтверждающий семантическое противопоставление данной части речи всем остальным в системе. Классификация частей речи в древнерусских грамматиках с самого начала выдержана довольно строго. Вместе с тем зависимость от греческих первоисточников, а также общие представления Средневековья о слове наложили на эту классификацию свой отпечаток.

В определении имени семантика предметности понимается как «вещь». Первоначально это не совсем точный перевод (в грамматике александрийцев имена обозначают «тело» или «вещь»); ср. у Псевдодамаскина: «Имя же глаголется, яко имать подлежащее существо, о немъ же есть слово», о *существо* же говорится и в Адельфотесе, с добавлением, что имя склоняется. Л. Зизаний впервые вводит в определение церковнославянское слово *вещь*: «Имя есть наречение вещи или имя есть слова склоняема, яже вещь знаменуетъ, не дѣлати же

**Дифференциальные признаки в определении частей речи  
по грамматическим трудам XIV—XVII вв.**

| Часть речи         | Дифференциальные признаки |   |   |     |   |   |     |   |   |
|--------------------|---------------------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|
|                    | 1                         | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 |
| <i>Имя</i>         | +                         | + | — |     |   | — | +   |   |   |
| <i>Глагол</i>      | (+)                       | — | + |     |   | — | —   | + |   |
| <i>Местоимение</i> | +                         |   |   |     |   | — | (+) |   |   |
| <i>Причастие</i>   | +                         |   |   | +   |   | — | +   | + |   |
| <i>Наречие</i>     | —                         |   |   | (+) |   | — |     |   |   |
| <i>Предлог</i>     | —                         |   |   | (+) |   | + |     |   |   |
| <i>Союз</i>        | —                         |   |   | (+) |   | + |     |   |   |
| <i>Междометие</i>  |                           |   |   |     | + | — |     |   | + |
| <i>Различие</i>    | +                         |   |   |     |   | + | +   |   |   |

Примечание. Цифры обозначают следующие дифференциальные признаки выделения категорий: 1) изменяемое (+) или нет (—); 2) предмет (+) или нет (—); 3) действие (+) или нет (—); 4) сочетается с глаголом (+) или нет (—); 5) совмещает свойства имени и глагола (+) или нет (—); 6) служат для соединения слов (+) или нет (—); 7) характеризуются ли категорией рода (+) или лица (—); 8) характеризуются категорией времени (+) или нет (—); 9) наличие степени аффективности (+) или нет (не обозначено); отсутствие одного из знаков в таблице показывает, что никакой информации о данном признаке средневековые грамматики не представляют; знак в скобках обозначает невсеобщность данного признака для всей комментируемой части речи.

что или страдати» (то же определение и у Смотрицкого). Совокупная множественность свойств, определяемая в древнерусском как *существо*, словом *вещь* абстрагируется и тем самым грамматически обобщается. Последовательное обогащение определения (и, следовательно, познания категории) идет по такой линии:

а) имя — совокупность свойств, о которых идет речь (в данном предложении, для которого имя — всегда данное) — Псевдодамаскин;

б) к этому добавляется: имя — склоняемая часть речи — Адельфотес (новая ступень отвлеченности в восприятии имени как части речи со своими формальными признаками);

в) имя обозначает предмет, является склоняемой частью речи, которая противопоставлена глаголу (не обозначает действия или «страдательности») — Зизаний.

Аналогичное развитие определений, отражающих становление грамматических категорий, можно проследить и по другим частям речи. Происходит постепенное расслоение семантических и формально-грамматических характеристик частей речи, в самом определении четче указывается категориальное отличие данной части речи от других, в приведенном случае — различие между именем и глаголом. Происходит это в связи с одновременным осознанием семантических основ давно известных категорий: *вещь* на месте *существа* могла появиться лишь после грамматического выделения категории качества и количества, которые прежде входили в понятие «существа». Тем не менее еще и Л. Зизаний противопоставляет действие страдатель-

ности, хотя они одинаково связаны с вещью: действие от вещи исходит, страдательность на нее направлена. Это во многом еще конкретно-чувственное, не полностью отвлеченное от частных проявлений категории представление о действии как контрверзы имени.

Частные категории также представлены еще конкретно лексически, не грамматикализованы, не обладают надлежащей степенью отвлеченности. Например, категория рода у имен или вида и залога у глаголов: в грамматике Смотрицкого кроме мужского, женского и среднего родов также общий (т. е. и мужской, и женский: *той и тоя пъяница*), всякий (кроме мужского и женского также и средний: *той, тоя, тое — юродь*), недоуменный (т. е. неопределенный: *той* или *тоя неясить*), преобщий (оба пола представлены в одной грамматической форме: *той орелъ, тая ластовица*) — даже половые различия учтены в грамматической классификации по роду. Пытаясь выйти за пределы чисто формального критерия, т. е. отталкиваясь от различий по окончаниям (мужской род — на *ъ*, женский — на *а*, средний — на *о*), Смотрицкий идет на утверждение синкретического значения родовой характеристики и вместе с тем усложняет саму систему, для которой важны теперь не только форма или значение (род, пол, их совместимость или противоположность), но и правила синтаксической сочетаемости, ср. *пъяница* — женского рода суффикс *-иц(а)* с окончанием *-а*, *ластовица* женского рода с суффиксом того же типа и с тем же окончанием. Тем не менее первое слово входит в общий, а второе — в сверхобщий род благодаря условиям сочетаемости и семантическим признакам имени. Морфологическая категория имени — грамматический род — рассыпается на конкретные лексические и синтаксические единицы благодаря привлечению неморфологических критериев выделения. Точность определений на некоторое время утрачена из-за расширения границ морфологической категории: кроме грамматических, в определение вошли еще синтаксические, стилистические, логические и другие отношения, которые прежде были рассыпаны в Риторике, Логике, Диалектике и т. д.

Частные типы значения представлены и в определении залогов, видов, наклонений. Категориальное их содержание еще не вычленилось из конкретной грамматической ткани текста, осознается пока как конкретное проявление в границах текста, а не как отвлеченно грамматическая общность категории. Категориальные значения рода, числа, качества, представленные в философской системе, не увязываются еще полностью с наблюдаемыми конкретными (грамматическими) формами их проявления. Смотрицкий делает важный шаг в направлении к сближению конкретной грамматической формы с отвлеченной философской категорией, но ему мешает еще оглядка на текст, на синтаксические и частные лексические характеристики этого текста. В отличие от грамматики Псевдодамаскина (категория рода определяется формально: по окончаниям имен) и грамматики Зизания (в которой сделана попытка найти и семантические основания категории — включением в систему общего рода), Смотрицкий полностью ориентирован на семантику грамматической категории, он «философичен» как никакой другой грамматист Средневековья.



Впоследствии, в грамматиках XVIII в. развитие идеи дойдет до логического конца: грамматисты вернутся к формальным критериям исходной грамматической системы, обогатив их семантическим содержанием и четко сформулировав категорию рода как абстрактную категорию грамматики. По-видимому, и вообще обращение к логическим категориям при переформулировании категорий грамматических во все периоды связано с необходимостью совместить основные параметры грамматики с достижениями точных наук своего времени: «рациональные» типы грамматик — понятие типологическое, а не историческое.

В других случаях развитие грамматических представлений протекало таким же образом: от формального осознания категории как элемента текста (под влиянием переводных грамматик и первоначальных компиляций) к постепенному вычленению ее в грамматическом контексте (сначала синтаксически, затем и в парадигме) с возможным лексико-семантическим членением — окончательному совмещению с абстрактно-философской категорией, воплощением которой данная грамматическая категория является.

Этот этап грамматической разработки характеризуется синкретизмом грамматических свойств и даже некоторых частей речи. Сочетаемость с другими словами в тексте и сочетаемость разных свойств внутри самой категории еще не расчленены. Особенно наглядно это видно на примере причастий, совмещающих в себе признаки имени и глагола. Синтагматические и парадигматические свойства действительно понимаются еще в одной общей плоскости, не вступают в иерархические отношения элементов общей системы.

Категории вида и времени также находятся в синкретизме. Только Смотрицкий делает первую попытку выделить глагольный вид, говоря по существу о способах действия: начинальный, учащательный вид и т. д. Принцип выявления категории вида здесь тот же, что и в установлении категории рода: как там для четкого уразумения категориальной сущности потребовался «третий лишний» (дифференциация по полу), так и здесь объективно лексическим средством разграничения вида и времени стал способ глагольного действия, представленный в определенных глагольных основах и легко подвергающийся классификации. Только столь конкретными лексическими и могли быть первые категориальные классификации в поисках их семантического ядра. Парадигматически эта система еще не отработана, она и дана-то только для ряда форм настоящего времени, тогда как в формах прошедшего времени видовые противопоставления совпадают еще с временными значениями форм.

Предлог и союз фактически не отличаются по наличным дифференциальным признакам, поскольку до Смотрицкого не различались еще разные типы синтаксических сочетаний. По установившейся традиции еще и в Грамматике Зизания проводится своеобразная «парадигма» предлогов — по сочетаемости с соответствующими падежами имени (например, *въ* — имя в винительном или в местном падеже, и т. д.). Категориальное различие между этими частями речи также лежало вне грамматики и истолковывалось в соответст-

щих разделах логики. Пока синтагматика предложно-падежных форм еще не выделила вполне осознаваемой падежной парадигмы, специфика предлога как части речи остается неясной.

Недостатком грамматик XVII в. было и включение словообразовательных явлений в категориальные дефиниции (ср. выше о *начертании*). Анализируются не только факты живого языка, но и явления архаичного и во многом искусственного церковнославянского языка с неактуальными формами (двойственного числа, аориста и т. д.). Это смещение двух языковых систем создавало дополнительные трудности в формировании законченной грамматической системы. Значение грамматики Смотрицкого заключается в том, что, отдавая себе отчет в случайности и архаичности многих грамматических форм, еще не подвергшихся обобщению, искусственности многих синтаксических конструкций, носивших стилистический привкус, он пытался отвлечься от случайности формы, обращаясь к семантическим критериям, чтобы поднять соответствующий грамматический факт до категориального уровня. Основной объект его изучения — парадигматика системы, хотя сам он, конечно, и не мог бы сформулировать этой задачи в явном виде.

Прежняя классификация (таблица 3) к тому же являлась и неполной: здесь много «пустых клеток» из-за отсутствия информации в определении части речи. Не все возможные дифференциальные признаки включены в определение, части речи фактически только названы по какому-то (не всегда существенным) признакам. Эта классификация до М. Смотрицкого построена на основе синтаксических признаков текста, т. е. является синтагматической. Например, *имя* воплощает в себе идею «данного», темы высказывания, оно называет субъект, и т. д. Потому оно долго противится расчленению на выражение предметности, качества и количества. *Союз* — синтагматическая по своей функции часть речи; неизменным остается и термин *причастие* (греч. *επιρρηγι*), что несомненно обозначает 'причастное к действию', т. е. к реме (новому) в предложении (ср. греч. *ῥῆμα* 'глагол'). Последнее и выражено словом, так или иначе связанным с обозначением высказывания — суждения — предложения — словосочетания. Зависимость от александрийской грамматической традиции здесь также несомненна. Развитие собственно славянских грамматических категорий связано со становлением отечественной грамматической традиции и может быть прослежено на примере терминологических колебаний — изменении терминов для обозначения гла-

Таблица 4

Обозначение понятий «слово», «предложение», «глагол»  
в средневековой грамматической традиции

| Обозначение                     | XIII—XV вв.              | XVI в.                      | XVII в.                       | XVIII в.                 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| слова<br>глагола<br>предложения | глаголь<br>рѣчь<br>слово | глаголь<br>слово<br>вѣщание | рѣч(ение)<br>глаголь<br>слово | слово<br>глаголь<br>рѣчь |

Обозначение частей речи в грамматических сочинениях XIV—XVII вв.

| Термин      | Источник            |                  |                          |                          |            |            |                    |                       |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
|             | Псевдода-<br>маскин | Донат            | Простословия<br>Евдокима | М. Грек                  | Адельфотес | Л. Зизаний | М. Смотриц-<br>кий | Грамматика<br>1723 г. |
| имя         | имя                 | имя              | имя                      | имя                      | имя        | имя        | имя                | имя                   |
| глагол      | рѣчь                | рѣчь<br>(слово)  | слово                    | рѣчь<br>(слово)          | глаголь    | глаголь    | глаголь            | глаголь               |
| причастие   | причастие           | причастие        | причастие                | причастие<br>(часть)     | причастие  | причастие  | причастие          | причастие             |
| местоимение | мѣстоимя            | проименне        | проименне                | вмѣстоимен<br>(прозвище) | местоимя   | местоимя   | местоименне        | местоименне           |
| артиклъ     | различие            | —                | —                        | члѣн<br>(загадка)        | различие   | различие   | —                  | —                     |
| предлог     | прѣдлогъ            | представление    | представление            | прѣдлогъ<br>(случение)   | прѣдлогъ   | прѣдлогъ   | прѣдлогъ           | прѣдлогъ              |
| наречие     | нарѣчие             | прѣдлог<br>слову | прѣдлог<br>слову         | прирѣчие<br>(присловие)  | нарѣчие    | нарѣчие    | нарѣчие            | надглаголие           |
| союз        | сѣюзъ               | союзъ            | сѣюзъ                    | союзъ<br>(сладка)        | союзъ      | союзъ      | союзъ              | союзъ                 |
| междометие  | —                   | различие         | различие                 | —                        | —          | —          | междометие         | междометие            |

Примечание. В качестве вариантов в скобках даны те термины из сочинений М. Грека, которые А. Х. Востоков считал вынесенными из чешской или сербской грамматики. Как и терминология Ю. Крижанича, никакого влияния на развитие русской грамматической терминологии они не оказали.

гола, предложения и слова в следующей зависимости и в такой хронологической последовательности (таблица 4).

В последнем случае *глаголь* — основное содержание высказывания, это четко проявляется и в терминологии Юрия Крижанича, который возвращается к термину *рѣчь* (*ричина*) для обозначения глагола и потому вынужден говорить о *ричине* как о части *бесѣды* (см. более дифференцированную по источникам таблицу 5).

## 6. Переосмысление объекта в границах естественного языка

На примере «терминологических переходов», связанных с обозначением глагола, слова и предложения, можно коснуться вопросов, которые требуют самостоятельной разработки, но вместе с тем важны и для нашей темы, поскольку мы постоянно вынуждены отмечать, что средневековые грамматисты в своих сочинениях отражают те или иные «недостатки» своего времени, что они еще не «осознали» того или иного грамматического различия, и т. д.

Речь идет о том, что историческая последовательность в разработке грамматических идей определенным образом связана с развитием самого языка, на материале которого такие идеи разрабатывались. На церковнославянском материале удалось смоделировать системные отношения, но создать научную грамматику можно только на материалах действующей системы живого языка. Уже простое сопоставление тех динамических противоречий, которые рассмотрены выше, показывает, что оживление грамматической мысли всегда связано было с включением в обсуждение проблем, фактов и материалов разговорного русского языка. Особенно активно это стали осознавать в момент самого сильного разлома традиции — в середине XVII в. Посмотрим, каким образом в преобразовании терминологии отражались общефилософские представления грамматистов.

Ключевым в данной связке терминов является, конечно, слово. Оно не просто лежит между частным 'словом' — глаголом — и общим 'словом' — предложением, но и вообще полифункционально благодаря своей многозначности. *Словом* можно было назвать и речь, и предложение, и отдельную лексему, и самостоятельную — в тексте — словоформу, — т. е. в сущности любое «говоренье».

Что же касается *речи*, то сокровенный смысл этого термина лучше всего передает причастная форма «изрекаемое», «проговариваемое». Это указание на то, что именно говорится: это отмечается специально и отдельно в каждой речи. Но все, что может стать *речью* и тем самым послужить в *слове*, все это — *глагол*. В исходном распределении значений скрывалось уже взаимное соответствие всех трех слов, так что в рамках средневековой традиции осмысления познаваемого объекта — в символических заменах — все три слова отражали всего лишь определенные пределы одного и того же — речи.

Постепенно из неопределенной массы речи, говорения формируется смысловой центр, который сосредоточивает в себе основное содержание высказывания, в то время как остальные как бы приклады-

ваются к этому основному (см. и соответствующую терминологию того времени: *прикладъ* и под.). Слово мало-помалу обретает свои собственные границы и теперь четко предстает как самостоятельное слово. Оно еще не совсем четко в контуре, потому что оно — и отдельное слово (*отець*), и отдельная словоформа (*отцю*), и в сочетании слов также слово (*отець и сынъ*). Однако уже ясно: поскольку слово не может состоять из слов, оказывается необходимым говорить, что слова составляют — *вещание, речь* (после XVIII в. и *предложение* — совершенно логический термин, как завершение поисков эквивалентного действительности термина).

Таким образом, в обозначении предложения сначала обратили внимание на то, что это — «говорение», т. е. *вещание*. Затем обнаружили, что в *вещании* имеется центр — то новое, о чем говорится (глаголется) в предложении, почему и соединили именованное предложение с самой важной его частью — с глаголом, назвали предложение *речью*. Позже, уже за пределами Средневековья, определили, что в каждом предложении важно не только то новое, что высказывается в нем, но и данное в высказывании. Перед нами сквозь паутину терминологических обозначений, по видимости традиционных, проходит, отражаясь в обозначениях, последовательное углубление в смысл и содержание основной для Средневековья лингвистической единицы — слова, — которая расширяется до пределов предложения, становясь основной грамматической единицей Нового времени. Не понятие, а суждение становится с этого времени в центр интересов грамматиста. Только при опоре на развитие родного языка и на те логические понятия, которые связаны своим отражением с разговорным языком, первоначально заимствованные грамматические идеи становились идеями национальной научной школы.

Так, соотношения и противоположности между словом, глаголом и предложением, вообще очень неустойчивые, в соответствии со средневековой традицией понимаются конкретно, всегда формулируются в формах естественного языка: что изрекается — *речь* (т. е. предложение), что глаголется — *глаголь*, но только слово имеет самостоятельное значение, только с ним и связано содержание речи. Таково свойство средневекового метаязыка лингвистики. Нет заимствованной терминологии (только кальки), ее роль исполняет славянизм. Какими влиятельными и авторитетными ни были бы тексты, парадигмы и нормы церковнославянского языка, развитие научного сознания по-прежнему осуществляется в формах естественного (родного, «живого» и пр.) языка. «Внутренняя форма» исходных терминов сохраняется (или, наоборот, переосмыслиется) традиционной установкой на язык и текст. По-видимому, без столкновения (в семантическом содержании) слов и терминов, формально общих для русского и церковнославянского языков, внутреннее развитие понятий и связанных с ними терминов не было бы столь активным и всесторонним. Новые термины возникали на соприкосновении двух языковых систем, постепенно создавая метаязык лингвистической теории.

Оформление других терминов носило отчасти словообразователь-

ный характер. Легко заметить внутренние связи слов, обозначающие союз, предлог, наречие. Предлог называется и *представлением*, т. е. приложением к чему-то, осознается как союз по отношению к чему-то. Наречие в свою очередь является *предлогом* по отношению к глаголу, и т. д. Во всех случаях речь идет о правилах синтаксической сочетаемости и о роли указанных частей речи в данном процессе. Подобные изменения в обозначении частей речи и дали основание для предположения о «правилах порождения» частей речи в переводе грамматики Доната (см. выше). Для XVI в. вообще характерны соображения, связанные с символическим и динамическим толкованием грамматических категорий и явлений. Внутренняя, представленная в терминологии выводимость частей речи одна из другой также показывает конкретно-образный характер подобных определений.

Безусловно, самым важным результатом разработки грамматических проблем стало создание грамматических парадигм, постепенно вычлененных из конкретной ткани текста-синтагмы. Но лишь к концу XVII в. произошло то, что можно было бы назвать «снятием» абстракции слово с парадигмы грамматических словоформ, и когда это случилось, значение стало восприниматься отвлеченно от своей формы, стала возможной принципиально научная постановка вопроса о сущности грамматической категории.

Таблица 6

**Обозначение некоторых согласных звуков в средневековых грамматических трудах**

| Звук | Источник   |                     |             |              |               |
|------|------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|      | М. Грек    | Написание о грамоте | Книга Буквы | Простословия | М. Смотрицкий |
| з    | сугубый    | сипавы              | сипавъ      | сипавъ       | сугубая       |
| р    | мокрый     | картавъ             | громный     | кортавъ      | таемая        |
| п    | тонкий     | грубый              | громный     | тупъ         | обоящаюся     |
| ф    | частый     | свибливы            | натужный    | тусклъ       | странная      |
| б    | средний    | грубъ               | грубъ       | тупъ         | обоящаюся     |
| х    | частый     | натужный            | натужный    | натуженъ     | обоящаюся     |
| т    | тонкий     | простъ              | громный     | громенъ      | обоящаюся     |
| ж    | сугубый    | шепетливъ           | шепетливъ   | шепетливъ    | сугубствующая |
| л    | мокрый     | немой               | немой       | кортавъ      | таемая        |
| ц    | безгласенъ | ясенъ               | сипавъ      | (нет)        | обоящаюся     |
| ш    | сугубый    | сипавъ              | ясный       | (нет)        | сугубая       |

Особых комментариев требует и разработка фонетических вопросов. В табл. 6 приведены обозначения некоторых согласных звуков, встречаемые в средневековых грамматиках. Определения Смотрицкого совпадают с определениями в сочинениях, приписываемых Максиму Греку, но не потому, что заимствованы у последнего, а благодаря общности (греческого) источника и общей цели описания: оно связано с необходимостью обозначить различия звуков, исполь-

зуемых в стихосложении, это термины поэтической техники, а не фонетические характеристики звуков, ср. *сугубые* 'двойные' (по длительности *з, ж* — для остальных источников это *сипавые* 'свистящие' и *шепетливые* 'шипящие'); *мокрые* (*таемные*), т. е. 'влажные' плавные *р, л* в прочих источниках они различаются фонетически: *картавый* или *громный р, немой* 'неясный' *л*); *тонкие* и *средние* (*обоящаюга*), т. е. глухие и звонкие взрывные согласные, которые и определены здесь музыкальным термином (связаны с тональностью). Одни и те же характеристики использованы для обозначения разных, но сходных в музыкально-поэтическом отношении согласных. Тем не менее у Мелетия Смотрицкого эта «поэтическая» классификация более цельна, не имеет выходов в фонетическую характеристику звуков, как у Максима Грека. Включая элементы поэтики и риторики в свою грамматику, Смотрицкий строго разграничивал их и собственно грамматические проблемы, а поскольку и орфоэпические вопросы он, ориентируясь на письменную форму речи, обсуждает в разделе орфографии, то фонетика его вовсе не интересует. Ведь основная его цель — создать нормативную грамматику литературного языка.

Наоборот, круг памятников, связанных с «Лаодикийским посланием» (Написание о грамоте, Книга глаголемая Буквы, Простословия Евдокима), тщательно разрабатывал фонетические обозначения звуков. При этом славянские звуки последовательно обозначались сходным образом — терминология устоялась в характеристиках *з, х, т, ж* и др.; но новые для славян звуки (например, *ѣ*), а также отличающиеся по диалектам в произношении (типа *р, л, џ*) еще варьируют в своих определениях. Как и во всех остальных отношениях, и эти обозначения еще несомненно носят конкретный характер чувственных определений; они, кроме того, обозначают звук только по одной, наиболее выразительной особенности его проявления. Естественно, что подобное «называние» по одному различительному признаку могло варьироваться от сочинения к сочинению, поскольку для идентификации звука использовались разные его признаки. В грамматиках XVIII в., например в грамматике В. Е. Адодурова (1740 г.), дается фонетическая характеристика звуков, поэтому и терминология в ней уже близка к обозначениям, выработанным в грамматической традиции «Лаодикийского послания». Однако и эти термины, и самые общие обозначения звуков (*гласные—согласные*) окончательно сложились только к началу XIX в.<sup>34</sup>

## 7. Заключение

Собирая воедино все рассмотренные здесь особенности развития русской грамматической традиции эпохи Средневековья, мы

<sup>34</sup> См.: Колесов В. В. К истории русской грамматической терминологии. *Звук*. // Теория языка. Методы его исследования и преподавания. Л., 1981. С. 146—150. Ср. также: Рупосова Л. П. Формирование терминологии гуманитарных наук в русском литературном языке. М., 1987.

можем сделать вывод, что к началу XVIII в. сложились все условия для создания синтетического труда по русской грамматике; возникли также предпосылки для развития общелингвистических идей — в их противопоставлении к традиционным общефилологическим. Основные линии развития грамматической мысли в России XIII—начала XVII вв. полностью соответствуют аналогичному развитию грамматических представлений того же времени на Западе. В отличие от последних те грамматические идеи, которые опережали свое время, на Руси энергичнее подавлялись официальной наукой и религией, что несомненно затрудняет и изучение вопроса, как в свое время затрудняло становление восточнославянских грамматических теорий. Тем не менее к концу XVII в. уже сложилось полное представление о языке, его функциях, его категориях и были выработаны самые первые, пока еще чисто терминологические, понятия и определения.

На протяжении всего Средневековья синкретизм знания отражает и синкретизм объекта (язык и текст не различаются), и нерасчлененность рефлексии о нем (в сознании «наука» и «искусство» не разграничены, а «теория» представлена как набор технических приемов описания). Структура научного знания устойчиво традиционна, привязанность отдельных аспектов языкознания к другим сферам гуманитарного знания мешает их воссоединению в общей дисциплине. Отношение к слову как к художественному явлению и как факту мысли; общественный интерес лишь к формам (и только книжного, литературного) языка; внимание к распределению форм, к функциям в ущерб их системным связям — таковы лишь самые общие причины общекультурного характера, которые до времени сдерживали развитие грамматических идей.

В нашу задачу входило показать, каким образом эти ограничения были сняты, трудности преодолены и какого результата достигло развитие грамматических идей в России эпохи Средневековья.



# ГРУЗИНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Ф. Г. Утургаидзе

По известным нам историческим памятникам и источникам заинтересованность грузин грамматическими вопросами пробуждается уже с X в. В X—XII вв. начинается процесс формирования грузинской лингвистической мысли, главным образом под влиянием византийской науки о языке, что выразилось в переводах ряда грамматических трактатов на грузинский язык. В этот период происходит освоение греко-латинской грамматической терминологии, создаются соответствующие грузинские корреляты. Вследствие всего этого начинается формироваться собственно грузинская грамматическая мысль.

Уместно вспомнить тут же, что этот период в теологическо-философской деятельности грузинских мыслителей примечателен непосредственным ознакомлением с трудами Платона, Аристотеля, Прокла Диадоха, Василия Кесарийского и др. Кроме переводов этих авторов они часто пользуются их трудами в своих собственных работах.<sup>1</sup>

Грамматическая деятельность грузин в XIII в. была полностью прервана нашествиями монголов и других азиатских захватчиков. Страна захлебывалась в собственной крови, погибало все ценное и в культурно-научном отношении, было не до грамматики, не до литературы, философии. . .

К грамматическим вопросам грузины вновь обращаются спустя несколько столетий.

В XVII—XVIII вв., в период деятельности итальянских миссионеров в Грузии, начинается новый этап развития грузинской грамматической мысли, обнаруживавшей очевидное влияние итальянской традиции.

Миссионерская деятельность итальянцев продолжалась более полутора столетий. Они создали грузинско-итальянские и итальянско-грузинские словари, грамматические трактаты и грамматические пособия по грузинскому языку; в отдельных словарных статьях представлена большая информация о флективных и деривационных элементах.

<sup>1</sup> М а р р Н. Я. Иоанн Петрицкий — грузинский неоплатоник XI—XII веков. СПб., 1909. С. 64; Г о г и б е р и д з е М. Мировоззрение Иоанна Петрици // Труды Иоанна Петрици. Тбилиси, 1940. Т. 1. С. XXIX; К а у х ч и ш в и л и С. Г. Введение // Там же. С. XXVI.

Католические миссионеры в Грузии наряду с латинским и греческим языками преподавали в ими же открытых школах и грамматику грузинского языка.<sup>2</sup>

С конца XVII в. до 60-х гг. XVIII в. Сулханом-Саба Орбелиани и другими были созданы толковый словарь и грамматики грузинского языка. Создание этих трудов было подготовлено двумя названными выше традициями грузинской грамматической мысли. Этой научной деятельности определенным образом способствовало и ознакомление с армянской и русской грамматической литературой того периода.

Общие положения, методы анализа языкового материала и способы их передачи в грамматиках армянского и русского (resp. европейских) языков были взяты из греко-латинского научного мира. Понятно, что в такой ситуации в XVIII в. для создателей грамматик грузинского языка не представляло большого труда соединение грузинских лингвистических традиций X—XII вв. с конкретными грамматическими результатами работ по грузинскому языку итальянских миссионеров XVII—XVIII вв. и с теми общими положениями греко-латинской системы, которые содержались в армянско-русских (resp. европейских) грамматиках того периода.

### Первые шаги

Надо полагать, что определенные грамматические вопросы вставали перед грузинскими теологами при первых же попытках перевести на родной язык канонические богословские книги во второй половине IV в. Мы не имеем никаких специальных трактатов о тех языковых проблемах, которые приходилось решать первым грузинским переводчикам, но практические конкретные решения, принятые грузинскими теологами-переводчиками, приближали час грузинских оригинальных грамматических разысканий, которым предшествовало ознакомление с греко-византийской грамматической литературой.

В известном грузинском памятнике — «Шатбердском сборнике» X в. — сохранился фрагмент комментария Диомеда (IV в.) к грамматике Дионисия Фракийца (об алфавите греческого языка).<sup>3</sup>

В XI—XII вв. некоторых грузинских церковных деятелей называют «*გრამატიკოსი*» *Yrammatikosi* «грамматик» (по Дионисию Фракийцу).

По работам Гиоргия Мцире, Ефрема Мцире и Иоанна Петрици видно, что они хорошо знакомы с грамматическими трудами Дионисия и толкователей его грамматики: Гиорги (Георгий) Мцире (I половина XI в.) пишет, что на вопрос патриарха Антиохии Θεодоса.

<sup>2</sup> Тамара швили М. История католичества в Грузии. Тбилиси. 1902. С. 156.

<sup>3</sup> Шатбердский сборник X века / Подготовили к изданию Б. К. Гигинейшвили, Э. А. Гиунашвили. Тбилиси. 1979; Каухчишвили С. Г. Учебная книга «Шатбердского сборника» // Вестник Тбилисского университета. 1923. III.



ние этот термин имеет в сочинениях Аммония, которые на грузинский язык были переведены в XII в.<sup>8</sup>

В теологическо-философской литературе, переведенной на грузинский язык в X—XII вв., лингвистические вопросы обсуждаются во многих местах; конкретно о них речь пойдет ниже, а сейчас остановимся на словарях: в конце XI в. Ефрем Мцире создает толковый словарь для слов из Псалтыря. Они расположены в алфавитном порядке. Толкования в основном взяты из текста или носят компилятивный характер, но некоторые из них, по мнению М. А. Шанидзе, могли быть созданы самим Ефремом Мцире.<sup>9</sup>

В 1210 г. появляется грузинский перевод словаря имен собственных Кирилла Александрийского.

В переводе «Диалектики» Иоанна Дамаскина Ефрем Мцире на грузинском языке создал много терминов, которые потом вошли в грамматическую терминологию; то же самое можно сказать о деятельности Иоанна Петрици, но у последнего есть и собственный трактат по вопросам просодики, пунктуации и орфографии.

Существенное значение имела выработка модели для грамматических и других научных терминов, которая берет начало в X в. у Евфимия Афонского.

Ниже мы рассмотрим лингвистические трактаты грузинских авторов и лингвистическую терминологию, выявленную специалистами в грузинской теологическо-философской литературе X—XII вв.

Трактат «სიტყუთა აზრთა მათაჲსი»<sup>10</sup> — «Слово об артронах», т. е. грамматических членах — написан во второй половине XI в. По мнению М. А. Шанидзе, судя по определенным признакам, этот грамматический трактат принадлежит или Арсену Икалтойскому, или же его учителю Ефрему Мцире, в крайнем случае — одному из теологов школы Ефрема Мцире.

В трактате рассматриваются главным образом вопросы отражения греческих ἄρθρον -ов в грузинском переводе. Автор трактата по грамматическим членам (артронам) сопоставляет греческий и грузинский языки, разбирает члены греческого языка по роду и склонению, указывает на то, что в грузинском языке их нет, но переводчиков на грузинский язык это не должно смущать. Самое интересное с точки зрения грузинской лингвистической мысли — это грамматические термины и модель их образования. Из тех грамматических терминов, которые употребляются в трактате, многие сохранились до наших дней: სხელი saxeli 'имя существительное', ნათესავი natesavi 'род',

<sup>8</sup> Сочинения Аммония сына Гермия в грузинской литературе (на груз. языке) / Изд. Н. Кечагмадзе, М. Рапава; словарь и указ. М. Рапава. Тбилиси, 1983. С. 55, 37; 89, 19.

<sup>9</sup> Ш а н и д з е М. А. Предисловие к толкованию на псалмы Ефрема Мцире // Труды кафедры древнегрузинского языка Тбилисск. ун-та. 1968. 11. (на груз. языке).

<sup>10</sup> Трактат монографически изучила М. А. Шанидзе (в печати); она же этот трактат довольно подробно рассмотрела в статье «An old georgian grammatical treatise in a collection of homilies attributed to John Chrysostom» Bedi Kartlisa (Paris. 1984. 42).



влекают переводы сочинений Аммония сына Гермия<sup>11</sup> в XII в. В этих сочинениях речь идет о роли грамматики, языковых явлениях и элементах языковой системы, а именно: об изменении имен и глаголов, создании новых слов и предложений, о звуках, тонах, словах и др.

Греческие термины в грузинский язык порой переносятся прямо, без перевода, но чаще всего они имеют грузинские соответствия, которые перекликаются с терминами вышерассмотренного трактата о грамматических членах: მიცემითი micemiti 'дат. п.', ნათესობითი 'род. п.', მიწეზობითი 'вин. п.' ... (см. выше); параллельно с этим употребляются греческие გენიკი geniki 'род. п.' ღოტიკი dotiki 'дат. п.', აიტიატიკე aitiatike 'вин. п.' Здесь же встречаются термины ასო aso 'звук', მარცული marcwali 'слог', დაკუთა dakweta 'флексия', თქუმა // რიმა tkwma//rima (греч. ῥῆμα) 'глагол', სიტყუა sitqwa 'предложение', ნაწილი ნაწილი 'часть речи'; различаются 'прямой падеж' — მართლისებურ ჰტობის მართლისებურ პოსი и 'косвенный падеж' — იგურდობის ჰტობის igwrdobis ptosi (греч. πῶσις 'падеж'), ლექსი leksi 'слово' (греч. λέξις).

Некоторые из этих терминов грузинская грамматическая традиция сохранила вплоть до XIX в. В этих же сочинениях без перевода встречаем известные греческие термины, обозначающие ударение и виды ударения: ტონოი tonoi, ოკსინომენი okswinomeni, დასინომენი daswinomeni, ფსილომენი psilomeni.

Как указывает М. Рапава во введении к вышеуказанному изданию сочинений Аммония сына Гермия, эти же термины встречаем и в оригинальном трактате Иоанна Петрици — в его «Послесловии» к «Комментариям к сочинению Прокла Диадоха...» И. Петрици в «Послесловии» рядом с греческими терминами дает их грузинские соответствия: ოქსია oksia — груз. მახული maxwili, ფსილი psili — груз. წილი çili, დასია dasia — груз. წენარად წარსასვლი სიტყუსაჲ (досл. медленное прохождение предложения) ცნარად çarsasvleli sitqwisaj, ვერისპომენი perispomeni — груз. გარემორთხმული garemortxmul, ცროფოს trofos, груз. უკუსაკვევლი ukusakveveli. Там же представлены термины пунктуации: ვარია varia — груз. მძიმე mziმე 'запятая', ვპოდასტოლი wipodiasvoli — груз. წერტილი çertili 'точка', უუფ upen — груз. შემკვევლი (знак завершения предложения?).

Рассмотренными выше терминами в XVIII в. пользуются Сулхан-Саба Орбелиани и Антоний Первый. Правда, в понимании некоторых терминов есть отклонение, но главное в данный момент то, что перед нами многовековая традиция; немаловажно и то, что эта традиция сформировалась на основе греческой языковедческой и философской литературы, в «среде греческой культуры», как пишет М. А. Шанидзе.

Полагаем, что представленная часть грузинской лингвистической терминологии наглядно свидетельствует о том, что, используя древнегрузинские грамматические термины, можно обсуждать многие вопросы практической грамматики. Это значит, что грамматическая

<sup>11</sup> Сочинения Аммония сына Гермия в грузинской литературе.

наука знакома грузинам уже в X—XII вв.; хорошим подтверждением этой тезы служат оригинальные трактаты грузинских авторов того периода: (1) «Слово об артронах» грузинского анонима и (2) «Послесловие» к трудам Прокла Диадоха Иоанна Петрици.

Национальные бедствия XIII—XVI вв. наложили свою печать на развитие грузинской культуры и науки: активность нации по этим направлениям почти целиком угасла, но традиция все-таки сохранила все эти научные термины, существование которых подразумевает и существование определенного научного знания. Этим можно объяснить тот факт, что Зураб Шаншовани и Антоний Первый в своих грамматиках пользуются общими терминами, хотя хорошо известно, что Антоний Первый ничего не знал о существовании грамматики З. Шаншовани. В обе грамматики из общих традиционных источников вошли упомянутые выше термины წიგნი *çigni* 'буква', ასო *aso* 'звук', მარცვლი / მარცვალი *marcvali / marcwali* 'слог', ლექსი *leks'i* 'слово', სიტყვა / სიტყუა *sičva / sičwa* 'предложение', ნათესავი *natesavi* 'род', რიცხვი *ričxvi* 'число' и др.

Вместе с грамматическими терминами привлекает внимание и сохранение орфографического наследия: З. Шаншовани и Антоний Первый в правописании пользуются комплексом უც /we/, введенным еще в XI в. До З. Шаншовани комплекс უც /we/ часто встречаем в словаре Сулхан-Саба Орбелиани, который является одним из звеньев в цепи грузинской лингвистической традиции с X—XII вв. до 30-х годов XVIII столетия.

Следуя традиции, заложенной в XI—XII вв., Сулхан-Саба Орбелиани, Зураб Шаншовани и Антоний Первый пользуются греческой графемой φ(φ) в заимствованиях, содержащих звук φ (напр., ფილოსოფოსი *filosofosi* «философ» встречаем в переводе Ефрема Мцире «Диалектики» Иоанна Дамаскина). Примечательно, что φ не встречается в трудах итальянских миссионеров, хотя для них этот знак и передаваемый им звук были природными. Надо заметить, что в 70-е гг. XVII в. Бернардо-Мария Неаполитанский, находясь при дворе царя Вахтанга V, был приближенным принца Георгия (впоследствии царь Гиорги XI), библиотекой которого он пользовался и, естественно, мог видеть старые сочинения с буквой φ. Зная, что φ — не природный звук для грузинского языка, итальянцы не пользуются им, а грузин Сулхан-Саба Орбелиани пишет букву φ там, где ее употребляли традиционно. Сулхан-Саба в словаре прямо указывает на это: «Это φ писали в старых книгах».

Можно заключить, что функционирование терминологии и орфографических правил X—XII вв. в XVII—XVIII вв. бесспорно указывает на восстановление прерванной научной традиции путем изучения старого наследия.

Заинтересованность грузин грамматическими вопросами и создание ими грамматических трактатов в X—XII вв. не являются случайными: грузинский литературный язык в начале своего формирования, естественно, мог опираться только на разговорную речь, но, так как его развитие происходило в рамках церковной литературы, он вплоть до XIII в. находился под сильным влиянием греческого

языка, с которого переводились почти все духовные книги начиная с IV в.

Письменный язык практически никогда не прерывал связь с разговорным языком. Акад. К. С. Кекелидзе в «Истории древнегрузинской литературы» писал: «На первой ступени общий грузинский язык был очень чист; кто изучит его, тот будет владеть литературным грузинским языком вообще, какой бы эпохи он ни был, потому что последующие изменения он понимает посредством живого языка, который он уже знает. На этом единственном литературном языке писались как церковные, так и светские книги».<sup>12</sup>

В X—XII вв. многие памятники заново были переведены с греческого на грузинский, чтобы идеально сблизить перевод с оригиналом и не давать повода греческим церковным деятелям усомниться в качестве грузинских переводов священных книг.

Специалисты грузинского языка единогласно отмечают изменения в письменном языке с X в. — кроме усиленного влияния греческого языка, в нем заметна и новая волна разговорного народного языка. В научной литературе язык XI—XII вв. называют начальным периодом «среднегрузинского литературного языка». Он не является новым литературным языком, скорее всего представляет один из этапов в развитии единого грузинского литературного языка; его характеризуют определенное количество новой лексики и новые грамматические формы, часто употреблявшиеся параллельно со старыми формами, а также определенные синтаксические конструкции и лексика византийского греческого языка, которые проникли в литературный язык через переведенную литературу.

Изменение литературного грузинского языка происходило по научно обоснованному пути, это — эксплицитное явление: во-первых, этому процессу содействовало создание собственно грузинской агиографии и синаксарных сочинений, что по своей природе требовало сближения с разговорным языком, и, во-вторых, византийское движение за обновление литературного языка на основе разговорной речи.

Как известно, Иоанн Итал, Никифор Вриений, Феодор Продром и др., вопреки литературным тенденциям архаистов, последователей аттического стиля (Анна Комнина и др.), в литературный язык свободно вводят формы разговорной речи. Анна Комнина порицает Иоанна Итала за «деревенское произношение», за «солицизмы» и «бессвязное построение» (читай — построение не аттического стиля), а язык ее мужа — Н. Вриения, по словам А. А. Васильева, «довольно прост и лишен той искусственной закругленности, которая свойственна, например, его ученой супруге».<sup>13</sup>

Р. Давкин отмечает, что в сочинениях Продрома, византийского поэта 1-й половины XII столетия, слитно представлены старые и

---

<sup>12</sup> Кекелидзе К. С. История древнегрузинской литературы. Тбилиси, 1980. Т. 1. С. 33.

<sup>13</sup> Васильев А. А. История Византии. Византия и крестоносцы. 1923. С. 405.



новые формы. Эти последние, продолжает он, впоследствии занимают место старых форм.<sup>14</sup>

Иоанн Петрици, ученик Иоанна Итала, знаменует высшее проявление движения за обновление грузинского литературного языка. Он, воспитанник Константинопольской академии, хорошо усвоил принципы обновления языка. Иоанн Петрици ставит своей целью создание научной терминологии на основе грузинского же языка, предусматривая его природные свойства. Акад. Н. Я. Марр о его заслуге перед грузинским языком писал так: «За Иоанном Петрицским следует признать громадную заслугу в грузинской литературе: ему мы обязаны готовой философскою терминологиею на грузинском языке, замечательно точно и кратко передающей грузинскими корнями все те термины, которые в европейских языках существуют в форме греческих или латинских заимствований. Надо при этом иметь в виду, что это богатство не оставалось мертвым капиталом, когда в Грузии процветала родная литература»<sup>15</sup>.

Иоанн Петрици, как и его учитель Иоанн Итал, старается создать термины, точно выражающие специфические нюансы нужных ему понятий.

Иоанн Петрици в философских сочинениях, переведенных им с греческого языка, старается сохранить смысл греческих терминов, который они имеют в конкретных фразах оригинала. Прямым следствием этого оказываются созданные им новые термины, образованные по моделям грузинского языка, но с помощью не использовавшихся прежде в грузинском языке форм: словопроизводные элементы языка занимают необычные для них места, происходит расширение сфер их действия в языке. По мнению того же Н. Я. Марра, именно таким путем смог Иоанн Петрици передать на родном языке все нюансы греческой философской мысли и «создать на родном языке равный греческому по выразительности и определенности философский слог».<sup>16</sup>

Н. Н. Кечагмадзе указывает, что такое обобщение в словопроизводстве является стилем эпохи, и подобные образования новых терминов встречаем и у Иоанна Итала<sup>17</sup>.

Метод гексаметрического изложения мысли Н. Н. Кечагмадзе считает общим для И. Итала и И. Петрици и утверждает: «Это явление мы встречаем не только у грузинских писателей, но и у греческих мыслителей этого периода»<sup>18</sup>.

Иоанн Петрици не является создателем нового грузинского литературного языка, тем более творцом какого-то искусственного языка. Он обосновал определенный вид теологическо-философского стиля, который является следствием соединения многовековой грузинской

---

<sup>14</sup> D o w k i n s R. M. Greek language in the Byzantine period. «Byzantinism», Oxford, 1961.

<sup>15</sup> М а р р Н. Я. Иоанн Петрицкий. . . С. 35.

<sup>16</sup> Там же. С. 34.

<sup>17</sup> К е ч а г м а д з е Н. Н. Творчество Иоанна Итала. Тбилиси. 1970. С. 108.

<sup>18</sup> Там же. С. 104.

переводческой практики<sup>19</sup> с языковой политикой своей эпохи, сущность которой выражается в слиянии традиционных форм письменного языка с формами разговорной речи.

Гелатская теологическо-философская школа, основателем которой был Иоанн Петрици, народную разговорную речь использует как живительную струю для обновления и дальнейшего развития грузинского литературного языка<sup>20</sup>. Ярче всего эта тенденция проявилась в светских произведениях грузинских описцев — в сочинениях Иоанэ Шавтели и Чахрухадзе и в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Немного о конкретных проявлениях терминовтворчества классического периода. Выше мы уже сказали, что новые термины и лексические единицы создавались за счет расширения дистрибуции определенных элементов словообразования, например создаются термины მკვირთქმეძე *mek'i* 'действующий' по модели причастия с префиксом მკ- *me*(*მკ-მ-ც-ი* *me-ot-i* 'убежавший'...), მკვირთქმეძე *mek'we* 'говорящий', მკვირთქმეძე *mesme* 'слушающий', მკვირთქმეძე *mesze* 'рассуждающий'... по модели причастия с конфиксом მკ-ე *me-e*...

Наряду с термином არსი *arsi* 'сущность', который был образован еще в X в. от глагола არს *ars* 'есть' (см. выше), Иоанн Патрици создает термин იყოა *iqo'a* 'существовавший до настоящего времени', т. е. «то, что существовало» от глагольной формы аориста იყო *iqo* 'был' и т. д., а из терминов არსი *arsi* и იყოა *iqo'a* создаются новые термины более абстрактного значения с помощью соответствующего суффикса -ობა *-ob*: არსობა *arsoba* и იყოობა *iqosoba*, появляются также новые глаголы из этих же терминов: არსებობს *arsdeba* 'превращается в сущность' и აარსებს *aarsebs* 'превращает в сущность' и т. д.

Новые модели словообразования и расширение сферы действия старых моделей существенно обогатили грузинский язык конкретными терминами и лексическими единицами, не существовавшими до классического периода; они дали языку неиссякаемую потенцию словотворчества, которая была плодотворно использована в светской литературе классического и последующего периодов.\*

<sup>19</sup> Различают две переводческие школы: одно направление старается перевести смысл оригинала таким образом, чтобы сохранить естественное строение грузинской фразы; другое же направление преимущественное внимание уделяет дословному переводу, иногда в ущерб грузинскому естественному грамматическому строению.

<sup>20</sup> См.: Меликишвили Д. Н. 1) Язык и стиль философских трудов Иоанна Петрици. Тбилиси, 1975; 2) Гелатская школа и вопросы развития грузинского научного языка // Мецниереба. 1986. № 10.

\* Кроме указанной в сносках, использована следующая литература:

Бабунашвили Е. А. Антоний и вопросы грузинской грамматики. Тбилиси, 1970; Дanelija К. Д. Вопросы истории грузинского литературного языка. Тбилиси. 1983; Курцикидзе Ц. И. «Поучения» Василия Кесарийского в переводе Ефрема Мцире. Тбилиси, 1983. Орловская Н. К. Грузия в литературе Западной Европы XVII—XVIII веков. Тбилиси, 1965; Поцхишвили А. П. Из истории грузинской грамматической мысли. Тбилиси, 1979; Сарджвеладзе З. А. Введение в историю грузинского литературного языка. Тбилиси, 1984; Чикобава А. С. История изучения иберийско-кавказских языков. Тбилиси, 1965; Шанидзе А. Г. Язык Грузии Святогорца по его житию св. Иоанна и св. Ефимия. Тбилиси, 1946.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| Предисловие (А. В. Десницкая, И. А. Перельмутер) . . . . .  | 3   |
| И. А. Перельмутер. Грамматическое учение модистов . . . . .   | 7   |
| В. П. Калыгин. Древнеирландская грамматическая традиция . . . . .   | 67  |
| А. Б. Черняк. Первые окситанские грамматики . . . . .   | 80  |
| А. Б. Черняк. Первые французские грамматики . . . . .   | 103 |
| Л. Э. Найдич. Истоки изучения немецкого языка . . . . .   | 115 |
| Н. Б. Мечковская, А. Е. Супрун. Знания о языке в средневековой культуре южных и западных славян . . . . . | 125 |
| Л. С. Ковтун. Языкознание у восточных славян в XI—XV вв. . . . .  | 182 |
| В. В. Колесов. Развитие лингвистических идей у восточных славян эпохи Средневековья . . . . .             | 208 |
| Ф. Г. Утургадзе. Грузинская лингвистическая мысль в эпоху Средневековья . . . . .                         | 255 |

## ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

*Утверждено к печати*

*Институтом языкознания Академии наук СССР*

Редактор издательства Н. А. Никитина

Технический редактор Н. Ф. Соколова

Корректор Г. А. Александрова

ИБ № 44505

Сдано в набор 14.12.90. Подписано к печати 13.11.91.

Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура

обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ л. 16.5.

Усл.-кр.-отт. 16.5. Уч.-изд. л. 20.68. Тираж 1300. Тип.

зак. 969.

Цена 5 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени

издательство «Наука». С.-Петербургское отделение

199034, Санкт-Петербург, В-34, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени

Первая типография издательства «Наука»

199034, Санкт-Петербург, В-34, 9 лин., 12